

Библиотека Пионера



Библиотека Пионера

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





50 Л Е Т
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

Библиотека пионера



ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
В 12 ТОМАХ

Том 11

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

1975

Я. Раннап

*Юхан Салу
и его друзья*

В. ЖЕЛЕЗНИКОВ

*Жизнь и приключения
чудака*

В. ГОЛЯВКИН

*Ты приходи к нам,
приходи
Рисунки на асфальте*

К ЧИТАТЕЛЯМ:

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47,
ул. Горького, 43
Дом детской книги.*

Р 22 **Раннап Я.** «Юхан Салу и его друзья». — В. Железников. «Жизнь и приключения чудака». — В. Голявкин. «Ты приходи к нам, приходи». «Рисунки на асфальте». Послесл. А. Тверского. Оформл. Е. Савина. М., «Дет. лит.», 1975.

398 с. с ил. (Библиотека пионера. Избранные повести и рассказы, т. 11.)

11-й том «Библиотеки пионера» содержит произведения трех известных детских писателей. Я Раннап — один из ведущих детских писателей Эстонии. Рассказы «Юхан Салу и его друзья» публиковались отдельным изданием на эстонском и в переводе на русский язык. Они знакомят с жизнью эстонских пионеров, их учебной и общественной работой. Автор обладает острым наблюдательным глазом и несомненным чувством юмора.

В Железников — известный детский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Повесть «Жизнь и приключения чудака» рассказывает о «чудаке» Боре Збандуто, пионере, который шефствует над малышами. Нередко Боря попадает впросак, но доброе сердце и отзывчивость всегда приводят его к людям в трудную минуту их жизни.

В Голявкин — один из самых талантливых ленинградских писателей. Повесть «Ты приходи к нам, приходи» — о второкласснике Ляльке-Вальке и его друзьях. Во второй повести «Рисунки на асфальте» писатель рассказывает о городе своего детства — Баку, о своих друзьях.

Р 70803—575
М101(03)75 подписное

Сб 2

© Повесть В Железникова «Жизнь и приключения чудака» Издательство «Детская литература», 1974 г. Послесловие. Издательство «Детская литература», 1975 г.

Я. Раннап

Юхан Салу
и его друзья

РАССКАЗЫ

ПИОНЕРСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Юхан Сáлу сидит за столом и выполняет пионерское поручение. Смешное дали ему поручение. Смешное, правда, а не смешит. Одна морока, если разобраться.

Юхан Салу должен что-нибудь написать о каждом пионере отряда. Для отрядного журнала. В качестве приложения, что ли. Возьмут в руки журнал и сразу узнают, кто есть кто. Одна фамилия ведь ничего не говорит. Бывает, конечно, что и говорит, но тогда не знаешь, верить или нет. Вот у них в отряде, например, одного мальчика зовут Мйоргель — Буян, а он — тихоня тихоней. Поэтому ребята прозвали его Тихим Мйоргелем.

Поручение придумал председатель совета отряда Эймар Ринда. В расчете на грядущие поколения. Если, например, в канун пятидесятилетия пионерской организации займутся изучением истории дружины, уже будет материал.

Они, то есть десятый отряд, перед сорокалетием пионерской организации изучали историю своей дружины. Изучали и злились, потому что записей нашли мало. Вот тогда Эймар Ринда и

сказал, пусть будущим исследователям будет легче. Отныне десятый отряд берется аккуратно вести журнал.

На долю Юхана выпало ведение журнала. И вот Юхан Салусидит за столом, уставившись в список. Прежде чем писать о товарищах, надо все хорошенько обдумать. Не обдумаешь — ничего не сделаешь.

Первым стоит в списке Ааза. Хельдур Ааза. О нем Юхан не знает, что и сказать, думай сколько хочешь. Ну, хорошо учится. А хорошо учится большинство ребят. Разве это характеристика? Лучше уж написать, что Хельдур Ааза не умеет петь.

Лора Еремова любит предсказывать. Если кто-нибудь занозил палец, на боль жалуется, то Лора обязательно скажет:

— Сегодня что, а завтра твой палец будет во какой!

За эту привычку предсказывать Лору прозвали Пророком. Но о том, что пионеры дали пионерке такое прозвище, пожалуй, не годится писать будущим поколениям.

Мárта Йýбесаар руководит октябрятами. Она обладает какой-то особенной властью над малышами. Так командовать детворой никто другой не умеет. Когда в поселковом детском саду впервые сварили пшеничную кашу, малыши не хотели ее есть. Манную кашу ели все. Геркулесовую ели все. А пшеничную кашу не ели. Воспитательницы просто не знали, что делать. А Márта знала. Она предложила детям: «Давайте играть в игру «нагружаю корабль». Как только кто-нибудь назовет животное с рогами, можно нагружать корабль». Двое сразу же назвали корову, трое — козу, и все двадцать малышей подняли ко рту ложки с презренной кашей. Потому что есть означало — грузить корабль. Когда перечислили всех рогатых животных, взялись за безрогих. А когда дошли до птиц, в тарелках не осталось ни крупинки. Пришлось выскрести даже котел на кухне. И все благодаря Márте.

Правда, заведующая детским садом сказала, что таким способом приучать детей к новой пище непедагогично. А повариха добавила, что если каждый день будут «нагружать корабль», то продуктов не хватит. Но это ничего не значит. Мало ли что потом говорят. Это Юхан и думает записать: мало ли что потом говорят.



За Мартой Йыесаар в списке стоит Аугуст Кáмарик. У него большие уши. Этого Юхан не напишет. Камарик не разбирается в арифметике, вот это, пожалуй, надо записать.

Сказать, что Камарик хромает по арифметике, слишком мало для характеристики. Юхан это хорошо понимает и клянет свое поручение. Ну что ты будешь делать! У всех поручения как поручения: Туртс отвечает за спортплощадки, Тихий Мюргель пополняет гербарий. Тáммеяндр мастерит очиститель воды для аквариума. Вольперты... Юхан сразу и не припомнит, какое поручение у Вольпертов.

Только он, Юхан, должен возиться с какими-то журналами и характеристиками.

По правде сказать, Юхан ничего не имеет против этого поручения. Он просто хитрит. Сам с собой. Возможно, и с другими. Почему, он не знает. Ведь Юхан Салу любит писать. И рисовать тоже. Юхан подумывал, что неплохо бы за год исписать еще одну тетрадь. Не про сборы и про всякие там мероприятия, а так, вообще. Про то, что уже произошло в школе, и про то, что еще случится. Осталась бы память и себе и другим. Можно и под копирку, чтобы получилось несколько экземпляров. Юхан Салу все как следует обдумал, о чем можно было бы написать и как писать. У него уже кое-что написано. Просто так, для себя. О том, как однажды отряд Крýймвярта попал в смертельную опасность. Они тогда были шестиклассники. О других происшествиях.

Юхан решил, что если будет писать, то так, будто он сам во всем участвовал. Себя он покажет чуть поумнее. Юхан знает, что труднее всего описать себя таким, каков ты есть на самом деле. А показать более глупым или более умным одинаково легко. Поэтому он не будет пытаться делать то, что сложнее. Лучше покажет себя более умным. Ведь показывать себя глупее нет никакого смысла.

Юхан встряхивает головой и прогоняет эти мысли. Сейчас надо заниматься пионерским поручением. Решать, какую характеристику дать товарищам по отряду.

Лéэни Кáси очень неряшлива. Что толку, что ей к праздникам шьют шикарные платья. Она до тех пор забывала застегн-

вать на школьном платье «молнию», пока Туртс не сочинил песенку:

Мы кричим: «Закрой заслонку!»,
А Лээни только злится.
Воротник кружевной,
Пуговицы из ситца!

Юхан вспоминает, как Туртсу за это попало от Эймара. Не по-товарищески, говорит, некрасиво, грубо и еще что-то. А Юхан усмехается: «Хоть и не по-товарищески, а песенка помогла. Теперь у Лээни всегда все кнопки застегнуты».

Что же написать о самом Эймаре? Может, то, что у него спереди одного зуба нет? Была бы на то божья воля, как говорит тетушка Таммекиянда, не написал бы. Но ведь зуб Эймара связан с пионерской работой. Он его сломал на сборе по кулинарии, когда хотел отведать пирожок, испеченный Лорой. И Юхан не знает, как поступить с зубом Эймара.

А вот об этом нужно обязательно сказать: в Эймаре живут два человека — простой человек и председатель совета отряда. Когда он простой человек, то выкидывает штучки почище самого Туртса. Но как только вспомнит, что он председатель совета отряда, совсем другим становится: заставляет учиться, отчитывает Большого Вольперта за кокетство и не спустит ни одному опоздавшему.

Если Юхан не хочет прослыть лгуном, то ему придется сказать, что чаще всего Эймар чувствует себя все же председателем совета отряда.

За Эймаром Ринда в списке стоит Рута Рбэла. Она, как и Марта, руководит октябрятами. Юхану очень-очень хочется написать о том, как Рута объясняла ребятам, что такое компас и что такое азимут. Отвела детей в Пякасский ельник к большому валуну и стала оттуда возвращаться по азимуту. Шли они, шли и вернулись к валуну.

Пошли по другому азимуту — то же самое. Тогда Рута сунула компас в карман и сказала: пойдемте на глаз, а то скоро стемнеет. На глаз-то сразу выбрались из лесу.

Юхан с величайшим удовольствием записал бы эту историю в журнал, но не хочет позорить Руту. Это не понравилось бы Марте Йыесаар.

Юхан Салу дошел до своего имени, но пропускает его. Следующими в списке стоят Вольперты. Лучше поговорить о них.

Один Вольперт — Энно, другой — Янно. Но так их никто не зовет. Их называют Большой Вольперт и Маленький Вольперт. Большой Вольперт — это Янно, а Маленький Вольперт — Энно. И они даже не родственники.

Маленький Вольперт похож на Тихого Мюргеля, только еще более тихий и робкий. Краснеет, когда разговаривает с девочкой. У Маленького Вольперта есть свой собственный семилетний план, он его нынешней осенью составил. Это такой секрет, о котором он никому-никому не говорит. Только Мюргелю сказал и Юхану. В первый год Маленький Вольперт должен научиться танцевать, а на седьмой год стать мастером спорта. Что предназначалось на промежуточное время, Юхан не запомнил.

По мнению Юхана, Маленький Вольперт прогорит со своим планом, это точно. На курсах танцев был и все равно не танцует. Мюргель в этом деле проворнее. На вечерах он всегда приглашает Руту и твердит: «Теперь па номер два, теперь номер три». О четвертом и пятом па Мюргель не знает. Начинающим их не показывали.

Большой Вольперт совершенно иного склада. У него не то что больших планов — нет плана даже на текущий день. Отец Большого Вольперта — торговый работник. После инвентаризации на складе он и в дневнике сына производит ревизию. Это бывает четыре раза в год, не чаще. Обычно в дневнике расписывается мать. Отцовы ревизии весьма удручали Янно, но Туртс дал ему добрый совет. Теперь у Янно четыре раза в год дневник бесследно исчезает, и приходится покупать новый.

У Большого Вольперта иногда в голове гуляет ветерок. Девочки невзлюбили его с тех пор, как он им отметки ставил.

Делалось это следующим образом. На перемене он звал с собой Туртса и отправлялся в коридор — гулять. Ребята разглядывали каждую девочку: прямые ли у нее ноги, какие у нее волосы, хороша ли она. Когда не знали, какую отметку выставить, Большой Вольперт вынимал из кармана снимок Лоллобриджиды. Это, говорил он, эталон красоты, пять с плюсом.

Каждой девочке ставили по две оценки — за внешность и за

характер. Окончательной была средняя этих двух. Самый высокий балл — четверку с плюсом — заслужила Марта Йыесаар.

Девочки сначала не могли понять, чем это Большой Вольперт занимается на переменах. А когда узнали, страшно разозлились. Они добились созыва собрания дружины, и Большого Вольперта заставили отчитаться. Эх, как его пробрали! Больше всех злилась Сильви Трей, помощник председателя совета дружины. Она даже галстук хотела у него отобрать. Но ограничились выговором — за нетоварищеское отношение к девочкам.

Об этом предложили поговорить и в отряде. Большой Вольперт признал себя виновным, и Туртс согласился, что они допустили ошибку: надо было более высокие оценки ставить, особенно Сильви.

Записать эту историю для характеристики Большого Вольперта?

Юхан словно наяву видит жалкие лица товарищей, когда они каялись в своих грехах, и решает: да, записать.

А теперь не отвертись. Юхан должен взять под наблюдение самого себя. Что же написать о себе? Может, то, что он ночью сильно храпит? Пожалуй, надо написать. Иначе никто никогда не узнает, что Юхан Салу изобрел средство от храпения. Ни у одного врача нет такого средства, а у Юхана Салу есть. Он изобрел его летом, когда они были в лагере в Ныммепалу и спали в палатках.

Юхан на ночь заклеивал рот пластырем. Широкий пластырь — от одного уголка рта до другого, а узкий — две ленточки крест-накрест. Это единственное и миру до сих пор неизвестное средство против храпения. Наклеивать пластырь нужно вечером, когда стемнеет, а снимать рано утром, чтобы соседи по комнате или палатке не видели. А если вдруг и увидят, тоже ничего. Мол, зубы болят, заклеил, чтоб не продуло.

Юхан думает, думает и решает, что не следует говорить о храпании. Ведь это средство несовершенно, при насморке его применять невозможно.

А может быть, отметить, что его не покидает мысль записать все, что происходит в школе... Что две истории он уже начал... О том, как однажды, когда они еще в шестом классе учились, отряд Криймвярта чуть не отравился... И о том, как они

в этом году встречали новую учительницу английского языка... Может, все-таки написать об этом? Но вдруг ребятам не понравится? Чего доброго, засмеют.

Лучше всего, видимо, признаться, что он иногда любит приврать. Что-нибудь такое похуже надо о себе сказать, а то получается неладно.

Странное дело творится с Юханом. Как начнет что-нибудь рассказывать, так и приврет. Если он, например, утром видел, что косуля пошла на реку пить, то в школе расскажет, что косуля была не одна, а с самцом. На следующий день выяснится, что и лось был в кустах.

Раз сто он попадался, но ничто не помогает. Написать об этом будущим поколениям?

Юхан Салу задумывается и решает, что не стоит.

С полчаса он ломает голову, что же все-таки сказать о себе. Ничего толкового на ум не приходит. Со школьного двора слышатся удары по футбольному мячу, и Юхан с завистью думает о Туртсе, у которого такое поручение, что он все время должен торчать на футбольной площадке. Он прислушивается к ударам, и в конце концов не выдерживает. Юхан сует журнал в стол и исчезает, как ветер.

Он бежит на площадку и приговаривает: «Надо будет попросить у Эймара Ринда новое пионерское поручение, это точно».

Он повторяет эти слова столько раз, что под конец не понимает, хитрит ли он сам с собой или взаправду хочет попросить новое поручение.

БЕЛЫЕ МУХОМОРЫ

(Первый рассказ Юхана Салу)

Марта Йыесаар заметила пропажу грибов, когда уроки почти во всех классах уже кончились. Она обнаружила, что на серовато-зеленом мхе рядом с большим пнем пусто, и вспомнила, что здесь было два семейства белых мухоморов — *Amanita virosa*.

Уголок, где стоял пенёк, был украшением выставки. Камарик, отрядный силач, нашел этот пенёк за дровяным сараем и сам притащил его сюда, на второй этаж. Слева, между корявыми

корнями пня, мы поставили три шампиньона, которые учительница ботаники нашла в своем саду под живой изгородью, справа от пня Лора воткнула в мох белые мухоморы.

И вот мухоморы исчезли!

Дежурная по выставке в испуге побежала в пионерскую комнату. Но там никого не было. Марта нашла нас внизу, в мастерской. Вместе с новым пионервожатым Сергеем мы вытачивали на токарном станке шахматные фигурки. Марта стояла в дверях с таким растерянным видом, что Сергей, случайно подняв на нее взгляд, ничего не спросил и сразу же выключил станок.

— Идемте скорее! — сказала Марта. — Мухоморы исчезли.

Без лишних слов мы помчались наверх. Мы могли только подтвердить слова Марты.

— Грибы стояли здесь, налево от моего пня, — сказал Камарик.

— Если бы мы лучше следили, этого не случилось бы, — сказала Анне.

Мы заговорили все сразу и вдруг замолчали: Сергей резко нагнулся и поднял валяющуюся во мху этикетку: «Шампиньоны. Съедобные в свежем и маринованном виде».

— О боже! — вскрикнула Марта совершенно не по-пионерски. — Эта этикетка лежала с другой стороны.

Да, этикетка должна была лежать по другую сторону пня. Там и сейчас стояли три шампиньона. Но рядом с шампиньонами лежала этикетка, говорящая совершенно о другом: «*Amanita virosa* — Белый мухомор». И более мелкими буквами: «Смертельно ядовит».

Кто-то переставил этикетки. Мы посмотрели на Марту: в последний раз пояснения на выставке давала она.

— В двенадцать часов приходил второй класс. Они хотели все потрогать руками.

Ясно. Этикетки нечаянно перепутали малыши из второго. У них уж такая привычка — все брать в руки. Они всегда выют-ся вокруг Марты, как пчелы. Поди уследи за ними!

Мы стали думать, кто же мог унести грибы, как вдруг тоненький голосок пропищал за чьей-то спиной:

— Девчонки! Сергей! Если этикетки перепутаны, значит, кто-то уже отравился!

У Лоры Еремовой противная привычка предсказывать. Хотя старшая пионервожатая и сказала, что не годится давать друг другу прозвища, мы все равно звали Лору Пророком. Но теперь в словах Лоры не оказалось ничего пророческого. Не берут же грибы для того, чтобы ставить их на письменном столе. Того, что вслух высказала Лора, боялись Сергей — это выдавало выражение его лица — и Марта: у нее дрожали руки.

Первым пришел в себя Сергей. Он был старше нас, но юное и веселое мальчишеское лицо делало его нашим ровесником.

— Кто приходил на выставку последним?

Нахмуренные брови Сергея говорили о том, что многого он от этого вопроса не ждет. Мухоморы мог унести и не последний посетитель выставки. Мы все посмотрели на Марту.

Марта сморщила лоб.

— Мальчишки из шестого «Б». Пáйкре... Криймварт был... Тидрик...

Тут ее снова перебил тоненький голосок:

— Значит, Тидрик взял. И съел.

Уже второй раз за короткое время Лора «пророчила», но и сейчас ее не упрекнули. Если Тидрик был на выставке, он, конечно, мог сунуть грибы в карман. Ведь на этикетке было написано: «Съедобные в свежем виде». А Тидрик всегда что-нибудь жует.

И все же казалось невероятным, чтобы сырые грибы можно было съесть, как, скажем, печенье. Мчась к телефону, мы не теряли надежды. Даже несмотря на то, что Арвед припомнил, как Тидрик вырезал из кочана кочерыжку (кочан принесли в класс к уроку рисования) и съел ее.

— Квартира Тидриков? — Сергей взял инициативу на себя. — Нет, нет... не из кооператива, из школы говорят.

Хéйно не было дома. Мы прочли это на лице Сергея.

— Может, к Пайкре позвонить? — спросила Марта. Ее тоненькие пальцы уже в третий раз развязывали и завязывали галстук.

Но и в этом доме о мальчике ничего не знали.

У Криймвартов телефона не было, хотя отец Марта и работал главным инженером электростанции. Но Криймварты жили близко. Камарик сказал, что сбегает к ним за три минуты.

Играя в лапту, Камарик имел привычку сначала высоко подпрыгнуть, а затем пуститься бежать. Но на этот раз он не сделал эффектного прыжка. Он исчез со скоростью, просто невероятной при его полной фигуре, и вернулся на самом деле через три минуты. Криймвярта он не застал. Зато у его бабушки узнал, что Март заглянул домой, взял в чулане рюкзак, корзину и куда-то умчался.

— Теперь ясно, почему и других дома нет,— сказал Сергей.— Совершенно ясно. Они отправились всем отрядом.

Конечно, они отправились всем отрядом, и мы хорошо знали куда. В лес. А то зачем корзина и рюкзак. Криймварт говорил однажды, что они готовятся к чисто робинзоновскому походу. К походу, в котором презираются продукты цивилизации: провизия из магазина и брезентовые палатки. «Мы будем спать в шалаше из еловых веток и питаться дарами леса»,— заявил он несколько дней тому назад. Ничего себе дары леса — грибы с чужой выставки.

— А может быть, мы напрасно обвиняем их,— продолжал Сергей.— Эта история не очень-то похожа на кражу... Скорее, на стремление досадить. И вообще, честно говоря... пожалуй, никто из нас не думает, что пионеры из параллельного класса пришли бы на выставку воровать.

Это все, что он успел сказать.

— А я все же думаю,— вздохнула Марта.

— И я тоже думаю,— сказал Эймар.

Мы все так думали.

В этой проделке мы видели не кражу, а желание отомстить. Мы уже давно были не в ладах с шестым «Б», особенно с тех пор, как в школе начались соревнования между отрядами. Я даже помню, откуда пошел раздор. Мы одновременно написали в Германию. Наш класс в Дрезден, а они в Лейпциг. Мы получили ответ, они не получили. Мы же не виноваты, что их письмо затерялось или попало к таким ребятам, которые не любят переписываться. Возможно, мы слишком хвастались немецкими марками, но ведь никто не мог нам этого запретить. Ну, а потом появились и другие причины. Как только объявили соревнования между отрядами, мы решили научиться правильно строиться. Тренировались целый вечер.

На следующий день они отправились на спортплощадку, но не строиться, а нас передразнивать.

— Отряд! По образцу класса «А» на линейку становись! — скомандовал Криймварт.

И они выстроились так криво, что просто ужас! А толстый Тидрик вышел рапортовать:

Рапортую: добрый день!
Все идет по чести.
Дома я забыл ремень,
Но штаны на месте!

С тех пор мы старались во что бы то ни стало перещеголять друг друга.

Когда мы посадили вокруг опытного участка акации, они просили в колхозе лошадь и привезли песок для садовых дорожек. Когда мы в живом уголке подправили дно бассейна, они починили флюгер на крыше. Только на выставку грибов они ничем не сумели ответить. Несколько дней подряд, после уроков, мы с учительницей ботаники ходили по лесу, лазали по песчаным холмам, увязали по колено в болото — искали редкостные сорта грибов. А они в это время были сами не свои. После открытия выставки директор похвалил нас, а Криймварт стоял с таким видом, будто у него болят сразу два зуба.

Ясно, выставка не давала им покоя, и, чтобы нам досадить, они решили прямо на глазах у дежурной съесть самые лучшие грибы. Только, к несчастью, им попали в руки вместо шампиньонов белые мухоморы, самые ядовитые из растущих у нас грибов.

Мы знали, что белые мухоморы легко перепутать с шампиньонами. Об этом нам рассказывала учительница ботаники. Эти грибы различимы лишь по цвету пластинок на нижней стороне шляпки. Но разве могли ребята Криймварта знать такие тонкости? Вдруг они уже отведали белых мухоморов? Вдруг они собираются ночевать в лесу? Туда и «скорая помощь» не поедет. Я старался не думать о том, что могут наделать семь грибных шляпок. Взглянув на Марту, я понял, что и она старалась не думать об этом.

— Надо разыскать старшую пионервожатую, — сказала Марта. Ее глаза были влажными, хотя она не проронила ни слезинки. — Слышите! Надо разыскать старшую пионервожатую!

Можно ли терять время?

Мы посмотрели на Сергея с надеждой и ожиданием. В таких случаях легче всего надеяться на других.

Сергей кусал губы. Вдруг он махнул рукой и выбежал на улицу. Он нас не звал, но мы бросились вслед.

Из нашего поселка вела в лес только одна дорога и единственный мост, довольно жалкий, через речку Пармасйги. Когда мы вдесятером взбежали на него, доски подозрительно закрипели.

По ту сторону речки дорога раздваивалась. Пришлось исследовать илистый берег.

Куда они пошли? По какой из дорог?

Мы в нерешительности топтались на месте. Вдруг Лээни, наклонившись над колеей, вскрикнула:

— Ну конечно, Тидрик! Сегодня у него бобы в кармане.

Лээни подняла продолговатый коричневый боб. Это был ненадежный след, но так как он был единственным, то мы повернули направо.

— Нужно было попросить у заведующего магазином овчарку! — вздохнула Анне.

Если ее соседка по парте Лора всегда смотрела в будущее, то Анне не забывала о прошлом и старалась быть умной задним числом. Обычно ей это не удавалось. Так и на этот раз. Что бы мы дали овчарке понюхать, чтоб она пошла по следу?

— Кто отстанет, ждать не будем.— Широкоскулое лицо Сергея вдруг сделалось суровым.

Мы, сами того не замечая, шли и бежали попеременно, точно как в ориентировочном беге. На твердой почве ускоряли шаг. Когда ноги вязли, то прыгали с кочки на кочку.

— Теперь они уже окоченели...— прошептала Лора.

— Если бы мы к каждому ядовитому грибу прикрепили булавку с черепом и скрещенными костями, этого не случилось бы,— сказала ее соседка по парте.

И то и другое суждение было просто нелепым. Признаки отравления белыми мухоморами появляются лишь через некоторое время, от восьми часов до суток. Так писалось в книжке о грибах. Что касается этикеток с черепами, то малыши из второго с таким же успехом и их перепутали бы.

Хотя при помощи разбросанных крошек достигают цели только в сказках, мы не теряли надежды найти еще один боб. Нам хотелось убедиться, что идем по верному пути, и поэтому все время смотрели себе под ноги. Но теперь Тидрик, видимо, не транжирил, а, что самое вероятное, слопал все бобы.

Там, где кончался смешанный лес и начиналась вырубка, мы снова оказались на развилке дорог. Нижняя лесная просека вела к острову на болоте. Отряд, шедший в поисках приключений и места для лагеря, мог отправиться туда. Левая тропинка, что повыше, вела в Ныммепалу. И там есть хорошие места, где можно развести костер.

— Отдохнем минутку, — сказал Сергей. — Подумаем.

Он сел на пенёк. Мы устроились рядом, как цыплята под крылом наседки.

Играя в разведку, мы часто мчались по лесным тропам. Пробирались в чащах и вязли в болоте. Но тогда нам указывали дорогу камни, еловые шишки, цветы и пучки травы. На каждом повороте был ориентир, иной раз и два. Это совсем иное дело, чем разыскивать отряд, который не оставил ни единого следа.

— Подумаем, — повторил Сергей. — Подумаем... нет ли у кого-нибудь из них такой привычки, вроде...

И он рассказал нам про кобылу Ирну, которая, идя по лесу, на каждом шагу сдирала зубами кору с деревьев.

Такой привычки у ребят из шестого «Б», конечно, не было. Вряд ли даже Тидрик, сильно проголодавшись, станет грызть кору. Но рассказ о кобыле Ирне напомнил мне другое.

— Ребята!.. Сергей!.. Если с ними Пайкре, то нужно искать поломанные ветки!

Вот это мысль! Пайкре не умел ходить по лесу, не хватаясь за ветки. Сколько я помню, у него всегда была такая привычка. Он проводил ладонью по кусту и заламывал самую длинную ветку. Даже в школьном саду не мог удержаться. Совсем недавно Криймварт ругал его за это. Мы с надеждой смотрели вслед Сергею и Эймару, которые побежали исследовать один одну, другой другую тропинку. Мы отстали от отряда Криймварта не больше чем на полтора часа. Если они собираются жарить грибы на костре, то мы застигнем их вовремя.

— А ведь наши мухоморы в жареном виде, наверное, уже не

так ядовиты,— повеселела Марта. Ей почему-то казалось, что она больше всех виновата.— И каждому достанется лишь маленький кусочек.

— Если бы мы выставили только одно семейство грибов...— начала Анне и запнулась.

Сергей и Эймар вернулись почти одновременно. Они не нашли ни одной поломанной ветки.

— Это Криймварт виноват,— угрюмо произнес Эймар.— Он пригрозил Пайкре, что за осквернение природы напишет о нем в стенгазете.

Остался единственный выход — разделить на две группы. Тогда уж одна непременно пойдет по правильному пути. Но Сергей не торопился отдавать такой приказ.

— А обувь? Нет ли у кого-нибудь из них ботинок, следы от которых можно узнать?

Мы с ненавистью посмотрели на коричневые башмаки Большого Вольперта. Отец привез их ему из Чехословакии. У них была каучуковая подошва толщиной в три сантиметра, да еще рифленая. Если бы у кого-нибудь из шестого «Б» такие были! Как назло, в соседнем отряде все носили обычные башмаки.

Но так считали все, кроме Руты. Она внезапно схватила Сергея за руку так, что тот вздрогнул.

— А пластинки оставляют след? Криймварт был сегодня в ботинках с пластинками для коньков.

Мой отец говорит, что пластинки прикрепляли к подметкам в те времена, когда ребята ходили на каток в обычных ботинках и привинчивали к ним коньки. В нашей школе такие коньки были только у Криймварта и еще у одного четвероклассника. Чтобы прикрепить их к ботинкам, надо в каблуке просверлить дырку, а потом прибить пластинку с продолговатым отверстием.

Следовало бы спросить у Руты, откуда она знает, что Криймварт в разгар осени обул ботинки с пластинками, но никто не стал тратить на это времени. Ведь это обстоятельство казалось нам соломинкой, за которую можно ухватиться. Мы бросились на колени меж кустов разыскивать эту соломинку.

Эймар обнаружил следы каблуков с квадратными пластинками на дороге, ведущей в Ныммепалу. И вдруг мы все их увидели. Только на твердой почве, когда тропа вывела нас из смешан-

ного леса, следы исчезли. Но теперь мы уже знали, где их искать.

Марта постепенно приходила в себя. Она обещала отомстить ребятам Криймварта, чтобы у них навсегда пропала охота воровать грибы. Она грозилась заставить главного виновника съесть одну аманиту, чтобы ему пришлось идти на промывание желудка. Она собралась еще что-то сказать, но вдруг замолчала. Сергей поднял ножку гриба!

— О боже! — вскрикнула Марта неестественным голосом. — Они съели шляпку!

Мы молча ринулись дальше. Анне и ее соседка по парте Лора вскоре отстали. Они что-то жалобно кричали нам вслед, но нам было не до них.

Сердце чуть не выскочило, когда мы прибежали к месту, где летом стоял лагерь. Из всех сил взбежали вверх по склону, поросшему соснами. И обомлели. Внизу, в ложине, сидели все ребята из шестого «Б» вокруг расстеленной на земле салфетки и делили еду. Делили еду!

Мы бросились вниз, будто нас кто-то укусил.

— Стойте! — завопила Марта.

— Не ешьте! — взревел Эймар.

Все мы что-то кричали.

Можно себе представить, какой поднялся шум.

Шестой «Б» встретил нас так, будто на них напала саранча или разбушевалась стихия. В полном недоумении они смотрели на Марту, которая выбивала у ребят из рук бутерброды, а потом так и села. Марта увидела исчезнувшие экспонаты: в маленькой коричневой корзиночке лежали грибы, один гриб без ножки.

— Слава богу! — произнесла Марта совершенно не пионерски и вдруг заплакала.

И это не подходило пионерке, но мы простили ей.

Наперебой и довольно невнятно мы принялись рассказывать, что этикетки у мухоморов и шампиньонов были перепутаны, что сначала мы шли по бобу, потом искали поломанные ветки и, наконец, увидели следы от каблучков с пластинками.

— Вот это история! — сказал Сергей. — Как в газете.

— Вот это история! — удивился Криймварт.

Но вдруг его взгляд упал на корзинку с белыми мухоморами, и он покраснел. Они не собирались воровать. Они только заготавливали грибы, до вечера. Думали, что это шампиньоны, и взяли их с собой, чтобы набрать таких же. Они вовсе и не собирались играть в робинзонов, а хотели для детского сада набрать самых хороших грибов. Но так как лучшие грибы — это шампиньоны, то... ну... и взяли. Криймварт покраснел до ушей.

Когда двое наших отставших, запыхавшись, забрались на пригорок, мы вместе доедали бутерброды шестого «Б».

— Я ведь говорила, что все живы, — возвестила Лора.

А ее соседка по парте, которая была умна задним числом, добавила:

— Был бы у нас с собой горн, можно было бы потрубить.

В корзины мы набрали грибов вместе. Вместе отнесли их в детский сад. А семь мухоморов из семейства *Amanita virosa* положили на прежнее место. Один гриб — без ножки.

У всех у нас было приподнятое настроение. Особенно радовался Сергей.

— А мне говорили, что вы в ссоре, — притворно разводил он руками. — Что ваши отряды ненавидят друг друга, обходят столовой.

Время от времени он повторял:

— Даже ядовитые грибы бывают полезны, что там и говорить.

От такого ненужного разговора пахло учительской. В этом не было сомнений.

ЭКЗАМЕН УЧИТЕЛЬНИЦЕ

(Второй рассказ Юхана Салу)

К нам пришла новая учительница английского языка. За последние полтора года — третья.

Приход новой учительницы — событие, которое мгновенно все отодвигает на второй план. Поэтому еще до встречи мы знали, что Ирина Карловна Кёйксаар очень молода, носит костюм в клеточку и туфли на каблучках, что у нее на щеках ямочки и родинка под глазом.

Это были предварительные наблюдения. Остальное предстояло узнать при первой встрече.

Встреча наступила в назначенный срок. Мы знали, что новенькую приведет в класс директор. Знали, что директор не произнесет ни слова, а она скажет: «How do you do?»¹

Так бывало всегда. Мы не могли лишь предугадать, что будет делать новая учительница после ухода директора. Тут напрашивалось несколько вариантов. Либо она схватит мел и помчится к доске, чтобы с первого урока навалить на нас большую нагрузку. Либо возьмет в руки учебник и, впадая в другую крайность, начнет доказывать, что мы — безнадежные тупицы и прежняя учительница ничему нас не научила. Либо она может оказаться просто человеком.

Ирина Карловна улыбнулась нам и еще раз повторила:

— How do you do?

Жаль, что на свете так мало вопросов, на которые можно ответить тем же вопросом!

— How do you do? — зачирикали девочки на первой парте.

— How do you do? — засиял Тихий Мюргель.

— How do you do? — послышалось отовсюду.

Сидящий за третьей партой Эймар Ринда обернулся. При встрече новой учительницы Эймар никогда не чувствовал себя председателем совета отряда.

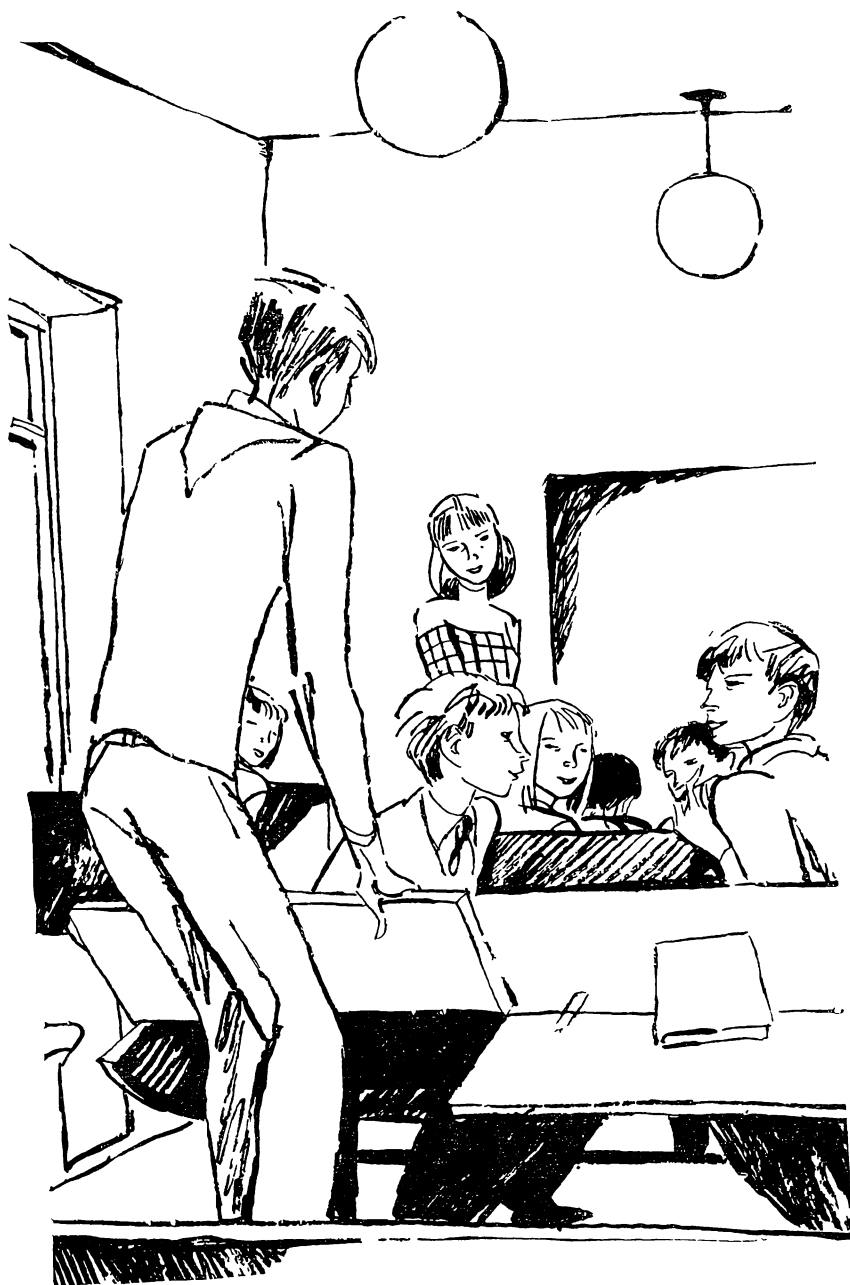
— Испуг номер один отменить! Передай!

Через миг приказ дошел до Камарика, нашего пиротехника. Камарик — мальчик с большими ушами, который, по мнению Антон Антоныча, учителя математики, лишь каким-то чудом перешел в восьмой класс. Со всякими там a , b и прочими алгебраическими знаками Камарик творил на доске такие чудеса, что Антон Антоныч приходил в ужас. Он хватался за голову и говорил: «Нет, я больше не могу. Кто-то из нас сумасшедший. Или я, или ты!»

На это Камарик отвечал, как научил его Туртс, что он за свое здоровье ручается.

— Испуг номер один отменить, — повторил Камарик неслышно и с явным сожалением положил руки на парту.

¹ Здравствуйте! (англ.)



Мы все обрадовались. Испуг номер один означал бросать на пол пистоны. Мы были бы просто болванами, если бы таким образом стали встречать молоденькую учительницу, которая уже третью минуту нам улыбается.

Эймар снова улыбнулся.

— Испуг номер два. Передай.

Испуг номер два мы предлагали всем без исключения новым учительницам. Он состоял в том, что Туртс, обратив на себя внимание легким покашливанием, поднимался с задней парты. Яан Туртс высокий, почти два метра. Дело, конечно, не в росте, а в том, как он умел этим пользоваться. Туртс вытягивался, словно подозрная труба. Казалось, он растет на глазах под воздействием какой-то магической силы. Для большего эффекта он становился на ящик из-под мела, но этого никто никогда не замечал. И вот наконец голова Туртса маячит рядом с плафоном. Это было потрясающее зрелище. Но Ирина Карловна вместо того, чтобы вскрикнуть, прикрыть лицо рукой или проявить свой испуг каким-либо иным женственным способом, только чаще замигала:

— What's the matter? ¹

За время летних каникул английский словарный запас у Туртса иссяк. Он помнил только два предложения, за грамматическую точность которых он мог ручаться. Первое означало, что по уважительной причине он не выполнил домашнего задания, а второе — «Прошу выйти». Учитывая сложившуюся обстановку, Туртс произнес второе. Испуг номер два провалился.

— Very well ², — сказала учительница. — Возьмите свои учебники.

Теперь нельзя было терять ни секунды.

— Испуг номер три, — прошептал Эймар.

Сидящий у окна Таммеяннд вынул носовой платок в голубую клеточку и два раза протер лоб. Это был сигнал прятавшемуся в кустах Вольперту. Тому большому Вольперту.

Испуг номер три — наш главный козырь. Ни одна из прежних англичанок не выдержала третьего испытания.

В коридоре послышались торопливые шаги, и мы пригото-

¹ В чем дело? (*англ.*)

² Очень хорошо (*англ.*).

лись к зрелищу. Сейчас Большой Вольперт постучится в дверь, войдет, поклонится и скажет:

«Извините, что я опоздал. Меня задержал учитель такой-то и сказал то-то и то-то!»

Что ответит учительница английского языка? «Очень хорошо, садитесь на свое место»?! О нет. Никогда. Мы знали это отлично. Тут своя закономерность. Каждая учительница английского языка перестанет улыбаться и потребует, чтобы опоздавший извинился и постарался все это произнести по-английски.

На этом незначительном, но верном обстоятельстве и был построен испуг номер три. Вместо ожидаемого и хорошо знакомого учителям смущения, жалобного «Please, excuse me»¹, слог которого выпадают изо рта, как горячие картофелины, наш опоздавший наклоняет голову и вдруг начинает строчить как из пулемета.

Вытягивая губы, он разражается таким градом слов, который, как нам казалось, был бы к чести спортивному комментатору лондонского радио.

«I certainly do...— шипит опоздавший.— Of course, quite naturally I do...»²

Буквы «п» рождаются именно носовыми, а «t» взрываются, как маленькие патроны. До сих пор все учительницы бледнели при знакомстве с испугом номер три. Мы предполагали, что прекрасно понимаем, что творится в их душе. Они оказывались в роли скрипача из художественной самодеятельности, игру которого слышал концертмейстер столичного театра «Эстония». Наверное, они принимали молниеносное решение попросить завуча освободить от уроков молодого человека, так прекрасно владеющего английским языком. Они считали, что молодой человек мог бы и остальную часть урока провести вне класса. И поэтому, изменяя своей привычке говорить на уроке английского языка только по-английски, сообщали это на чистейшем эстонском языке.

Конечно, мы наслаждались каждой секундой. А на перемене

¹ Извините, пожалуйста (*англ.*).

² Я обязательно сделаю это... Конечно, естественно, я это сделаю... (*англ.*)

Туртс вздыхал: «Слаба, слаба подготовка кадров в вузах. Практического знания языка они не дают».

В душе мы относились к учительницам английского языка с почтением. Мы причисляли к сверхъестественным явлениям всех людей, которые хоть немного разговаривают на языке, где написание и произношение далеки, как небо от земли.

Все шло по плану.

Стук. Вошел Вольперт.

Извинился по-эстонски.

— Повторите это по-английски,— улыбнулась новая учительница.

И Вольперт завел свою пластинку.

Но затем случилось непредвиденное. Ирина Карловна отнюдь не испугалась, не уронила мел, а, наоборот, обрадовалась и засыпала бедного Вольперта градом слов.

Из них мы поняли только самую малость.

— Oh! What a pleasant surprise! Can you really speak English? ¹

— Мям,— произнес до смерти испугавшийся Вольперт.— Мям, мям...

Что он хотел этим сказать, мы не поняли. Во всяком случае, это было не по-английски. Если не учитывать природного дара Вольперта — отличного произношения, он знал по-английски не больше нас. Но у Вольперта есть дядя — капитан дальнего плавания. Не подозревая о подлинном намерении племянника, он записал ему на бумажку слова извинения и помог заучить.

Пять последующих минут мы сидели ошеломленные, склонившись над своими тетрадями. Записывали новые слова. Испуг номер три был похоронен навеки. Очевидно, в вузах стали готовить учителей с практическим знанием языка.

В классе царила тишина. Слышалось только, как скрежетал мел, как кто-то перелистывал страницы учебника, а Камарик чмокал губами. «Рабочее настроение», — говорят учителя про такую тишину. Так можно было бы сказать и теперь, если бы не шепот на последней парте.

— Мюргель,— шепнул Туртс,— отвори окно.

¹ О! Какой приятный сюрприз! Вы действительно говорите по-английски? (англ.)

Эта безобидная просьба свидетельствовала о том, что оружие еще не сложено. Все, кроме новой учительницы, знали, что произойдет дальше. Знали и приготовились. Ладно, испуги потерпели поражение. Но это были сольные номера, а в запасе у нас осталось приятное коллективное представление. Лучший в мире шуточный номер, как говорит Карлсон, который живет на крыше.

Коллективное представление придумал Эймар Рипда, после того как прочитал в газете статью о массовом психозе. Там давалось этому явлению такое объяснение. Если, скажем, в большом городе один человек остановится и будет смотреть в небо, то непременно найдется еще десять, которым хочется узнать, что он там рассматривает. А если десять человек уставятся в небо, то и все остальные подумают, что в небе что-то есть.

Эймар Ринда несколько раз перечитал статью. Потом сделал вывод: раз один человек может завлечь целую улицу, то двадцати пяти повлиять на одного — сущий пустяк. Когда учитель математики Антон Антоныч вошел в класс, мы устали в потолок, а Туртс тихонько зажужжал как овод. Антон Антоныч, конечно, вскоре догадался, в чем дело, ведь мы были тогда неопытными артистами. Но сначала и он пристально смотрел вверх.

А теперь мы артисты с опытом. Когда Тихий Мюргель отворил окно и овод тихонько зажужжал, мы совсем не просто так посмотрели наверх. Весь класс обратил взоры сначала на вентиляционное отверстие в стене над доской, потом на коричневое пятно над дверью, затем на третий справа плафон и так далее. Путь овода был точно установлен и выучен заранее. Во всех уголках под потолком должен был он, окаянный, побывать. А жужжащий Туртс для маскировки держал перед собой зеркальце и делал вид, будто для него сейчас важнее всего на свете расчесать пробор.

Но и коллективное представление на этот раз не пошло по заданному пути. Сначала Ирина Карловна тоже взглянула наверх, а потом вдруг направилась на цыпочках к задним партам. Мы не успели разобраться, в чем дело, как она вдруг шлепнет ладонью по стене, прямо под ухом Туртса.

— Гык, — сказал Туртс.

От испуга он перестал жужжать, а зеркальце со звоном по-

катилося под парту. Ирина Карловна посмотрела на нас, потом на свою порозовевшую ладонь и удивленно произнесла:

— Кажется, мы прихлопнули пiskuна. Его не слышно!

И после того, как мы посидели в тишине, добавила:

— Значит, let's go ahead¹. Продолжим урок.

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС

Туртс, Таммекянд и Юхан Салу изучают учение Павлова. «Проникают вглубь», как советовал классный руководитель Виктор Янович Кясперс. Вернее, по-настоящему изучает только Яан Туртс. Юхан Салу и Пауль Таммекянд — ассистенты.

Любознательность проснулась в Туртсе на уроке анатомии и физиологии, когда дошли до условных рефлексов. Ему захотелось проверить, правильно ли написано в учебнике. Верно ли, например, что если звонить в колокольчик, когда кролики едят, то они и потом будут раскрывать рты на звук колокольчика. Или если во время кормления рыбок бить палочкой по аквариуму, то они начнут собираться, стоит только постучать.

После уроков Юхан и Пауль приходят к Туртсу. Рыбок и кроликов в хозяйстве у Туртсов нет, поэтому Яан ставит эксперимент на петухе. У него есть прирученный и умный петух Герман, лучше всяких рыбок или кроликов.

У Туртсова петуха такая привычка: стоит ущипнуть его за правую ногу, он начинает петть. Туртс обнаружил это совершенно случайно. Но привычка еще не рефлекс, это понимает Туртс, понимают Таммекянд и Юхан Салу, но она открывает возможность для выработки условного рефлекса.

Условный рефлекс вырабатывается следующим образом: Туртс приносит ассистентам две фуражки. Юхан Салу и Таммекянд выходят из ворот и удаляются от дома. Туртс сажает петуха на забор, а сам приседает под забором на корточки.

По дороге идет Юхан Салу. Поравнявшись с петухом, он приподнимает фуражку и говорит:

— Здравствуйте!

¹ Идем дальше (англ.).

Туртс щиплет петуха за ногу, а Герман отвечает:

«Кукареку!»

Юхан скрывается за углом, и тогда появляется Таммекянд. Он тоже снимает перед петухом фуражку, и петух голосисто отзывается:

«Кукарику!»

Счастливый экспериментатор кладет на забор дождевого червяка. По системе Павлова в таких случаях полагается вознаграждение.

Снова ассистенты проходят мимо пестрого петуха, и снова Туртс щиплет его за ногу.

«Кикареку! — голосит петух.

— Интеллигентный пернатый, — говорит Туртс тоном ученого мужа. — Вы заметили? «Здравствуйте» в трех варпациях.

Вскоре интеллигентный пернатый издает четвертую вариацию. К великой радости Туртса Герман хрипит Юхану прямо в лицо:

«Кыкк-кырекуу!»

На следующий день Туртс отправляет Юхана Салу и Таммекянда на арену со шляпами. Такие головные уборы ребята никогда не носили, поэтому приветствие получается неуклюже, но петуху это нипочем.

«Кукареку!» — поет он добросовестно. Во всех четырех вариациях. И клюет с ладони Туртса распаренные ячменные зерна. Те самые, с которыми отец Туртса собирался идти на рыбалку.

Туртс внес еще одно усовершенствование. Он сидит под забором не на корточках, как прежде, а на чурбане, который притащил сюда. Теперь последователю учения Павлова гораздо удобнее.

Юхан Салу и Таммекянд тоже набрались опыта. Все время одинаково здороваться им надоедает. Они приподнимают шляпу то правой, то левой рукой, то за поля спереди, то сзади. А петуха все это нисколько не волнует. Его хватают за ногу, и он поет. Даже в том случае, когда идущий позади Юхана Таммекянд граблями приподнимает шляпу своего товарища.

Когда ассистенты отрабатывают коллективное приветствие, мимо проходит Анна Сакман, известная на всю округу болтуш-

ка. Глаза Анны Сакман уже не те, что в молодости. Она не замечает ни петуха, ни того, что Юхан Салу хватается головной убор Таммекянда, а Таммекянд, в свою очередь, приподнимает шляпу Юхана. Анна принимает приветствия и очень довольна, что современная молодежь так вежлива.

Через пять дней Туртс решает приступить к настоящим опытам по системе Павлова. До сих пор велась лишь подготовительная работа. Когда Юхан Салу и Таммекянд в фуражках подходят, Туртс и не собирается щипать Германа за ногу. Он даже отодвигается с чурбаном подальше, чтобы не возникло каких-либо сомнений. Одним глазом он наблюдает за петухом, а другим смотрит сквозь щель за друзьями. Туртс ждет, что же будет дальше.

«Кукареку!» — поет петух, как только Юхан Салу и Таммекянд дотрагиваются до фуражек.

— Вот видите! — И удивленное, широко улыбающееся лицо поднимается из-за забора. — Верно сказано в учебнике. Теперь у нас есть петух с условным рефлексом.

На всякий случай эксперимент проделывают еще раз. Туртс приподнимает фуражку.

И Герман поет.

Сомнений больше нет. У петуха Туртсов выработался условный рефлекс. «Этого пестрого Германа надо бы теперь в цирк отдать, — думает Туртс. — Не осрамился бы». Туртсу очень жаль, что поблизости нет цирка. Пропадут их усилия, и никто не узнает об интеллигентном петухе.

Но это преждевременное огорчение. Вскоре Туртса осеняет новая, прекрасная мысль.

На прошлом уроке задали рассказать учение Павлова об условных рефлексах. Туртс еще не отвечал. А что, если принести петуха в школу как наглядное пособие?

У Юхана Салу живое воображение, он с ходу угадывает план Туртса. И тут же втолковывает его Таммекянду. Петуха надо будет тайком принести в школу. Когда Туртс бегло осветит теоретическую часть учения Павлова, он сделает величественный жест и скажет: «А теперь маленький эксперимент в подтверждение моих слов!»

И, к удивлению всего класса, Туртс наденет берет. А в том

углу, куда он укажет жестом, к изумлению ребят ассистенты вынут из-под парты интеллигентного Германа.

В назначенный день три заговорщика приходят в школу заранее. Самый длинный из них несет плетеную корзину. Ребята прячут ее под партой Юхана.

К счастью, первый урок — анатомия и физиология. Виктор Янович Кясперс, как всегда, кладет на стол карманные часы с серебряной крышкой, раскрывает свою знаменитую записную книжку и окидывает взглядом класс. Все, как обычно, но не совсем. Ян Туртс на задней парте высоко поднял руку.

Он не рассчитывает на случайность, как кажется Юхану. Туртс — отличный психолог. Он наперед знает намерения Виктора Яновича.

Виктор Янович определяет по лицам ребят, кто не подготовился к уроку. Сейчас он рассуждает так: «Ага. Д-да... Туртс поднял руку. Думает, я поверю, что он все выучил, и не вызову его к доске!»

Виктор Янович слегка усмехается. Открыто смеяться над учениками — этого Виктор Янович не позволит себе никогда.

«Туртс, Туртс,— думает учитель,— разве я тебя не знаю. Если бы ты хотел ответить, ты бы до последнего момента ли-стал учебник».

Так Виктору Яновичу подсказывает опыт. Даже лучшие ученики в классе, прежде чем поднять руку, пробегают глазами нужные строчки в учебнике. Уж таковы дети. Не уверены в своих знаниях.

Виктор Янович снова еле заметно усмехается, и затем совершает ошибку. Так случается с людьми, которые, доверяясь своему умению читать чужие мысли, недооценивают эту же способность у других.

— Сегодня у нас пойдет к доске и расскажет об условных рефлексах Ян Туртс,— мягким голосом говорит Виктор Янович.

Туртс на задней парте поднимается. Кажется, будто вытягивается подзорная труба. Туртс подмигивает Юхану Салу и Таммеянду и отправляется к доске.

— Великий русский ученый Павлов сделал великое открытие,— храбро начинает Туртс.

Затем он должен сказать, какое это было открытие, но в

классе поднимается шум, и Туртс смолкает. Класс вместе с Виктором Яновичем стоит на пороге нового открытия. Юхан Салу и Таммеянд затеяли возню. Юхан слишком рано вынул Германа из корзины, и петух сделал с брюками Юхана то, чего ему не следовало бы делать. Юхан Салу боится, что петух может это повторить, и пытается спровадить его Таммеянду.

Ничего удивительного, что в таком переполохе с наглядного пособия сползает мешок. Ассистенты замечают опасность слишком поздно. Переполошившийся петух вырывается и летит на подоконник. Отсюда пестрый Герман бросает испуганный взгляд на изумленный класс. Туртс в замешательстве вынимает вместо носового платка берет и вытирает им лоб.

Условный рефлекс срабатывает.

«Кукареку!» — что есть мочи кричит петух и кидается в бездну.

ИЗЪЯН В ХАРАКТЕРЕ

Уроки кончились. Юхан Салу — в правлении колхоза. Он тербит кисточку и задумчиво смотрит на лист ватмана, расстеленный на широком конторском столе. Юхан должен написать афишу: «В воскресенье, 24 ноября, полеводческая бригада организует в колхозном клубе осенний бал», и так далее. Все это нужно крупными буквами поместить на большом листе.

В конторе послеобеденная тишина. Только бухгалтер Радамес лениво скрипит пером.

Юхан Салу и раньше оформлял афиши, что там и говорить, это он выполнил диаграммы, графики, всю наглядную агитацию, что висит в колхозной конторе.

«От каждого по его способностям...» — говорит председатель, если нужно нарисовать какой-нибудь плакат, и посылает за Юханом Салу.

Юхан подкладывает под дальний край листа стопку книг и отступает на шаг. На лбу у него появляется вертикальная морщина. Это означает: либо его мучают неразрешенные проблемы, либо ему что-то не нравится. Сейчас морщина говорит о втором. Юхану надоело рисовать афиши, где учитывается каждый квадратный сантиметр. Все такие афиши похожи одна на другую

как две капли воды. Что-то в нем протестует. Почему, скажите, самые главные слова должны делить афишу пополам? Почему, например, буквы «Осенний бал» не могут выстроиться одна за другой сверху вниз на левой половине листа?

Юхан долго думает, эта мысль нравится ему все больше!

Просьбу организаторов вечера прийти в масках, сыграть или станцевать что-нибудь он напишет мелкими буквами в правом углу. Такими же буквами — начало вечера и тому подобное. Зачем писать крупными буквами, если «Осенний бал» и без того призывает к себе? А на листе останется свободный уголок. Юхан, кажется, уже придумал, как его использовать.

Прищурившись, он прикидывает в уме, как будут выглядеть буквы. Они не стоят стройно и деловито, как бывало на всех афишах, нарисованных в правлении. Нет, они спускаются от верхнего края к нижнему вразвалку. Забавно, впечатления неряшливости от этого не создается. Кажется, будто бы афиша рада сообщить людям приятную весть — состоится осенний бал.

«Вот именно так мы и сделаем,— произносит Юхан Салу про себя.— Так и только так».

Высунув кончик языка, Юхан выдавливая из тюбика немного красной гуаши. Председатель назвал его однажды «почти художником», и он был прав. Юхан умеет рисовать, и, кроме того, у него завидный глазомер. И места хватает, и все буквы умещаются. Поводит рукой над бумагой, и кисточка сама ляжет на то место, куда надо.

Контуры десяти букв Юхан набрасывает за несколько минут. Сразу же раскрашивает их. Теперь надо бы перенести на ватман остальной текст, но Юхану не освободиться от желания сразу же нарисовать на свободном уголке желтовато-коричневый осенний кленовый лист, о котором больше догадываешься, нежели ясно видишь.

— Вот именно,— повторяет он.— Так и только так.

На этот раз его слова услышал Радамес. Бухгалтер Радамес заинтересованно покашливает.

Юхан не раз задумывался над тем, откуда у этого с виду неприметного низкорослого человека такое необыкновенное имя. Не иначе, как из оперы. В молодости он пел в опере. А потом с ним случилось нечто такое, ну, что всегда бывает с певцами,

когда они теряют голос. И он бежал из театра, начал новую жизнь бухгалтером, а чтобы его не разыскали, взял новое имя. Когда-то он блистал в партии Радамеса, египетского военачальника в опере «Аида». Вот он и зовется теперь Радамесом.

На самом же деле бухгалтер Радамес не умеет петь. Юхан Салу знает это так же хорошо, как и все, но это его не смущает, и своей версии о происхождении имени бухгалтера он остается верен. Если уж фантазия Юхана проторила себе дорожку, то с этой дорожки ей больше не свернуть.

Да, покашливание бухгалтера говорит о заинтересованности. Переваливаясь на коротких ножках, он подходит к мальчику. Но ненадолго. Когда других знатоков поблизости нет, то решения рождаются у Радамеса быстро и без мучений.

— Фи! — восклицает бухгалтер. — Что это за работа? Заглавие столбом, а буквы все перекосились. Разве тебя в школе этому учили?

До сих пор юного художника баловали похвалой. Он вздрагивает.

— А это что? — брюзжит критик и указывает пальцем на правый нижний угол афиши.

А там Юхан нарисовал лишь подразумеваемый кленовый лист. Кленовый лист для настроения.

— Фи, — говорит Радамес, — никто и не поймет, что это такое.

Он подтягивает брюки и добавляет, что колхоз опять потерпел убыток — в трубу вылетел целый лист бумаги. Если даже государственные типографии печатают на афишах только прямые буквы, то четырнадцатилетнему мазилке нечего фокусничать.

Слово «мазилка» обескураживает Юхана окончательно. Он любит, чтоб его хвалили, но ему не нравится самостоятельно принимать решения. Это предполагает риск, Юхан держится подальше от риска. Рискнешь и ненароком ошибешься. А потом отвечай. Сейчас-то отвечать не за что. У Юхана хватает догадки сообразить, что работа над афишей — мелочь. Но с другой стороны, если прекрасно справиться с мелочью... Правление колхоза ценит Юхана Салу как художника, который лучше всех в округе выполняет диаграммы. И уронить себя Юхан не хочет.

Воодушевление, недавно царившее в сердце Юхана, удаляется, как вор на цыпочках.

— Рисуй, как всегда рисовал,— сказал ему Радамес.

Ладно, он сделает такую афишу, как всегда. Он забросит «мазню», которая, несмотря ни на что, ему все-таки нравится, за шкаф, и начнет все заново.

Бухгалтер Радамес опять принялся за свои отчеты. Под скрип его пера Юхан снимает со стола афишу, направляется к полке. Но среди почвенно-агрономических карт и прочего снаряжения агронома нет больше ни одного чистого листа ватмана.

Юхан думает использовать другую сторону испачканного листа. Нет, нельзя. Красная гуашь будет наверняка просвечивать, а стереть невозможно, бумага не выдержит.

Вернее всего сбежать домой за новым листом ватмана. Живет он не далеко. По тропе вдоль речки не будет и километра.

И вот Юхан бежит домой за чистым листом бумаги. Бежит — не совсем точно сказано. Вернее, он идет широким шагом. Вдоль реки извивается тропка. Она приведет Юхана почти к дому. Дорога настолько знакома, что можно идти хоть зажмурившись. Ноги сами знают, куда ступить, а фантазия Юхана любит проторенную дорогу.

Еще два шага, и Юхан уже на самой крутизне. На этом крутом берегу так хорошо мечтается... Вот, например, будто Юхан спасает чью-то жизнь.

Он пробирается между двумя черемухами, ветви которых переплелись вверх, и слышит крики детей. По лесной дороге мчится к речке обезумевшая лошадь. Одноколка прыгает с кочки на кочку. А в ней две... нет, три маленькие девочки. Прямо чудо, что они не вывалились.

Лошадь приближается к обрыву, девочки замерли в испуге, крепко ухватившись ручонками за края тележки. Что же будет? Что только будет?

Именно в тот момент, когда, кажется, ничто не может спасти детишек, Юхан выскакивает из-за кустов. Каким образом можно схватить под уздцы обезумевшую лошадь, Юхан не представляет. Поэтому он надолго не останавливается на этой картине. Освирепевшая лошадь одним махом поднимает его на воздух. Метров десять лошадь волочит его за собой. Наконец

Юхану удастся встать на ноги и отвести лошадь подальше от обрыва.

Это происходит в последний момент. Не раньше и не позже. Когда он выводит лошадь на дорогу, колесо тележки на миг повисает над обрывом.

Хотя смерть была рядом, на лице Юхана не дрогнул ни один мускул. Он похлопывает лошадь по шее:

«Ну что ты, моя хорошая, чего так испугалась?»

Постепенно девочки начинают понимать, что опасность, грозившая им, миновала. И старшая из них, чем-то очень похожая на Марту Йыесаар, говорит:

«Это случилось там, на шоссе. Лось перебежал дорогу. Лошадь испугалась... свернула с дороги... папа... — Вытаращив глаза, смотрит она на Юхана, переводит взгляд на сестер и заливается слезами. — А что с папой?..»

«Ничего страшного», — отвечает Юхан. Он произносит эти слова со спокойствием человека, привыкшего смотреть смерти в глаза.

«Да-да... Ничего страшного. Раз он может бегать, значит, с ним ничего страшного не случилось».

Тут и девочки замечают бегущего к ним отца и вскрикивают. Лошадь вздрагивает. Юхан снова хватается за уздечку.

«Цель! Живы!» — всхлипывает отец и вынимает детей из одноколки.

Он обнимает их по одиночке и только через некоторое время замечает, что мальчик привязал вожжи к дереву и тихонько удалился.

«Молодой человек! — зовет он. — Герой! Я тебя даже поблагодарить не успел!»

Но ему никто не отвечает.

«Героя узнают по скромности», — дважды повторяет человек и поднимает с земли листок бумаги. Листок, наверное, выпал у мальчика из кармана блузы, когда он удерживал лошадь.

«Юхан Салу, — читает вслух отец и старшая дочь. — Таристеская восьмилетняя школа».

Эпилог этой истории повествует о том, как на следующий день о поступке Юхана узнает вся школа. Но сегодня не до эпилога, Юхан скорее обычного пересек пригорок с просекой.

Дальше тропа начинает спускаться, здесь нужна совершенно другая история. Река тут неглубокая, течение быстрое. Между мшистыми камнями — водовороты. Здесь начинаются пороги. Сюда приплывает метать икру морская форель. Тут, у порогов, прячутся браконьеры. В своем воображении Юхан достигал их дюжинами. Еще не перевелись те, которым хочется полакомиться икрой. Каждый раз, когда Юхан проходит мимо порогов, он наталкивается по крайней мере на одного такого разбойника. На всякий случай Юхан берет в руки булыжник.

Тропинка ведет в кусты. «Как в тоннель», — думает Юхан и настораживается. Сейчас кончится тоннель, и он увидит в реке человека с острой в руках.

Легко, как косуля, Юхан выскакивает на поляну.

Неслышно, как лиса, подстерегающая добычу, он снова прячется в кусты.

Да, в реке стоит человек. По колено в воде и тащит веревку. Просто невероятно!

Вот оно и свершилось! Браконьер на месте преступления! Юхан вдруг чувствует, что в горле пересохло.

«Бросайте багор и сеть! Руки вверх!»

Но Юхану очень трудно представить себе, что он осмелится так сказать. Гораздо яснее представляется то, что может последовать затем, и поэтому он невольно прячется подальше в кусты. Внутренний голос предостерегает его: оставь незнакомца, проходи лесом. А как не хочется упускать такую возможность! Сколько зеленый патруль Таристеской школы мечтал о ней!

«Эй, был бы фотоаппарат!» — вздыхает Юхан. Где-то он читал, как фотоснимок помог разоблачить браконьеров.

Но фотоаппарата нет.

«Было бы ружье...» Зачем оно ему, об этом мальчик не думает.

Но и ружья нет.

«Был бы хоть Таммекаянд под рукой», — вздыхает Юхан в третий раз, жалея, что нет с ним его предприимчивого друга. Но нет и Таммекаянда.

Еще Юхан читал, что когда человек сталкивается с опасностью, у него появляется какая-то особенная смелость и решимость. В трудные моменты он находит в себе скрытые запасы

храбрости — Юхан собственными глазами читал, — только, видимо, писавший ошибся, потому что о себе Юхан такого сказать не может.

А человек в реке по-прежнему тащит веревку. Если за веревкой не потянется сеть, значит, Юхан о рыбной ловле и представления не имеет. Но к веревке привязана сеть. К тому же она зацепилась — Юхан слышит ругательство.

«Грубый человек! — заключает Юхан. — Некультурный человек».

И у Юхана совершенно пропадает желание вмешиваться в дела браконьера.

«Один в поле не воин! — оправдывается Юхан. — Конечно, один не воин...»

И он тихонько уходит в ольшаник.

Вдруг он видит мотоцикл. «М-72» с коляской стоит под развесистой елью всего лишь в полусотне метров от человека, который возится с сетью. От мотоцикла тянет бензином и теплым маслом.

Человек приехал на мотоцикле, нет сомнения.

У Юхана появляется гениальная мысль: подползти к мотоциклу и отвинтить что-нибудь, без чего тот не поедет. А потом бежать в деревню и собрать людей.

И вот Юхан возле мотоцикла. Что же это может быть, без чего не уедешь? Он осматривает мотоцикл с одной, с другой стороны. Затем прижимается к земле, вытягивает руку и отвинчивает крышки вентиля с начала с одного, потом с другого колеса.

Раздается ужасное шипенье. До смерти перепугавшийся Юхан на четвереньках удирает в лес.

Вот это риск!

Юхан проверяет, целы ли вентили, и мысленно поздравляет себя. Ура, ребята! Победа за нами!

Дальше все пойдет как по маслу. Из дому он позвонит леснику Кáрпа. Если Карпа в лесу браконьеров ловит, то уж, наверное, и на похитителя ценной рыбы сможет составить протокол. Само собой разумеется, что при составлении протокола будет присутствовать известный защитник природы, дружинник Юхан Салу. Пусть браконьер облегчит свой кошелек на десять рублей.

Пусть! А потом вместе с квитанцией ему вернут два вентиля.

Тут Юхан чувствует странную дрожь под коленками. Она ему знакома, и все же... Что, если браконьер затаит злобу? Будет ходить и думать, как бы отомстить Юхану?

Мрачно покусывая губы, Юхан открывает калитку своего дома. Может, отнести вентиля обратно?

Дрожь пробегает по спине. Нет, это все равно что идти на самоубийство. Ведь человек уже не возится с сетями. Браконьеры очень быстро делают свое дело. Пожалуй, теперь он возится с мотоциклом.

Может, оставить вентиля в кармане? Кому придет в голову подозревать и обыскивать именно его? Пусть вентиля останутся у него, а до мотоцикла ему нет дела. Юхан ничего не знает. Не знает, кто тащил сеть, не знает, чей там у реки мотоцикл. Он рисовал афишу и будет опять рисовать. Это интересная работа, тем более на благо колхоза.

Но в душе Юхан досадует, что браконьера не оштрафуют. А может, позвонить леснику, не называя своего имени? Так, мол, и так, говорит неизвестный вам человек. На реке у порогов вытаскивал сети какой-то субъект, который теперь собирается убить лося. Только вот поблизости нет телефона. Надо идти в общежитие доярок. Никто лучше Юхана не представляет, что тогда останется от «неизвестного человека».

«Своя рубашка ближе к телу», — мысленно произносит Юхан и оглядывается, словно боясь, что его подслушивают. Ведь такие слова не для посторонних ушей. Этим дело решается. Вентиля он оставляет в кармане и со свертком бумаги в руках возвращается в контору, но не берегом реки, а по окружной дороге, полем.

Пока Юхан путешествовал, гуашь в маленьких фарфоровых чашечках высохла. Юхан идет за водой к колодцу. И тут... ноги его подкашиваются: прямо через картофельное поле идет к правлению тот самый браконьер.

Когда незнакомец стучится в дверь, Юхан занят своим делом. Обычно он никогда не набрасывает карандашом контуры букв. А сейчас он занят именно этим.

— Здравствуйте! — говорит незнакомец. — А больше никого нет?

Он такой же высокий, как одноклассник Юхана Туртс. Бухгалтер Радамес перестает скрипеть пером. Кто незнакомцу нужен?

Оказывается, гостю нужен председатель. Если председатель скоро придет, он может подождать.

Радамесу известно, что председатель скоро вернется.

Гость не садится. Он осматривает диаграммы на стенах, изучает колхозную карту, потом встает за спиной Юхана.

Юхан уткнулся носом в бумагу. Он намечает карандашом буквы.

Странная история произошла с незнакомцем.

— Кто бы мог подумать? — говорит он. Всего-то он навидался, а вот такое случилось в первый раз. — Представляете, я на минуту оставил мотоцикл, и кто-то спустил шины.

Юхан Салу может это прекрасно себе представить. Травинка и сейчас щекочет за пазухой. Но он не подает и вида.

— Скажите пожалуйста! — продолжает гость. — Смотрю, шины сели. Хочу накачать, а вентиля-то нет. Будто их коза хвостом смахнула. Представляете!

Но в общем-то он доволен. Не каждому инспектору рыбнадзора удастся в первую же трудовую неделю вытащить на берег две капроновые сети браконьера. Вентили — это пустяк. Председатель сегодня же даст ему новые. А где браконьер возьмет новые сети? Инспектор смеется.

Радамес отложил ручку. Он тоже смеется.

Юхан понимает, что и ему следовало бы улыбнуться, но улыбка не получается. Так, значит, этот человек не браконьер, а инспектор рыбнадзора, который вытаскивал из воды сети браконьера! Юхан утыкается носом в бумагу.

Радамеса вдруг начинает интересовать количество рыбы, которую браконьеры вылавливают в реках и озерах. Будет несколько десятков тонн или нет? Радамес еще о чем-то спрашивает, но гостю не до него. Гостя заинтересовала работа Юхана.

— Какого цвета будут эти буквы?

— Красные, — отвечает Юхан. На афишах большие буквы всегда рисовали красным.

— А если сделать одну букву красной, а другую синей?

Что ж, Юхан согласен. Лишь бы этот человек поскорее ушел.

Но советчик начинает сомневаться, хорошо ли получится. Сначала надо попробовать на клочке бумаги. Одну букву красную, другую синюю. Или же так: две красные, потом две синие.

Вспотевший Юхан протягивает руку за тюбиком. Синего тюбика нет. Ни в коробке, ни на столе.

— Иногда я кладу тюбик сюда,— бормочет Юхан и ощупывает нагрудный карман. Но и в кармане нет.

— Значит, потерял? — спрашивает гость. Кажется, это ему на руку.

Юхан кивает головой. Видимо, потерял.

— И ты не знаешь где?

Юхан не знает. Вот так история! Можно предположить, что тюбик с синей гуашью упал из коробки в конторский шкаф и затерялся в гряде бумаг. Но Юхану не позволено там рыться.

— Значит, в конторский шкаф? — удивляется инспектор. — А не валяется возле некоего мотоцикла?

Юхан поднимает глаза, и первое, что он видит, — тюбик с синей гуашью. Инспектор подбрасывает его на ладони.

Юхан сразу же сообразил, в какую игру с ним играли.

— На военной службе я был пограничником,— говорит инспектор. — А пограничники... Ай-ай-ай! Смотри, у тебя на коленках и сейчас сосновые иголки.

Юхан чувствует себя мышью в лапах кошки. Он нащупывает и вынимает из кармана два вентиля. Да, да, он готов накачать шины.

— До чего же интересна философия маленьких жуликов! — восклицает победивший и надевает фуражку. — Скажи-ка, а что ты ожидал от своей проделки? Может, в реке были твои сети и ты решил отомстить?

— Я подумал, что вы браконьер,— признается Юхан Салу. — Я шел по берегу и заметил, что кто-то ставит сети. Ну и отвинтил... чтобы вы не могли скрыться...

Юхан понимает: ни один инспектор рыбнадзора не простит, если его примут за браконьера. Посчитать инспектора за браконьера ужасное преступление. Юхан ожидает, что инспектор рассвирепеет, но нет — высокий человек смеется. От души. Смеется и Радамес.

— Скажите пожалуйста! — Инспектор бьет ладонью по ко-

лену и хохочет.— Я вытаскиваю сети браконьера, а меня самого... Вот так здорово!

Проходит несколько минут, владелец мотоцикла снова становится серьезным.

— Так кого же ты... туда... за мной послал? Они уже окружают мотоцикл?

Юхан выглядит жалким. Ничего не поделаешь. Придется говорить правду.

Инспектор таращит глаза. Он в недоумении. Ведь Юхан уже привел мотоцикл в негодное состояние. Почему же он не действовал дальше?

Юхан молчит. Невысказанные слова написаны на его лице.

— Да...— произносит защитник рыбных богатств и почему-то вздыхает.— Так вот оно что!.. Плохо, очень плохо. Что начато, нужно довести до конца. Мне кажется — это самое главное.

Инспектор прощается только с Радамесом.

Юхан Салу долго смотрит на дверь.

Потом глубоко вздыхает и вытаскивает из-за шкафа заброшенную афишу. Ту, на которой «Осенний бал» стоит столбом, а в правом углу красуется кленовый лист. Ту, которая ему самому нравилась.

Не обращая внимания на Радамеса, Юхан прикрепляет ватман кнопками на прежнее место. Потом берет в руки кисточку.

Что начато, нужно довести до конца.

ПЕРЕДАЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Юхан Салу оказался жертвой чужого хвастовства. Таммекинд хвастался, а Юхан должен страдать. Теперь Юхан сидит в сарае Таммекиндов на чурбане и уже в пятый раз повторяет:

— Я бригадир плотников Пáаберитс.

И Таммекинд уже в пятый раз ругает Юхана:

— Что у тебя за голос? Какой-то мышиный писк. Нужно говорить басом. Сколько раз тебя просить?

Правда, Юхану сказано, что нужно говорить басом, но не так-то легко выполнить просьбу. Первые два слова Юхан произ-

носит басом довольно сносно, но под конец голосовые связки подводят.

— Наказание мне с тобой! — говорит Пауль словами своей тети. — Ну никак не может человек взять себя в руки!

Нет же, Юхан старается изо всех сил, даже вспотел. Но ничего не выходит! Слова «бригадир плотников Пааберитс» по-прежнему поднимаются на голосовых связках в гору. Только когда Юхан догадывается сложить ладони рупором, все идет на лад. Теперь можно приниматься за дело, считает Таммекиянд.

А дело в том, что нужно подготовить радиопередачу. Таммекиянду поручили это только потому, что он хвастался. В праздники он гостил у дяди и побывал у него на работе в Доме радио. Вернувшись домой, он заявил, что подготовить радиопередачу для него сущий пустяк. Ничего, говорит, если перед микрофоном захочется чихнуть или закашляешься. Помехи можно вырезать ножницами. Все, что идет в эфир, записано на пленку. Таких репортеров, говорит, и нет, которые не покашливают перед микрофоном. Он, говорит, сам видел, как на радио вырезали покашливания. Ножницы все время щелкали, так много приходилось кромсать.

Каждый день Таммекиянд добавлял новые подробности о работе радиокорреспондента. Договорился до того, что в один прекрасный день классный руководитель Виктор Янович сказал:

— Хорошо, что у нас имеются знатоки радио. Скоро будет родительское собрание, и нам поручено рассказать о ходе строительства нового интерната. Таммекиянд, ты возьмешь школьный магнитофон и сделаешь репортаж. Побеседуй с бригадиром плотников Пааберитсом. А на собрании родители услышат репортаж по школьному радио.

Таммекиянду разрешили взять себе помощника, и он выбрал Юхана. Вот почему Юхан держит ладони рупором и старается говорить грубым низким голосом:

— Я бригадир плотников Пааберитс.

Про свои знания Таммекиянд сильно приврал. Юхан понял это тотчас же, как они начали делать репортаж. Таммекиянд совсем не знал, что при сильном ветре на магнитной пленке появляются посторонние шумы. Это выяснилось потом, когда прослушивали записанный на пленку разговор.

Репортаж пришлось делать заново. В другой раз беседа удалась лучше. Ветра не было. Таммекиянд спросил, как идет строительство, каких материалов не хватает, и еще что-то в том же духе. Естественно, он иногда покашливал. Бригадир плотников Пааберитс ответил, что работа идет неплохо, но шамотовых кирпичей не хватает. Он тоже кашлянул несколько раз.

А потом Таммекиянд стал вырезать покашливания. Юхан увидел, что его друг приврал даже больше, чем он, Юхан, мог подумывать. Таммекиянд вырезал покашливания, а заодно прихватил и часть текста. Так, например, из фразы «Бригадир, кх, кх, плотников Пааберитс» получилось «Брига ков Пааберитс».

После получасовой работы с ножницами магнитной пленки на катушке осталось совсем немного. Друзья поняли, что к бригадиру плотников придется идти в третий раз. Они наверняка пошли бы, если б не совещание передовиков. Бригадира вызвали в Таллин, и он уехал. Обещал вернуться в воскресенье, к началу родительского собрания.

Тут-то Таммекиянд и нашел единственный способ, как выкрутиться из этой истории. Юхан будет говорить за бригадира, и они сделают репортаж заново. Всем ведь известно, что телефон и радио искажают голос. Если Юхан будет говорить басом, то сам Пааберитс признает его голос за свой. Главное, чтобы Юхан отвечал на вопросы репортера теми же словами, что были произнесены на стройплощадке. А свой разговор ребята запомнили хорошо.

И вот Таммекиянд с Юханом Салу проводят в дровяном сарае уже седьмую репетицию. Хотя Таммекиянд сам виноват, что все так нелепо получилось, он то и дело отчитывает Юхана.

Кашлять больше не разрешается, потому что вырезать покашливания гораздо труднее, чем Таммекиянд считал прежде. Ошибаться нельзя вовсе, так как одна лента уже искромсана. Классный руководитель дал Таммекиянду только две кассеты. Вторую нужно беречь как зеницу ока.

Уже шесть раз ребята переделывали и прослушивали репортаж. Записывали на одну и ту же пленку, потому что, когда записываешь новое, старое стирается само собой. Ферромагнитная лента как школьная доска — пиши да стирай. Юхан считает, что она даже лучше, чем доска, — руки не пачкаешь.



Юхан заучил наизусть все высказывания бригадира. Разбудил его среди ночи — и он тебе все изложит. Низкий голос тоже начинает получаться, потому что Юхан говорит в ладони, как в рупор. Но все же он не верит, что передача получится. Если кого и удастся обмануть, то уж, наверное, не самого бригадира. А Таммекинд тут же рассеивает его сомнения. Он уверяет, что бригадир совсем и не знает, какой у него голос. Потому что свой голос человек ощущает через какой-то проход в носоглотке. Услышать собственный голос можно лишь на магнитофоне. А Пааберитсу такой случай еще не выпадал.

Таммекинд так умело объясняет, что сомнений вскоре как не бывало.

По сути дела, они никого не обманывают. Бригадир плотников Пааберитс произносит те же слова, что и на объекте. Где же тут обман?

Седьмой репетицией Таммекинд доволен. Юхан раза три заикнулся, но это даже хорошо. Ведь человек, за которого Юхан говорит, не был златоустом. Теперь можно записать репортаж на пленку.

— Внимание! Запись! — говорит Таммекинд и включает магнитофон.

Ему гораздо труднее, чем Юхану, это точно. Он и о фоне заботится. Без настоящего фона ничего не получится. Сначала Таммекинд постукивает около магнитофона по кирпичу ножом, и только после этого задает вопрос Пааберитсу. Этот стук передает рабочую атмосферу на строительстве.

— Наш микрофон находится сейчас на стройке здания интерната Таристеской школы, — начинает Таммекинд.

В передаче «Эхо дня» диктор Таллинского радио каждый вечер говорит, что микрофон находится там-то и там-то. Вот почему Таммекинд знает, что именно так нужно говорить.

— Я бригадир плотников Пааберитс, — доходит черед до Юхана.

Он произносит слова приятным басом, и Таммекинд, постукивая ножом по кирпичу, одобрительно кивает головой. Юхану следует добавить, что очень важна помощь общественности. Без ее помощи не смогли бы сделать того, что сделано.

Под общественностью бригадир подразумевает учеников, па-

чина с пятого класса. Ребята всей дружиной славно потрудились на стройке.

Ну, Юхан и говорит то, что нужно. Про помощь общественности и про дефицит материала. Шамот потребуется в ближайшие дни. Не пора ли выполнять свои обещания работникам Таристеского кооператива?

Семь репетиций пошли на пользу. Все идет как по маслу, — написано на лице репортера. Сам же репортер выглядит как ярмарочный музыкант — игрой на разных инструментах заняты все руки-ноги. Таммекянд постукивает по кирпичу и в то же время шаркает башмаком по полу дровяного сарая. Получается звук, который очень подходит к рабочей атмосфере на строительстве.

Две трети репортажа почти готовы, как вдруг лицо репортера-режиссера — мастера фона мрачнеет.

— Цып-цып-цып! — слышится во дворе. — Цып-цып!

Микрофон улавливает то, что вовсе не соответствует строительному шуму.

Таммекянд мысленно проклинает всех кур на свете и хватается за веревку, ведущую к поленище. Тянуть за веревку у него запланировано. Дрова рассыплются. Правда, на стройке развалилась лишь небольшая кладка кирпича, но это не имеет значения. Сухие березовые дрова грохочут почти так же.

Сестренка подходит ближе. В самый критический момент репортер-режиссер — мастер фона тянет веревку. В нем еще теплится надежда, что сестренка перестанет звать кур, а грохот дров заглушит голос девочки. Но надежде Таммекянда не суждено сбыться. Со скрипом открывается дверь сарая, и сестренка, прижимая к груди решето с зерном, голосисто перебивает Юхана-бригадира:

— Цып-цып! Куда же этот петух всех курочек увел?

Репортаж придется делать снова. Напрасно Таммекянд тянул за веревку. Еще и дрова придется заново складывать.

Девятый эксперимент также неудачен. Усердно шаркая по полу башмаком, Таммекянд нечаянно задевает провод и выдергивает вилку из розетки. Тут попало Юхану, почему вовремя не предупредил, и после передышки ребята начинают все сначала уже в десятый раз.

Десятый репортаж удастся. От перенапряжения голос Юхана огрубел, и бас бригадира получается запросто. И дрова высыпаются в положенное время, все как полагается. Репортаж готов, от начала до конца. Больше не нужны ножницы, не нужен и клей с запахом уксуса.

— Порядок! — вздыхает Таммемянд облегченно и утирает пот.

Юхан молчит. Он тоже утирает пот и про себя дивится упорству друга. Сам-то он давно бы все забросил.

К началу родительского собрания Таммемянд приносит в радиоузел электростатическую машину со стеклянным диском. Если ему все-таки покажется, что голос бригадира в каком-то месте тонковат, он покрутит эту машину. Искры будут перепрыгивать с одного медного шарика на другой, и в репродукторе послышится треск.

Но предосторожность оказывается напрасной. В воскресенье во время родительского собрания треск в репродукторе слышится и без вмешательства Таммемянда, потому что на молочном пункте кипит работа. А вернувшемуся из Таллина бригадиру Пааберитсу досадно, что он не может как следует прослужить свою беседу с юным репортером.

Все проходит удачно, как и уверял Таммемянд. Но странно, друзья не рады. Чересчур много вложили они своего труда, слишком много было переживаний. Есть ли в этом прок?

Юхан Салу считает, что есть. Ведь Таммемянд перестал хвастаться. Он больше не рассказывает, как ходил в Дом радио, что ему там говорили и что он сам говорил.

Разве этого мало?

ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ

Юхан Салу, Пауль Таммемянд и Пээтер Мюргель испытывают волю. Делается это так: Пауль Таммемянд лежит в постели на спине, подняв руку, и стучит в стенку. Если выдержит до утра, значит, он волевой. Если не выдержит, то о воле говорить не приходится.

Юхан, Пауль и Пээтер недавно перестали каждый вечер хо-

дить домой. У Таммекянда тетя живет в поселке. Ребята устроились у нее. В той комнате, где окна на улицу.

Другие одноклассники, которые живут далеко от школы, поселились в интернате. Может, и три товарища попали бы в интернат, но они не стали просить. Новое здание интерната еще не готово, и потому те, у кого есть возможность, живут пока в поселке, у знакомых.

У знакомых хорошо жить. Только по утрам вставать трудно. В интернате будит дежурный — сначала дает звонок, а потом дергает за ногу. А кто тут станет за ногу дергать? Тетя Таммекянда уже в пять часов уходит на работу в почтовое отделение. Два утра подряд ребята чуть не опоздали в школу. Потом Таммекянд сконструировал пушку-будильник: поставил на пол жестяную ванну дном кверху, на нее таз, а под таз будильник. Шум такой пушки-будильника может разбудить даже покойника.

Юхан считает, что Таммекянд будет великим изобретателем. Ну, если не изобретателем, то рационализатором — это уж точно. В тетиной квартире он придумал, как тушить свет. По вечерам они не спорят, как ребята в интернате, кому вставать с постели и идти тушить свет. Пауль просовывает ногу сквозь решетку кровати, зацепляет большим пальцем за петлю — и свет потушен!

В некотором смысле лучше жить на квартире в поселке, чем в интернате. О еде ребята не беспокоятся. Они обедают в интернате. Утром и вечером можно обойтись и бутербродом. Точно — на квартире в поселке лучше, чем в интернате. По вечерам можно в кровати читать и разговаривать сколько угодно. Юхан и Пауль всегда разговаривают допоздна. Обычно они беседуют вдвоем. Мюргель так мало говорит, что друзья наперед знают, когда он что-нибудь скажет и что именно. У Мюргеля имеются твердо укоренившиеся привычки. По пятницам, через каждые две недели, он снимает с кровати белье, сворачивает его и кладет в рюкзак. Потом стелет чистое и уходит в баню. Там он моется добрых полтора часа, приходит домой и быстро укладывается спать. Ложась, он обязательно скажет:

— Ух, ребята! Как хорошо помыться, а потом под чистую простыню!

Как-то раз Пээтер ушел в баню, а ребята чистые простыни сняли и опять постелили грязные.

Мюргель вернулся из бани, блаженно потянулся в кровати и сказал:

— Ух, ребята! Как хорошо помыться, а потом под чистую простыню!

У Таммекиянда таких укоренившихся привычек нет. И у Юхана Салу нет. Они делают то, что взбредет им в голову.

Юхан и Пауль по вечерам много говорят. Про все. Несколько вечеров подряд они обсуждали, что такое героизм.

Пауль Таммекиянд считает, что большинство людей живет и не знает, есть в них героизм или нет. Ведь не каждому повезет спасти утопающего или вынести ребенка из горящего дома. Сам-то он попытался иным способом проверить, есть ли у него героизм. Прошлой зимой он ездил в город Вильянди. Там ребята прыгали на лыжах с трамплина. До этого он еще никогда не прыгал с трамплина и решил, что если у него хватит смелости прыгнуть, значит, он чуть-чуть да герой.

Но он не оказался героем. Вильяндские ребята сказали, что он только лыжи ломать умеет. Даже побить хотели, потому что загубил их лыжи.

А летом на экскурсии в Табивере Пауль вылез через люк часовни и прошелся по крыше вокруг башни. Это назвали просто хулиганством.

У Юхана свое мнение о героизме. Он считает, что героизм заключается не в случайных «подвигах». По книжкам о войне он знает: тот, кто очертя голову бросается со связкой гранат под первый попавшийся танк,— еще не герой. Герой бросает гранаты, но сам прячется в окопе, чтобы преградить путь и второму танку. И третьему, и четвертому. Так сделали панфиловцы под Москвой!

Настоящий героизм — в силе воли, считает Юхан. В человеке с большой силой воли уже есть нечто героическое. Об этом он нигде не читал. Это он сам так решил. Это плод его собственных размышлений.

И вот в просторной комнате с тремя кроватями испытывается сила воли Пауля Таммекиянда. Пауль лежит в постели и стучит пальцами правой руки в стенку. Не как попало, нет, а в

ритме вальса. Раз-два-три, раз-два-три. Если простучит до утра, значит, выдержал испытание.

Юхан Салу и Пээтер Мюргель — судьи. Без судей нельзя. А то кто же подтвердит, стучал Пауль до утра или нет. Может, вздремнул на часок. Без судей нельзя никак. Пауль Таммекиянд сказал, что без судей он стучать не станет.

Как стучать, на этот счет у ребят имеется договоренность. Пауль начинает стучать в десять вечера и должен выдержать до шести утра, и именно в ритме вальса, с поднятой правой рукой. Левой рукой можно лишь поддерживать правую, но стучать ею нельзя. Ритм вальса должны выстукивать пальцы правой руки. Если Пауль сделает перерыв хоть на одну минуту — все потеряно. Значит, он не выдержал испытания.

Пауль сам придумал такой способ испытания воли. Да и советоваться было не с кем. Как-то он заговорил об этом с Эймаром Ринда, а Эймар сказал, что пусть он лучше двойки по английскому исправит.

Уже полтора часа Таммекиянд выстукивает ритм вальса. Юхан не видит того, как он выстукивает. Кровать Юхана стоит за шкафом. Если бы он переложил подушки из изголовья в ноги, то видел бы. Но он нарочно этого не делает. Юхан задумал притвориться спящим, даже сделать вид, что храпит. Не очень громко, а так, чтобы казалось правдоподобным, — тихонько присвистывая. Если бы и Пээтер притворился спящим, Таммекиянд наверняка соблазнился бы передохнуть. Юхан полагает, что притворяться легче, когда тебя самого не видно.

А впрочем, Юхану незачем смотреть на Таммекиянда. Лицо его он и так хорошо знает. Угловатое, с острыми уголками рта. Когда Таммекиянд принимается за дело, он всегда стискивает зубы. От этого рот кажется еще больше, хотя, по мнению Юхана, должен казаться меньше.

У Юхана Салу глаз художника, он замечает то, чего не видят другие. Он заметил, что угловатая голова Таммекиянда очень соответствует его характеру. Ведь характер у него тоже угловатый. И настойчивый. Таммекиянд легко не уступит.

Юхан вовсе не бесстрастный судья. Он был бы удовлетворен, если бы у Таммекиянда не хватило терпения стучать до утра. Сам-то Юхан не смог бы. Уснул бы, это точно. Поэтому ему хо-

чется, чтобы Таммекинд тоже уснул, чтобы и он не смог стучать до шести. Сбудется ли его желание?

По договоренности Таммекинду разрешается лежать только на спине. Больше ничего ему не дозволено.

А судьям разрешено делать все что угодно, но они ничего не делают. Даже не разговаривают между собой. Если Таммекинд будет прислушиваться к их разговору, его не будет клонить ко сну. Лампа под потолком горит, и Мюргель читает в кровати какую-то книжку о животных. Он тихо-тихо перелистывает страницы.

У Юхана тоже есть на тумбочке книжка, но он не читает. Он не может лежа читать, он тут же уснет.

Половина первого ночи. По ту сторону шкафа слышится стук в ритме вальса. Раз-два-три, раз-два-три.

Юхан широко разевает рот, будто хочет проглотить все зевоты, ожидающие своей очереди. Потом он сует руку в ящик тумбочки. Там у него горсть кофейных зерен. Юхан приобрел их заранее, узнав, что с вечера будет проводиться испытание воли. Кофейные зерна содержат кофеин. Студенты всегда грызут их во время сессий.

Юхан кладет одно зернышко в рот, под коренной зуб, и осторожно двигает челюстями. Громко раскусывать нельзя — посторонние звуки могут привлечь внимание Таммекинда и подбодрить его.

Острый горький вкус кофе заставляет Юхана глотать слюну. И правда, вскоре он чувствует себя много бодрее.

Час ночи. Блуждающий по стенам взгляд Юхана фиксирует зевоту в соседней кровати. Самое время симулировать, что судьи задремали. Хорошо, что Мюргель держит в руках книжку. С ней получится более правдоподобно. Ее можно медленно выпустить из рук. Кровать Мюргеля видна Таммекинду. Можно и так, чтобы книжка тихонько упала на пол. И если Таммекинд поверит и вздумает отдохнуть, то... Юхан злорадно облизывается.

Теперь ему кажется, что он упустил что-то. Ведь судьям нужна связь между собой. Надо же договориться с Мюргелем на счет симулирования.

Бумага и карандаш лежат на тумбочке. Они могли бы с Мюр-

гелем обмениваться записками. Если сложить записку в несколько раз, она наверняка долетит до соседней кровати. Но почему-то такой род связи не нравится гражданину за шкафом.

Юхан тихонько встает и вынимает из ящика, что под кроватью, моток лески. Один конец прикрепляет над кроватью к шкафу, другой — к изголовью кровати Мюргеля и натягивает леску. Эта возня несколько нарушает тишину, но Юхан считает, что это просто необходимо.

Мюргель смотрит, вытаращив глаза. Он не понимает, что задумал второй судья, и хочет спросить, но Юхан прикладывает палец к губам: мол, сейчас все поймешь.

Туго натянутая леска является именно той линией связи, которой не хватало. Юхан прицепляет к леске шерстяной носок. К носку привязывает веревочку, а к веревочке — пуговицу от пальто. Затем тихонько отрывает клочок бумаги и пишет: «Давай притворимся, что уснули. Может, Пауль попадет на удочку!»

Юхан бросает пуговицу в кровать Мюргеля. Второй судья тянет за веревку, и носок с письмом идет к нему, как вагон подвесной железной дороги.

Сосед ответа не посылает, а просто одобрительно кивает головой.

Половина второго. В кровати около двери не прекращается стук в ритме вальса, хоть иди танцевать.

А по другую сторону комнаты приводится в действие коварный план. У Мюргеля, который находится в поле зрения испытателя силы воли, выпадает из рук книга. Он поднимает ее, но вскоре книжка падает снова на одеяло. Там она и остается. Юхан за шкафом удовлетворенно садится в кровати. Чудесно. Очень правдоподобно. А теперь его очередь.

Вскоре из-за шкафа слышится тихий храп. Во всех отношениях совершенно правдоподобный — с присвистом на вдохе и выдохе. Юхан знает свое дело и старается не переборщить.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что время от времени в храпе бывают паузы. Будто спящему хочется послушать, что происходит в комнате. Но в комнате не происходит ничего. Раздается лишь тихий стук: раз-два-три, раз-два-три.

Юхан и сам не знает, как долго он притворяется. Вдруг он

ловит себя на настоящем храпе, который сильно режет уши. Мальчика бросает в жар. Ведь это был не обман, а предвестник сна. Он старается не смотреть на второго судью.

А второй судья все спит.

— Артист! Экстра-класс! — дает Юхан оценку артистическим способностям друга. Но вскоре открывает горькую правду. Мюргель на самом деле заснул. Юхан трясет воздушную дорожку, но у Мюргеля даже ресницы не вздрагивают.

Страшно обмужевший, Юхан вытаскивает из-под кровати половую щетку и толкает ею друга до тех пор, пока Мюргель не просыпается и не садится на кровати.

Два часа ночи. Три часа.

Судьи зевают, как людоеды, но больше не засыпают. У каждой бессонной ночи своя критическая точка. Когда она пройдет, спать больше не хочется. Кажется, критическая точка прошла.

А Юхана мучает мысль, что Таммекинд, пожалуй, будет в самом деле стучать до утра. А что, если нарочно взять и уснуть? Пусть Таммекинд себе стучит, а они с Мюргелем будут спокойно спать! А потом скажут ему: «Ты же не стучал все время подряд, наверняка не стучал!» План этот очень соблазнителен, но Юхан человек исключительно честный и поэтому безжалостно прогоняет такие мысли.

Половина четвертого. Нельзя сказать, чтобы Юхан очень устал, но ему все ужасно надоело. А что, если положить конец этой затее? Да, да. По всем правилам. Они бы с Мюргелем признали, что испытание воли проведено. Они ведь сами установили срок — восемь часов, — значит, они сами же могут его изменить. Знать бы, что Таммекинд выдержит до шести, можно бы закончить и раньше.

А все-таки, выдержит ли он? Чтобы это выяснить, Юхан решает сам испытать, насколько трудную задачу взял на себя Таммекинд. Он берет подушку и кладет на край кровати. Если в том же ритме, что слышится за шкафом, стучать по подушке, никто не услышит.

Через полчаса руку схватывает судорога, и Юхан приходит к выводу, что стучать восемь часов подряд невозможно. Удивительно, как это до сих пор удается Таммекинду? Что ж, судьям придется набраться терпения и ждать. Что будет, то будет.



Пять часов утра. Юхан вдруг вспомнил, как убаюкивают малышей.

— «Спи, моя радость, усни...» — воет он за шкафом тихо и однотонно. Так осенью воет ветер в трубе. — «Спи моя радость усни, в доме погасли огни...»

Юхан поет колыбельную.

А Мюргель совершенно потерял надежду на то, что Таммекинд заснет, и безразлично смотрит на усилия Юхана. Он не верит, что колыбельная усыпит Таммекинда. И правильно делает. Пауль не засыпает. Зато самому Юхану ужасно хочется спать, и он снова вспоминает о кофе.

Юхан предлагает его и Мюргелю. По воздушной железной дороге заказывается вагон для отправки товара. Судьи размазывают кофе что есть мочи. Больше нет надежды на то, что испытатель воли задремлет. Если у судей и есть кое-какая надежда, то лишь на то, что руку Пауля схватит судорога.

Тук-тук-тук!..

Тук... тук-тук!..

Таммекинд выстукивает ритм вальса.

Осталось еще четверть часа.

Еще десять минут.

Еще пять...

Когда стрелки часов вытягиваются в одну длинную полоску, Таммекинд вскакивает с кровати. Он торжествует. Он все еще думает, что стойкость — это настоящий героизм.

На сон остался всего час. В школу к восьми. Таммекинд устнавливает на место пушку-будильник, и ребята валяются как подкошенные.

За шкафом раздается сильный храп. Без присвиста и пауз. Тут же поблизости — скрипение зубами. Это ночная музыка Мюргеля. Только победитель — герой дня, а вернее, герой ночи, Таммекинд, спит спокойно. Но время от времени он вздрагивает. Рука на одеяле сжимается и подпрыгивает: раз-два-три, раз-два-три... Таммекинд видит во сне деревенскую гулянку, почти забытую в наше время, с гармошками и удалыми парнями.

Пушка-будильник никого не будит, хотя шум слышен на улице. Около одиннадцати часов сонный Мюргель садится в

кровати, в недоумении смотрит на солнечный луч в окне и вскакивает. Затем он стаскивает с кровати за ноги своих друзей.

С заспанными глазами, схватив сумки с книгами, трое друзей мчатся в школу. Чуть сгорбившись, вытянув длинную шею, бежит Пээтер Мюргель, прозванный Тихим Мюргелем. В течение семи лет он ни разу не пропустил уроков, ни разу не опоздал. Теперь, на восьмом году он впервые опаздывает.

Таммекаянд бежит, высоко подбрасывая ноги. От возвышенного настроения не осталось ничего. На лице его можно уловить лишь след одной мысли. Мысли, что если все должно было случиться как случилось, так почему же в такой день, когда английский язык не первый, а последний урок.

Юхан бежит трусцой позади всех. У него вид самый жалкий. Ему вдруг кажется, что ночная процедура вовсе не была испытанием воли. Он и сам не знает, как ее назвать. Пожалуй, в какой-то мере это и было испытанием воли, но все-таки — не настоящим!

АГИТБРИГАДА

(Третий рассказ Юхана Салу)

12 февраля — выборы. По этому случаю Ильмар Кийбитс, председатель совета дружины, сказал:

— Каждый отряд должен проявить самостоятельность. Совет дружины навязывать ничего не будет. Но вот что я вам скажу. Те, кто не помогут в проведении предвыборной кампании, пусть и не мечтают об экскурсии на остров Сааремаа.

А об экскурсии на остров Сааремаа мечтали все. Седьмой «А» быстренько организовал бригаду художественной самодеятельности. Седьмой «Б» собирался помочь участковой комиссии. Отряд Криймвярта сообщил, что возьмет на себя украшение избирательного участка. А мы создали агитбригаду на лыжах.

Вначале мы держали это в тайне.

В первый раз агитбригада собралась у Эймара Ринда. Семья Ринда имеет на главной улице поселка свой дом, но они живут только в одной комнате. Остальные зимой не отапливаются. Там-то нам и разрешили обсуждать свои дела.

Эймар уже приготовил красные ленты. На каждой ленте мы

написали мелом по одному слову. Туртсу, всегда первому на всех линейках, досталось «12 февраля». Себе Эймар намалевал слово «все». Мюргелю, третьему по росту, дали «на выборы», а я привязал на груди «в Верховный Совет», Таммекяндю осталось «Эстонской ССР».

Когда мы в таком порядке встали в ряд, Эймар обнаружил, что, создавая бригаду, мы забыли главное — оратора. А оратор у нас был известный на весь район. Уже в четвертом классе Күсти Аллик ходил от имени пионеров приветствовать слеты и расставания, совещания механизаторов и обмены опытом животноводов. Для него сказать что-нибудь по случаю выборов не составляло никакого труда.

Учитывая, что будет и оратор, Эймар отрезал от полотнища еще кусок. На нем нарисовали восклицательный знак. По сравнению с нашими лентами такое нагрудное украшение выглядело довольно бледно, и Эймар сказал для успокоения души:

— Говорить он мастер, а на лыжах — пустое место. Хватит ему и восклицательного знака.

Мы одобрительно кивнули. Хорошо, что хоть восклицательный знак достался. А то ведь можно было бы и просто точку дать.

Туртс сходил в соседнюю комнату, полюбовался собой в зеркало, вернулся и сказал:

— Знаете, ребята, давайте сфотографируемся! А потом эту фотографию поместим в альбом.

У Туртса была слабость, как у какого-нибудь лорд-канцлера. Он ужасно любил фотографироваться. Если в поселке случайно появлялся турист с фотоаппаратом и, естественно, фотографировал старую почтовую станцию, то обязательно возле какой-нибудь колонны пристраивался наш Туртс — высокий парень, метр девяносто. Он неизменно был на всех школьных фотографиях. На снимке драмкружка он выглядывал из-за кулис. На титульном листе годового альбома ботаников Туртс торчал в кукурузе. А на последней фотографии школьного струнного оркестра он стоит позади оркестрантов и держит ноты.

Из-за этой лорд-канцлерской слабости мы обычно с недоверием относились к предложениям Туртса сфотографироваться. Но на этот раз Эймар сразу же согласился.

— Верно,—сказал Эймар.—Сфотографируемся. Этот снимок будет иметь историческую ценность. Ты сам сходишь за фотографом?

Туртс, конечно, пошел. Пошел под выкрики, в которых знатоки узнали соло для саксофона — «Слушай меня, любовь моя». Наряду с лорд-канцлерской слабостью у Туртса была еще одна. Он всегда любил копировать звучание какого-нибудь инструмента.

Заведующий поселковым фотоателье Зиммерман жил в доме напротив. Его средний сын Герберт учился в седьмом классе и был фотографом дружины. Он любил фотографировать, но не любил делать карточки. Мы вечно дразнили его из-за этого.

Длинноногий Туртс обернулся за две минуты.

— Сейчас придет! — сообщил он. И в честь удачи снова взревел саксофоном.

Чтобы принять гостя, мы встали в ряд.

Ни о каком приветствии мы не договаривались. Но как только Герберт Зиммерман переступил порог, Туртс крикнул:

— Двенадцатого февраля!

Эймар на лету подхватил: «Все!» Тут и остальные поняли, что от них требуется. Как признак полной боевой готовности прозвучал призыв: «12 февраля все на выборы в Верховный Совет Эстонской ССР».

Если бы мы хотели таким вступлением воздействовать на фотографа, то это удалось на все сто процентов. Герберт не мог вымолвить и слова от удивления, лишь потом сказал:

— Вот это да.

Он подошел, потрогал ленты и удивился:

— А почему я ничего не знал?

Нам и в голову не пришло сразу же объяснить ему, в чем дело.

— Откалываетесь от масс, товарищ Зиммерман,— укоризненно произнес Эймар.— Нехорошо, нехорошо.

— Вы ходите с закрытыми глазами, молодой человек,— добродушно укорил его Туртс с высоты своего роста.

Даже Тихий Мюргель пробормотал нечто невнятное о том, что самодовольство ведет нашего товарища куда-то в болото.

— Вот это да! — повторил фотограф.— Ну, история! А я не

знал. Я ничего не знал. Вы уже у многих избирателей побывали?

— А ты что думал? В будни бываем у пятидесяти человек, а в воскресные дни и того больше.

Фотографировались мы в саду, между яблонями. Все лихо стояли на лыжах, в руках — лыжные палки. Оратора Кусти искать не стоило. К ребятам шестого класса пришла в гости молодежная бригада льнофабрики, и они пригласили Кусти к себе. Поэтому мы сначала решили сняться без восклицательного знака. А потом Эймар решил: так как этим аппаратом можно сделать автоснимок, то Герберт может успешно выполнить роль Кусти. Главное, чтобы он ко времени щелчка отвернулся. Тогда на снимке его можно будет принять за Кусти.

Так и сделали. Мы были на лыжах и поэтому решили показаться с гор. А красные ленты оставили у Эймара.

Ленты не потребовались и на следующий день. Колхоз прислал в школу шесть лошадей. После уроков мы поехали на болото за торфом. Через день смотрели в кино приключенческий фильм, а еще днем позже нас соблазнил Криймварт, и мы отправились на озеро играть в хоккей.

Честно говоря, мы совершенно забыли про свою агитбригаду. Но скоро нам ее припомнили. Да еще как!

Мы с Эймаром каждое утро по привычке заходили в почтовое отделение покупать газеты. На газету не подписывались, хотя из дому нам давали для этого деньги. Почтальон разносит газеты после обеда. А на почте узнаешь свежие новости уже до девяти часов утра.

В пятницу мы, как обычно, пришли на почту. Миг спустя стояли у прилавка, и думаю, не я один вытаращил глаза. С первой страницы свежего номера районной газеты смотрели на нас шестеро молодых людей на лыжах. По всей вероятности, созданная в доме Ринда агитбригада, потому что на груди лыжников ясно выделялись слова: «12 февраля все на выборы в Верховный Совет Эстонской ССР».

— Вот черт! — сказал Эймар.

Ругался он очень редко.

Над снимком жирными буквами стояли слова: «Берите пример!»

А под снимком было написано, что старшие пионеры Таристеской восьмилетней школы принимают активное участие в предвыборной агитационной кампании. Что в школе недавно создана агитбригада лыжников, которая может проникнуть в занесенные снегом лесные хутора. В конце статьи было сказано: «Молодые агитаторы уже побывали у четырехсот избирателей».

Мы с Эймаром устали друг на друга. Потом снова уткнулись в газету. Нет, не ошиблись: именно так и было написано.

— Пропала молодая жизнь! — сказал Эймар. — Нужно было раньше думать, что Зиммерман — репортер скандальной хроники!

Да, мы допустили страшную глупость, упустив из виду самое главное увлечение Герберта. Средний сын Зиммерманов был корреспондентом пяти газет. Он писал не так, как, например, наша Марта Йыесаар. Та рассказывала в пионерской газете «Ся-де» о всех происшествиях в классе и при этом досконально описывала свои личные переживания. Герберт же готовил корреспонденцию официально, по-деловому. Черновики писал в школе на уроке, а перепечатывал на машинке в фотоателье. Он посылал сообщения о том, что в Таристе приехал на гастроли вильяндиский театр «Угала», что на стройке прядильного цеха льнофабрики закончили кладку стен, что колхоз «Койт» получил картофельный комбайн нового типа и что у Мээри Сикк из совхоза «Кыргемаяэ» родилась тройня. Откуда он выкапывал новости — никто не знал. Это было его секретом. Случалось, что некоторые его сообщения печатались под рубрикой «Краткие новости» или «Корреспонденты сообщают». Тогда Герберт вырезал напечатанное сообщение и вклеивал в общую тетрадь. Иной раз в нескольких газетах печаталась одна и та же информация. Тогда наш одноклассник получал письма, где говорилось, что товарищ Зиммерман грубо нарушает профессиональную этику корреспондента и поэтому исключается из числа вешплатных корреспондентов. Герберт делал двухмесячную паузу, а потом действовал по принципу: кто старое помянет, тому глаз вон! И начинал карьеру сначала.

А теперь наш одноклассник заварил кашу погуще.

— Если директор увидит эту фотографию! — горевал Эймар. — Если он только увидит! Ты можешь себе представить, что тогда будет?

Я мог довольно хорошо себе представить, что будет.

— Четыреста избирателей! — продолжал Эймар свой грустный монолог. — В Таристе о бригаде еще ни слуху ни духу, а оказывается, агитация уже проведена у четырехсот избирателей! Это же просто смешно!

На самом деле это было вовсе не смешно. Скорее — плачевно.

— И зачем ты в тот раз наговорил Герберту всякой чепухи? — обвинял я Эймара. — Теперь сам расхлебывай.

Эймар лишь махнул рукой. Задним числом легко быть умным.

У парадной двери школы он остановился:

— Ну, придумай что-нибудь!

Одна идея у меня уже была.

— Знаешь, а если подождать почтальона? Попросить, чтобы он нам разрешил отнести почту в канцелярию и... — И я пояснил жестом, какая участь ожидала газету.

Эймар засомневался:

— Ты думаешь, он даст? В канцелярию то и дело приносят журналы, и почтальон расписывается об их доставке в почтовой книге.

Он был прав. Это обстоятельство я упустил из виду.

— Выиграть бы сегодняшний день! — сказал мой друг. — Только один день! После уроков мы бы взяли лыжи и дотемна обходили дома. Что-то было бы сделано. Не стыдно людям в глаза смотреть.

Он снова развернул газету и перечитал сообщение о том, что славные ребята побывали уже у четырехсот избирателей. Я посмотрел на снимок. Стал искать на снимке себя. И тут у меня мелькнула новая мысль. Положение еще не совсем безнадежное. Правда, еще не все потеряно.

— Эймар, ты можешь узнать Пауля на этом снимке? — спросил я.

Эймар указал на второго справа, но не сразу.

— Ты помнишь, где стоял Пауль. А попробуй узнай по лицу! Теперь изобретатель агитбригады понял, что я задумал. По

лицу нас узнать невозможно. Непонятно, что сделали в редакции со снимком. Может быть, это ретушь, о которой нам рассказывал учитель рисования. Он говорил, что перед печатанием художник делает на снимках темные места еще темнее, а белые — белее. Во всяком случае, мы на фотографии были с такими лицами, какие рисуют молодым людям на плакатах «Берегите деньги в сберегательной кассе!».

— На первой перемене еще никто из учителей не успеет прочитать газету, — продолжал я подбадривать себя и Эймара. — Снимок они увидят на четвертой, ну — в крайнем случае — на третьей перемене. Факт, что нас сразу же не узнают. Пока выяснят, кто, из какого класса, прозвенит последний звонок и мы уже будем на лыжах.

Но я совершенно забыл одно обстоятельство.

— Туртс! — сказал Эймар. — Его-то сразу узнают!

Это верно. Надень Туртс кастрюлю на голову — его все равно узнают. Во-первых, его выдавал рост. Другой такой жерди не было во всем районе, не говоря уж о школе! На снимке он был даже на голову выше Эймара. Но еще больше, чем рост, его выдавала поза. Она исключительно своеобразна и неповторима — Туртс мог бы взять на нее патент. Когда Туртс стоит, он кажется собранным из прямых и дугообразных частей. Голова выдается вперед, а плечи назад. Грудь расположена на какой-то средней линии, а живот опять выдается вперед. Ноги повторяют почти те же изгибы, поэтому классный руководитель Виктор Янович Кясперс говорит, что у Туртса верхняя и нижняя часть симметричны. А Мюргель, который много рылся в книгах, сказал, что поза Туртса похожа на символ, именуемый интегралом. Он употребляется в высшей математике. Но так как нам и низшая математика давалась нелегко, проверить это мы не могли.

— Туртса отошлем домой, — сказал я. — Удрал по причине обстоятельств. Думаешь, он не согласится?

Нет, так Эймар не думал. Почему же он колебался?

— Не рассуждай, как председатель совета отряда, — посоветовал я. — Лучше суди как простой смертный. Простой человек на многие вещи смотрит по-иному.

Как простой смертный Эймар сразу же убедился в необхо-

димости отослать Туртса домой. Туртс умчался словно ветер, пообещав, что через десять минут будет в интернате, под одеялом.

Устранив самую большую опасность, мы получили возможность спокойнее оценить создавшееся положение. Далеко не все потеряно. Только один вечер провести на лыжах, и мы снова станем честными людьми. У четырехсот избирателей побывать, конечно, невозможно, но у сорока — казалось реальным. Потом это число можно будет увеличить.

Теперь настало время подумать о мести.

— Позови Таммекаянда, — сказал Эймар на первой перемене. — Возьмемся за Зиммермана.

Фотограф и не подозревал об опасности. Отозвать его в сторону ничего не стоило.

Мы были страшно злые.

— Ты, баран! — Эймар развернул газету. — Скажи, что это?

Радость удачи подавила в Зиммермане все другие чувства.

— Уже напечатали? А я и не знал!

— Зато теперь будешь знать! — заскрежетал зубами Эймар. — Кого ты дурачишь? Кого запутываешь?! А еще одноклассник. Кто тебе говорил о лесных хуторах?

Выражение лица у обвиняемого изменилось. Это еще раз доказало, что радость и горе — близнецы.

— Никто не говорил... — пролепетал корреспондент. — Я сам написал. Чтобы поскорее напечатали.

— И эти... четыреста избирателей, тоже сам?

— Да... по той же причине. Вы ведь говорили: у пятидесяти человек в день. Я и подсчитал, что к тому времени, как фотографию поместят в газете, будет уже четыреста.

Звонок спас фотографа, а то бы мы его поколотили.

— Противно на тебя смотреть, — сказал Эймар. — Ты заварил кашу, а нам ее расхлебывать.

Ясно, что главный виновник в этой истории Герберт-фотограф. Но и мы хороши. Зачем в тот раз нагородили Герберту чепухи?

К счастью, шестой урок отменили. Мы понесли к Эймару, Туртс уже ждал нас.

— Сначала проедем раза два по поселку,— сказал Эймар, когда мы надели лыжи.— Покажем, что бригада существует.

Нужно было избежать разговоров с людьми. Поэтому оратора Кусты мы пока оставили во дворе у Эймара. К тому же он плохо ходил на лыжах. Мчались посреди дороги. Там лыжи стучали сильнее, а именно это и требовалось, чтобы привлечь внимание.

Мы успели представить себя жителям за десять минут. Пришло время взяться за настоящую работу. Начать агитацию мы решили с деревни Сурья. Она находилась примерно в трех километрах от поселка, и дома располагались довольно близко друг от друга.

Мы двинулись в путь. Впереди — Туртс, делая трехметровые шаги.

Сначала мы постучали в дверь хутора Сийму. Мюргель в детстве жил в этих краях. Он знал по имени всех жителей деревни Сурья. Поэтому мы пропустили его вперед, но потом увидели, что совершили ошибку. После «здравствуйте» он остановился у двери нем как рыба. Пришлось Кусты пробираться вперед и самому вести беседу.

Нет сомнения, что оратор Кусты свое дело знал. Вскоре мы сидели за столом, пили чай, а наш оратор без умолку говорил то о кандидате в депутаты, то о делопроизводстве в Верховном Совете, то о выборах теперь и прежде.

Время от времени хозяин раскуривал трубку и хвалил оратора, прищурив глаза:

— Ну нет, этот парень не даром учился!

Такое замечание вдохновляло Кусты.

Расстались лучшими друзьями. Хозяева обещали в день выборов попросить в колхозе лошадь и утром съездить в поселок. Все, казалось, в порядке, и я удивился, когда по дороге к следующему дому оратор получил выговор.

— Честное слово, помешался,— сказал Эймар.— Подумаешь какой оратор-агитатор нашелся! О том, как проходили выборы в буржуазное время, они знают в сто раз лучше тебя. Посмотри, который час.

Да, времени прошло много. В первом доме мы просидели час двадцать минут. За час и двадцать минут на нашем счету

оказались лишь три избирателя. А осталось триста девяносто семь.

— На следующем хуторе мы в дом входить не будем,— сказал Эймар.— Проведем агитацию-молнию.

Такая агитация проходила следующим образом: на дворе выстраивались в ряд, а Туртс до тех пор стучал лыжной палкой в дверь, пока не выходил кто-нибудь из хозяев.

— Двенадцатого февраля! — кричал Туртс.

— Все! — подхватывал Эймар.

— На выборы! — слышалось от Мюргеля.

— В Верховный Совет! — кричал я.

— Эстонской ССР! — кончал Таммекаянд.

Только оратор Кусти угрюмо молчал, потому что у него на груди был всего лишь восклицательный знак.

Так мы за час проагитировали всю деревню. Остался одинокий домик на опушке леса, где, по словам Мюргеля, жила Кáдри Тóмассон.

К ней не нужно было стучаться. Старушка была во дворе, колола дрова.

Мы прокричали то, что нужно. Теперь Эймар должен был отдать приказ: «Налево!» — но почему-то в нерешительности стал переступать с ноги на ногу. Одним глазом он посматривал на старушку, а другим на наручные часы. Затем махнул рукой и принялся снимать лыжи.

Через пять минут кипела работа. В сарае мы нашли пилу — она загудела в руках у Туртса и Эймара. Мы с Мюргелем кололи дрова. Таммекаянд чинил крючок двери. Только оратор не мог найти подходящего занятия и слонялся от одного к другому.

Распилив и расколов дрова, мы сложили их под навесом у кухонной двери.

Для экономии времени устроили цепь.

— Двенадцатого февраля...— говорил Туртс и бросал полешко Эймару.

— Все...— передавал Эймар его дальше.

— На выборы...— добавлял Мюргель.

— В Верховный Совет...— говорил я.

— Эстонской ССР! — кричал Таммекаянд.

Последний в цепи был оратор с восклицательным знаком. Теперь он уже не молчал.

— Бух! — произносил Кусты, и полено громко ударялось о стенку дома.

Кадри Тоомассон стояла скрестив руки на груди. Время от времени она говорила:

— Ну теперь-то, сынки дорогие, в этом доме день выборов не забудется, хотя я и так помню его. Спасибо тому, кто пилил, спасибо тому, кто колот!

На этом наш первый агитационный день кончился.

На следующее утро в класс вошел Криймварт с известием:

— Туртс и остальные — к директору!

Мы вошли в кабинет директора в бригадном порядке: впереди Туртс, в хвосте оратор Кусты. На столе у директора лежала вчерашняя газета.

— Ну, четырехсотники, что вы мне скажете? Или в газете все верно?

Мы опустили глаза.

— Да-а-а... — протянул директор. — Глупая история... даже очень. Вы знаете, как это называется? Пускать пыль в глаза!

Он поднялся из-за стола, прошелся раза два по кабинету и встал перед Туртсом.

— Хочу задать вам один вопрос, один небольшой вопрос... Кто виноват?.. Что ответит нам самый длинный?

— Зиммерман, — ответил самый длинный из нас. — Виноват Герберт. Он не понял шутки.

Директор пододвинулся к Эймару:

— А еще?

— Редакция газеты, — сказал руководитель агитбригады. — Не проверила данные.

— А еще?

К нашему счастью, директор оказался перед Мюргелем. Так как на свете все же случаются чудеса, то обычно неразговорчивый Тихий Мюргель сказал как раз то, что ожидал директор.

— Мы сами больше всех виноваты. Хотели подшутить над товарищем. Но вчера мы уже были в агитпоходе. Сегодня снова

пойдем и завтра. Если месяц вот так походим, то, может, и побываем у четырехсот избирателей.

Дальше мы говорили, уже сидя на диване.

Вот и все, что я хотел рассказать об агитбригаде нашего отряда. За четырьмястами избирателями мы уже не гонимся, но два-три раза в неделю все же ходим в далекие лесные деревни, куда не могут проехать ни машины, ни автобусы.

И довольно часто говорят нам так же, как сказала Кадри Тоомассон:

— В этом доме день выборов помнят, а теперь и подавно не забудут!

В школе наша деятельность уже давно не секрет. А когда однажды в совете дружины зашел разговор о выборах, кто-то сказал:

— Непонятно, с каких пор дровосеков зовут агитаторами?

Это испортило нам на некоторое время настроение. А классный руководитель Виктор Янович Кясперс сказал:

— Не горюйте, ребята! Клянусь головой, вы и есть самые настоящие агитаторы!

До сих пор ходим в агитпоходы. Только без Кусты. Он решил, что его способности недооценивают.

Поэтому мы обходимся без восклицательного знака.

НАШ ОРКЕСТР

Юхан Салу и Пауль Таммемянд учатся играть на музыкальных инструментах. Юхан играет «тирили-тириля» на кларнете, а Пауль трубит на трубе.

Ребята играют по утрам и вечерам, Тихому Мюргелю жизни не дают. Чтобы не слышать трубу, можно заткнуть уши ватой, но что делать с кларнетом? Когда Юхан берет высокие ноты, даже вата не помогает.

В основном Юхан Салу берет именно высокие ноты. Кларнет — странный инструмент, низкие тона получаются сами. А с высокими — одна морока.



Из трубы Таммекиянда ни одного звука не выходит без усилий — дуть надо изо всех сил.

Да, Юхан Салу и Пауль Таммекиянд упражняются два раза в день. Приближается смотр школьной художественной самодеятельности, и Большой Вольперт решил во что бы то ни стало завоевать почетную грамоту.

Большой Вольперт руководит оркестром восьмого класса. Разумеется, он не стоит перед оркестром и не размахивает дирижерской палочкой. В маленьких эстрадных оркестрах таких дирижеров вовсе не бывает. Большой Вольперт сам играет в оркестре. Он умеет играть на многих инструментах: на аккордеоне, на скрипке, на гитаре. В своем оркестре он играет на рояле.

Таких сильных музыкантов, как Большой Вольперт, в восьмом классе больше нет. Юхан и Пауль — начинающие, пальцем водят по нотам. Осенью школа получила комплект духовых инструментов, вот откуда у Пауля труба, а у Юхана кларнет.

В тот раз при раздаче инструментов Туртс взял себе тубу. А когда Большой Вольперт основал эстрадный оркестр, Туртс захотел играть в нем на своей тубе, но Большой Вольперт не согласился. Он сказал, что туба в джазовом оркестре — курам на смех.

В джазоркестре обязательно должен быть контрабас.

В силу сложившихся обстоятельств Туртс учится играть сразу на двух басах: на тубе для духового оркестра и на контрабасе для джазоркестра. Два дела — все-таки два дела. Туртсу, конечно, пришлось бы трудновато, если бы не Таммекиянд со своим рационализаторским предложением. По совету Таммекиянда Туртс обвязал гриф контрабаса тремя шерстяными нитками. Одну, чтобы отметить «до», вторую туда, где «оль», третью на «фа». В музыкальном произведении, что написал Большой Вольперт, эти ноты нужны Туртсу чаще, чем другие.

Большой Вольперт написал «Сюиту на темы оперетт». На самом деле это вовсе не сюита — в ней только две вещи. Одна в ритме вальса, другая в ритме фокстрота. Но «Сюита» звучит значительнее, чем обычное название.

Большой Вольперт и не сумел бы дать обычное название.

В нотном альбоме, откуда он списал эти пьесы, вообще не было никакого названия, а только слоги под нотами. Например, такие: «Без жен-щин жить нель-зя на све-те, нет...»

Попробуй-ка с такими словами выйти на школьную сцену! Зато «Сюита на темы оперетт» — совсем другое дело.

Репетиции своего оркестра Большой Вольперт проводит по вторникам и четвергам, потому что в эти дни учитель музыки Нугис занят на репетиции хора в поселковом Доме культуры. А когда учитель Нугис в школе, репетиция своего оркестра не получается. Стоит Нугису услышать звуки какого-нибудь музыкального инструмента — он тут как тут. И пошел учить Пауля делать губами «птых», «птых» — чтобы тот усвоил правильный удар языком.

Большой Вольперт считает, что всему свое время. Для такой сухой тренировки место на репетиции школьного духового оркестра. А на репетиции классного эстрадного оркестра нет смысла тратить времени на отработку правильного положения языка. За две недели они должны разучить «Сюиту».

Вот ребята и разучивают, да так, что у Таммекиянда щеки все время надуты, а у барабанщика Камарика палочки горят в руках. «Без женщины жить нельзя на свете, нет...» — гремит по всей школе.

Юхану Салу и Паулю Таммекианду достается больше всех, потому что они ведут мелодию. Немного Таммекианд, немного Юхан. Эту хитрость придумал Большой Вольперт. Непросвещенному слушателю может показаться, что музыканты, ведущие мелодию, меняются для того, чтобы разнообразить звучание пьесы. На самом же деле Таммекианд не может трубить дольше, чем полминуты. Легкие у него отличные, воздуха в легких хватило бы, но губы устают. Из-за них Таммекианд и Юхан Салу играют сольную партию поочередно, передавая ее друг другу, как бегуны эстафетную палочку.

Юхан на усталость не жалуется. Но зато у него другая беда. Очень неразумно устроен его кларнет, слишком трудно извлечь ноту «си». Это, конечно, недостаток всех кларнетов, и потому Юхан считает, что его надо в ближайшее время устранить. Когда Юхан пальцами левой руки на верхней половине кларнета берет низкие тона, все идет нормально. Мундштук крепко зажат

в губах, большой палец правой руки поддерживает кларнет в определенном месте — и звуки вылетают один за другим. Но только до «ля» первой октавы. Вернее, до «си-бемоль». Потом Юхан должен быстро поместить на клапанах восемь свободных пальцев. Тут-то и начинается беда. Как только кончик одного пальца сдвигается с места хоть на полмиллиметра, кларнет вместо «си» издает звук, которому в музыке за всю ее историю не придумано названия. Кроме кларнета, такой звук умеет издавать только поросенок, застрявший в заборе.

Когда в оркестре слышится поросячий визг, Большой Вольперт оглядывается через плечо назад. А Камарик качает головой, как бы говоря: «Нет, ребята, тут есть некто глупее меня».

Теперь первая пьеса «Сюиты» счастливо подошла к концу. Юхан Салу и Пауль Таммекиянд облегченно вздыхают. А вальс всегда легче. В нем обычно длинные звуки, к тому же более низкие. Но Большой Вольперт требовательный руководитель. Он не разрешает приниматься за вальс.

— Давайте сначала! — говорит Большой Вольперт и поднимает палец. — Три, четыре!

«Без женщин жить нельзя на свете, нет...» — подпрыгивает мелодия, слова которой Большой Вольперт держит в секрете от широкой публики. Ребята играют сегодня кто в лес, кто по дрова. У Таммекиянда губы почему-то не выдерживают. Время от времени из его трубы вместо нужного звука вырывается странное бульканье. Тогда музыкант отстраняет трубу от губ, открывает в ней какой-то клапан и вытряхивает несколько капель воды. При этом на его лице такое выражение, будто причина странного звука именно в этих нескольких каплях.

Пока Таммекиянд возится с трубой, Юхан Салу, естественно, должен нести двойную нагрузку. От такой ответственности на левом виске у него начинает краснеть старый шрам от ожога. Но капризному кларнету все нипочем, и вместо «си» он издает поросячий визг. Тут руководитель оркестра уже не выдерживает:

— Три тысячи чертей! — Большой Вольперт захлопывает крышку рояля. — Будете вы играть как надо или нет?

Большой Вольперт музыкант от рождения. Он не понимает,

что тем, кто начинает позже, научиться играть на каком-нибудь инструменте гораздо труднее. Но как истинный дирижер он не боится трудностей. Чтобы от них избавиться, он вводит новшество. Кто возьмет неверно хоть одну ноту, обежит один раз вокруг школы.

«Трах, пимп-памп, пимп-памп, пим-па, тралл-ля-ля...» — снова начинается мелодия. Но вскоре обрывается. Несмотря на то, что Юхан охотится за «си», как кот за мышью, раздается визг. Это считается хуже неверно сыгранной ноты. В наказание Юхан должен два раза обежать вокруг школы.

Хотя на улице десять градусов мороза и поля покрыты глубоким снегом, Юхан не надевает пальто. Он пробегает один круг в пиджаке. А бежать второй вовсе не собирается. Он намерен отсидеться в коридоре первого этажа. К счастью, Юхан вовремя бросает взгляд на окна зала: там, на подоконнике, прильнув носами к стеклу, сидят музыканты. Да, деваться некуда. Юхан вздыхает и бежит школу еще раз.

Возвращающегося кларнетиста оркестр встречает в довольно приподнятом настроении.

— Если так дальше пойдет, то Юхан станет чемпионом в беге на длинные дистанции, — говорит Ян Туртс.

Камарик того же мнения. А Большой Вольперт просит Юхана не забывать товарищей, когда достигнет славы.

Юхан делает вид, будто не слышит. Пусть дразнят. Он мрачно дышит на озябшие руки и решает впредь осторожнее обращаться с кларнетом.

— Три, четыре! — опять считает Большой Вольперт.

На этот раз игра совсем не клеится. Таммекянд уже заранее нервничает и берет на две ноты выше, чем предполагал композитор. Он не ждет приказаний. Зная свой долг, он вылетает на улицу.

От этого настроение у Юхана начинает улучшаться. Когда оркестранты снова забираются на подоконник, Юхан тихонько подкрадывается к контрабасу и передвигает красную нитку много выше положенного. Последствия таковы, что вскоре и Туртс отправляется мерить окружность здания.

К концу репетиции вокруг школы образуется крепко утрамбованная дорожка. Музыканты расходятся по домам усталые,

как крестьяне после полевых работ. До вальса они так и не добрались.

В четверг, после уроков, друзья впятером снова собираются на репетицию. Слух об оркестре у восьмиклассников прошел по всей школе. Поэтому на балконе собрались слушать музыку девочки, а в дверях зала толпятся ребята из отряда Криймварта. Музыканты рассаживаются на сцене, многозначительно подмигивая друг другу. Между прочим, отряд Криймварта на смотре художественной самодеятельности выступает с коллективной декламацией. Но разве можно какую-то декламацию сравнить с оркестром? Большой Вольперт убежден, что почетная грамота наверняка достанется музыкантам.

— Начали! Три, четыре! — как всегда, говорит Большой Вольперт.

Юхан и Пауль упражнялись дома, поэтому сначала все идет довольно гладко. Два раза у Юхана «си» получается чисто. Возможно, получилось бы и в третий раз. Но в этот момент отворяется дверь балкона, и входит Марта Йыесаар послушать веселую мелодию. Но два дела—все-таки два дела, и с ними одновременно Юхан не справляется. Пока он смотрит на Марту, кларнет предоставлен сам себе.

Опять Юхан должен первым обежать вокруг школы. В его отсутствие Большой Вольперт рассказывает анекдот. Он знает их невероятное количество. Когда у отца, заведующего кооперативом, гости, Большой Вольперт сидит в своей комнате тихо, как мышь в норе, и записывает веселые истории, что рассказывают за стенкой. Записывает отдельными словами, чтобы потом легко было вспомнить. Этот анекдот у него в тетради записан так: «Мышь в шкафу. Кот у шкафа. Собака лает».

— Однажды кот сидел у шкафа и думал,— начинает Вольперт.— «В шкафу сидит мышь. Она вылезет, и я ее съем». А в шкафу сидела мышь и думала: «У шкафа сидит кот. Сейчас вылезать нельзя, а то он меня съест». Так думала мышь довольно долго. Вдруг на кухне залаяла собака. «Теперь-то кот испугался и удрал»,— подумала мышь, обрадовалась, вылезла из шкафа и попала прямо коту в когти. Больше мышь ни о чем не могла думать. А кот погладил усы и сказал: «Как полезно знать хоть один иностранный язык!»

Когда Юхан возвращается, на сцене и на балконе все смеются. Услышав хохот, Юхан сразу мрачнеет. Ему кажется, что смеются над ним. Если где-нибудь смеются, Юхану всегда кажется, что это над ним. Таммекинд тоже сидит угрюмый. Он всю жизнь ненавидел иностранные языки. Теперь его грызут сомнения: не его ли хотели поддразнить этим анекдотом. Кто же он в таком случае? Кот или мышь?

Нечего удивляться тому, что мелодию ведут теперь двое угрюмых молодых людей. Она волочится, как веревка за возом. Юхан наконец додумался, как без особого труда обойти опасную ноту «си». Он косится на Большого Вольперта за роялем и берет «си» на октаву ниже.

Странно, руководитель почему-то не замечает своеволия кларнетиста. Время от времени он перестает играть и выходит на середину зала.

— Абсолютно бесчувственно,— сообщает он, возвращаясь.— Не эффектно.

Хотя у Юхана Салу и Пауля Таммекинда настроение поправилось и они играют весьма бодро, Большой Вольперт не меняет своего мнения. Джазовый оркестр должен быть эффектным. А то нет смысла выступать.

Следующая репетиция полностью уходит на создание эффекта. Сам Вольперт иногда скользит рукой по всем клавишам рояля. Хитрость, конечно, невелика, но от рояля большего не возьмешь. Длинный Туртс крутит на ножке контрабас. Всякий раз, когда открывается для этого возможность. А барабанщик подбрасывает в воздух палочки.

У тех, кто играет на трубе, тоже имеется эффектный прием. По окончании высокой ноты они резким движением отстраняют от себя трубу. Таммекинду на высоких нотах играть не приходится. Но не все ли равно — и он может резко отдернуть трубу.

Единственный музыкант, который завидует другим, это Юхан. Для кларнетиста руководитель не может придумать никаких эффектных приемов. Вот если бы кларнетист играл еще и на саксофоне, то другое дело,— можно было бы менять инструменты. Тогда перед Юханом стояла бы специальная подставка. Чем скорее и с большего расстояния он бросил бы на нее

кларнет, тем сильнее эффект. Но у Юхана Салу нет саксофона. Поэтому он смотрит, что делают остальные, и не забывает брать «си» октавой ниже.

А остальные уже вошли в азарт.

— Эффект должен быть! — поддакивает Камарик руководителю оркестра и так подбрасывает палочки, что с потолка сыпется известка.

А Туртс волчком вертит контрабас.

В день смотра художественной самодеятельности оркестр за-благовременно размещается на сцене. Большой Вольперт уверен в победе, уверен и Камарик. Туртсу же некогда высказывать личное мнение, потому что у контрабаса вдруг потерялась пожка.

Так как никакой палочки под рукой нет, длинный музыкант старается приладить сине-красный карандаш, взятый напрокат у Юхана.

Единственный, кто сомневается в успехе, — это Юхан Салу. У него какое-то нехорошее предчувствие. Что-то вертится в голове, Юхан пытается вспомнить и не может.

И вот с треском раздвигают занавес.

— «Сюита на темы оперетт»! — объявляет конферансье.

— Три, четыре! — считает Большой Вольперт, как на репетициях, только шепотом.

И остальные музыканты делают все так, как на репетициях. Юхан оставляет все высокие «си» на произвол судьбы и ограничивается «си» на октаву ниже. Таммеkjанд то и дело отрывает от губ трубу. Камарик с ловкостью жонглера подбрасывает барабанные палочки, а Большой Вольперт промахивается по всем клавишам, будто косит сено на лугу.

Все почти также, как и на репетициях, с той лишь разницей, что в зале полно публики, и Туртс не в духе. Красно-синий карандаш Юхана не выполнил своего нового назначения. Как только Туртс попытался продемонстрировать эффект, контрабас упал Туртсу на ногу. Теперь большой палец ноги ноет всюю, не хуже инструментов.

Когда все сыграно, Большой Вольперт встает и кивает головой во все стороны. Он видел, что так делают на концертах филармонии.

Но аплодисменты гораздо сдержаннее, чем ожидали ребята. Декламаторам Криймвирта хлопали куда больше. И каждый может сделать вывод, что выступление было так себе.

Удрученные музыканты встали у окна в артистической. На улице метель. Протоптанная дорожка вокруг школы уже не видна. Кружащиеся снежинки напоминают Юхану то, что он давно пытался вспомнить: басню Крылова, в которой говорится о том, как «проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет».

Юхан перебирает в памяти все репетиции, и вдруг ему становится страшно смешно. Он прикрывает руками рот и, фыркая от смеха, как еж, присаживается в углу на корточках.

Ясно, почему им не повезло: сидели неправильно!

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Юхан Салу теперь самая выдающаяся личность. В течение двух недель и еще пяти дней все слушаются только его. Так решено в десятом отряде.

Юхан очень доволен. Каждый день перед последним уроком Марта Йыесаар подходит к нему и спрашивает:

— Ну, Юхан, как дела сегодня?

И Юхан отвечает:

— Порядок. Нужно снять пять баллов, но это пустяки. Попрошу Камарика по пути в раздевалку съехать на перилах.

Да, так Юхан отвечает, а сам поглядывает на Марту: какие хорошенькие ямочки у нее на щеках. Очень. А глаза самые красивые во всей школе, ничего не скажешь.

Другие тоже каждый день спрашивают, как дела, но с ними Юхан долгих разговоров не ведет. Пусть не беспокоятся. Он сам за все отвечает. На то ему и поручение дали, и полномочия вверили.

С Туртсом Юхан беседует дольше, но зато Туртс не спрашивает, как дела. Туртс забросил саксофон. Теперь он изображает тромбон.

— Бум-бум-бу!.. Тру-ту-туу!..— трубит Туртс Юхану в ухо.

Как бы сделать гипотенузу для Пайкре. Пусть Юхан будет другом и посмотрит сводку сегодняшнего дня. Бум-бум-бу!.. Тру-ту-туу!.. Пайкре подсунул сегодня утром свои старые башмаки под его кровать. Туртсу за это влетело, и он с удовольствием сделал бы для Пайкре гипотенузу.

Прodelывать гипотенузу на языке Туртса означает следующее: в коридоре он подходит к своей жертве и молниеносно хватается за носок своего башмака. Это известный трюк. Все знают, что Туртс хватается за ногу. Но, несмотря на это, страшно пугаются. Когда Туртс делает гипотенузу, невольно кажется, что на тебя вот-вот упадет дерево.

Юхан смотрит в свою записную книжку и отвечает, что сегодня не стоит делать гипотенузу. Делать гипотенузу некультурно. За это дежурная бригада Кийбитса тут же снимет пять баллов. Сейчас нельзя этого позволить. Пусть Туртс подойдет к нему завтра. Завтра можно будет сделать гипотенузу и Пайкре, и Криймвярту. Именно завтра нужны будут минусы.

Минусы и плюсы заносятся в конце каждого учебного дня в таблицу. Кто-нибудь из дежурной бригады подсказывает, а Юхан своей умелой рукой заносит. Такие таблицы висят у дверей каждого класса. А заносят таким образом, что сначала складывают плюсы и минусы. Если останется, например, десять плюсов, то Юхан отсчитает на графике десять клеточек вверх. Отсчитает и поставит крестик. А потом соединит его с крестиком предыдущего дня. У Юхана умелая рука, он обходится без линейки.

Линии, нарисованные Юханом, показывают, как в классах обстоит дело с культурой. Если линия стремится вверх, значит, все в порядке. Если же она ползет вниз, значит, одолевает бескультурье. Тогда все, как один, должны принять меры, говорит Ильмар Кийбитс.

Соревнование за культурное поведение придумал председатель совета дружины Ильмар Кийбитс. На него стала находить мания все решать одному. Он не знает пословицы: ум хорошо — два лучше.

Каждый средний культурный поступок дает пять плюсов, а каждый средний некультурный поступок — пять минусов.

Ни одному отряду такое соревнование не понравилось. Марта и еще две девочки из шестого класса отправились к учительнице Кёдрих, чтобы сказать ей об этом. Учительница Кедрик уже два месяца замещает старшую пионервожатую. Она не дала девочкам и слова сказать. Как только учительница Кедрик услышала о соревновании, сказала: «Вот именно, культуру по-вышать надо, а то как же». И еще, что Кийбитс — ученик с передовым мышлением, а соревнование — основа пионерской работы. Под конец она выразила удовлетворение тем, что скоро в школе будет день открытых дверей и учителям соседних школ откроется возможность увидеть, какие исключительно интересные начинания проводятся в Таристеской школе.

После этого никто больше не решался противиться новому соревнованию. Через два дня возле дверей каждого класса появились таблички, судейская бригада получила от Кийбитса наставления, за что ставить плюсы, за что минусы, и соревнование началось. И вот уже пять дней в школе идет борьба за высокую культуру. Особенно усердно принялся за дело десятый отряд, Юхан Салу и его друзья. Кажется, для них нет ничего на свете важнее, как соревнование за культурное поведение. Поэтому Ильмар Кийбитс частенько останавливается перед графиком десятого отряда, нельзя сказать, чтобы культура в отряде по-вышалась. То, что десятому отряду дает один день, отнимает второй. Но ребята не огорчаются. На третий день линия культуры снова устремляется вверх.

Именно это и нравится инициатору соревнования. Значит, ребята настойчивы. Ребята хотят исправиться.

Многим это усердие кажется странным. Криймварт из восьмого «Б» уже несколько раз приходил на разведку. В его отряде соревнование за культурное поведение совсем не популярно. Да и в других не популярно.

— Плод сотрясенного воображения,— говорит Криймварт и смотрит краешком глаза на Юхана и Эймара: что они скажут?

Но Юхан Салу и Эймар Ринда ничего не говорят. Только улыбаются.

Усердие соседнего отряда кажется ему еще более подозрительным.

Да, усердия в десятом отряде более чем достаточно. На девятый день Юхан требует, чтобы линия графика снова пошла в гору. Нужно по крайней мере двадцать плюсов, а Камарик опять сморкается без носового платка. Шила в мешке не утаишь. Юхан должен иметь в виду, что вместо необходимых плюсов дежурная бригада уже записала пять минусов.

В таком случае нужно скорее звать на помощь. Юхан машет рукой Марте и просит поскорее разыскать Эймара. Поступки, за которые ставят плюсы, лучше всех умеет придумывать Эймар. Теперь Эймар зовет с собой Таммекиянда и Камарика, и они вместе спускаются с лестницы. Бежать нельзя, а то заслужишь минусы. Незадолго до звонка ребята возвращаются. Они идут рядом с истопником Мйхкелем, согнувшись под тяжестью малярной лестницы. Мйхкель, наверное, хочет проверить электрические лампочки.

Один из членов дежурной бригады стоит рядом с Юханом. Юхан толкает его локтем: мол, смотри, пока не поздно. Каждому, кто помогает, каждому, кто поступает благородно, пять плюсов. Так гласит инструкция. В дежурную бригаду Ильмар Кийбитс назначил двух мальчиков и двух девочек. По двое на каждый этаж. Они так и ходят с записной книжкой в руке.

По мнению Юхана, в этой бригаде хуже всех Вйллем Кáазик — маленький, малокровный мальчик из пятого класса. Впервые в жизни он получил важное задание и теперь готов лезть вон из кожи. Юхан боится, что Виллем может перестараться и принести десятому отряду лишний минус. Еще ничего, если он их подсунет среди учебного дня. Но ведь он может преподнести их как раз перед тем, как Юхан будет заносить в таблицу итоги дня.

С другой стороны, плохо и то, если блюститель культуры слишком добр. Хйльда Тóрми, краснощекая толстушка из седьмого класса, готова всем только одни плюсы записывать. Однажды было такое: у Юхана все подсчитано и в порядке, и вдруг к нему бежит из раздевалки Хйльда с известием, что Большой Вольперт помог учительнице Тээмуск надеть пальто.

За это она прибавляет десятому отряду еще пять плюсов. Юхану больше ничего не оставалось, как сказать Хильде «дура». Жаль было, но все-таки сказал. Таким образом он снял эти пять лишних плюсов. Ведь минусы и плюсы взаимно уничтожают друг друга.

Если позарез нужны плюсы, то Юхану помогает Эймар. Позавчера, например, Эймар нарисовал плакат и повесил его у парадной:

~~~~~  
**„ЗДЕСЬ НОГИ, ДРУЗЬЯ, ВЫТИРАЙТЕ  
И ЧИСТОТУ СОБЛЮДАЙТЕ!“**  
~~~~~

Кийбитс был так поражен, что приказал десятому отряду записать сразу десять плюсов.

Но когда нужны минусы — Туртс незаменимая личность. Камарику до Туртса далеко. Камарик умеет только стрелять бобами. Положит боб в стеклянную трубку, заткнет ватой, а на перемене пустит кому-нибудь в затылок. Больше Камарик ничего придумать не может.

Зато у Туртса найдется сто выдумок, чтобы заработать минусы. Теперь он мечтает сплунуть вниз со второго этажа на голову Пайкре. За что могут дать по крайней мере двадцать минусов.

День проходит за днем. Чем больше соревнование надоедает ребятам из других классов, тем больше растет увлечение десятого отряда. Юхан все прибавляет зигзаги на диаграмме, а Ильмар Кийбитс останавливается перед ними уже два раза в день.

— Упорные, — говорит Кийбитс. — Молодцы, стараются!

Иногда он спешит сообщить об этом учительнице Кедрик.

В таких случаях Юхан Салу и Эймар Ринда обмениваются взглядом как заговорщики. У них теперь накопился опыт. Они сами по своему желанию делают культуру. Они придумали еще один очень удачный способ для получения плюсов. Во время урока Туртс просит разрешения выйти и выливает в коридоре под радиатор полстакана воды. А на перемене Таммекаянд приносит на виду у всех тряпку и вытирает пол.

И вот наконец наступает день, о котором упоминала учительница Кедрик. Прибывают учителя со всего района. Собираются пионервожатые. Учительница Кедрик берет их под свою опеку и ведет осматривать школу.

В честь такого важного дня Ильмар Кийбитс надел белую рубашку с накрахмаленным воротничком. Разумеется, он должен сопровождать гостей и рассказывать новости дружины.

Самая большая новость — это соревнование за культурное поведение. Пять плюсов за благородный поступок, в противном же случае пять минусов.

Учительница Кедрик была права, считая, что это начинание заинтересует коллег. Гости оживлены.

— Так, значит, если ребенок скажет «здравствуйте», вы дадите ему конфетку? — спрашивает одна пионервожатая. — Интересно, кто же это придумал?

Ильмар Кийбитс теперь скромн. Он опускает ресницы. Но зато учительница Кедрик не столь скромна, она указывает на Кийбитса.

Юхан, который стоит в коридоре у окна, не слышит, о чем переговариваются гости. Он ждет, когда все подойдут к их диаграмме. Ему одному разрешено стоять напротив дверей их класса.

Остальные заговорщики стоят поодаль.

Делегацию ведет теперь председатель совета дружины.

— Отряд, который соревновался усерднее всех, — говорит он и указывает на таблицу, где усердие десятого отряда отражено в зигзаге диаграммы.

Гости заинтересованно подходят поближе.

Юхан Салу исчезает на цыпочках.

— О, — слышит он голос одной гостьи. — Кто это придумал, у того голова на плечах!

Гости посмеиваются.

Ильмар Кийбитс польщен. От скромности он поднимает глаза только тогда, когда развеселившаяся группа гостей уже отошла.

На таблице что-то изменилось. Появились три лишние черточки.

И лишь после того, как его любящая точность память за-

фикси́ровала это, он замеча́ет, что зигзаги гра́фика образуют слово. На таблице соревнования за культурное поведение стоит громадными буквами: «Ч У Ш Ъ».

ЮХАН САЛУ ПРЫГАЕТ В ДЛИНУ

Юхан Салу и Пауль Таммекянд живут теперь спортивной жизнью. Отряд Криймвярта вызвал их на соревнование по легкой атлетике. В программе много видов спорта. И условие: все пионеры отряда должны принимать участие в соревнованиях.

— Этим самым мы высоко поднимем знамя массовости спорта,— сказал Криймвярт, передавая вызов, и украдкой посмотрел вокруг, замечают ли все, как сознательно он говорит.

Да, да, теперь Юхан Салу и его друзья живут под спортивной звездой. Юхан Салу и Пауль Таммекянд так усердно взялись за дело, что вскопали землю для прыжков в длину даже у себя дома. В этом виде спорта они вдвоем отстаивают честь отряда.

Юхан устроил себе площадку на выгоне, за домом. Он снял лопатой дерн и перекопал землю. Теперь ноги при приземлении по колено увязают в мягком торфе.

Там, где живет Таммекянд, такой рыхлой земли нет. Чтобы было мягче прыгать, Таммекянду пришлось сходить на колхозную лесопилку и мешком натаскать оттуда опилок. Но зато дорожка для разбега у Таммекянда много глаже.

Каждый день по возвращении из школы Юхан убегает на выгон. Первые дни он тренировался так — возьмет и прыгнет. А если разбежится изо всех сил, то прыгнет на четыре метра и семьдесят сантиметров. Дальше не получается никак. А меньше — сколько угодно. Запросто.

С результатом четыре метра и семьдесят сантиметров идти состязаться с прыгунами Криймвярта, конечно, нет никакого смысла.

Как доносит разведка, они прыгают до пяти метров. И Юхан принимает чрезвычайные меры.

Во-первых, Юхан вешает над своим столом плакат для под-

нятия спортивного духа. Юхан где-то читал, что в спорте очень важно иметь боевой дух.

«Умру, но пяти метров достигну!» — пишет Юхан на плакате. Теперь эти слова у него все время перед глазами. Во-вторых, Юхан берется за изучение теории прыжков. В нынешние времена без науки и на ферме не обойдешься, не то что в прыжках в длину. Юхан перелистывает старые учебники по физике, чтобы освежить память, и начинает обдумывать, какие же движущие силы управляют прыгуном.

Очень важный элемент — скорость разбега. В этом нет ни малейшего сомнения. Но как бежать быстрее, Юхан не знает. Он и так бежит изо всех сил. Надо придумать что-то еще.

Через некоторое время Юхан находит выход. Ведь высота прыжка тоже немаловажный элемент. Чем выше подпрыгнешь, тем дольше продержишься в воздухе, и сила разбега унесет тебя дальше. В воздухе-то держит сила разбега.

Поразмыслив еще немного, Юхан делает величайшее открытие: одновременно нужно прыгать и в длину, и в высоту.

На следующей тренировке Юхан прыгает одновременно и в длину, и в высоту. То есть он хочет это сделать.

— Поднимайся, поднимайся, вверх, вверх, — бормочет он до тех пор, пока до толчковой доски остается всего несколько метров. Но тут ему кажется, что он просчитался и оттолкнется не там, где нужно. Он быстро делает несколько мелких шажков и притом совершенно забывает, что надо прыгать также вверх.

Шлеп! И торфянистая земля разлетается во все стороны. Опять четыре с половиной метра!

Во время следующей попытки Юхан осторожнее. Он сосредоточен на том, чтобы прыгать именно в высоту. Но из-за этого не получается разбега. Юхан взлетает довольно высоко, но тут же плепается наземь.

Свежеиспеченный любитель легкой атлетики не знает, что же предпринять. Ясно лишь одно: думать во время прыжка почти бесполезно. Совершенно бесполезно. Нечего гоняться за двумя зайцами. Он должен быстро бегать и не прозевать толчковую доску. Не может же он еще думать о том, что надо прыгать высоко.

Юхан садится на камень, чтобы хорошенько все обмозговать.

Через некоторое время он поднимает палец и многозначительно произносит:

— Ясно. Рефлекс! Условный рефлекс!

Юхан вспомнил прочитанную когда-то в журнале «Физкультура» статью о мастерах спорта. В ней было сказано, что у спортсменов движения становятся рефлекторными. Что бегун во время бега с препятствиями не думает: сейчас будет препятствие, давай-ка подниму ногу. Нога поднимается сама, об этом и думать не надо. Юхан даже знает, что все это научно обосновано учением Павлова. Хороший рефлекс может даже от смерти спасти. С колхозным шофером был как раз такой случай. Ему пересек дорогу лесовоз. Если бы шофер стал думать, что вот теперь он должен тормозить, было бы поздно. А у него нога сама автоматически нажала на тормозную педаль.

Такой автоматизм и нужен Юхану. Во время разбега некогда думать. Тут-то условный рефлекс и должен заставить Юхана подпрыгнуть высоко-высоко.

К следующей тренировке Юхан придумывает способ, как воспитать в себе условный рефлекс. Он ставит к площадке для прыжков восьмилетнего соседского мальчика Вólли. Когда Юхан левой ногой встает на доску, Волли должен вскрикнуть и выстрелить из игрушечного пистолета. Это и будет внешний раздражитель, необходимый для выработки условного рефлекса. Испуг, если выразиться точнее.

— Бабах! — кричит Волли и стреляет из пистолета.

Юхан взмечается в воздух, будто его укусила оса. Четыре метра и восемьдесят сантиметров, измеряют они вместе с Волли. Юхан сияет: на десять сантиметров дальше обычного. Наконец-то он на правильном пути.

— Бабах! — кричит маленький Волли еще громче.

Снова Юхан описывает дугу и ухмыляется, когда измеряет результат.

Но скоро празднику приходит конец. Хотя помощник Волли кричит во все горло, дальше четырех метров и девяноста сантиметров Юхан прыгнуть не может.

Юхан понимает, что из маленького Волли и игрушечного

пистолета выжато все. Может, помог бы более громкий выстрел и больший испуг, но где их взять.

Юхан снова задает работу своим мозговым клеткам и делает открытие, которое кажется ему самому просто гениальным. Если это не лучший способ для срочной выработки условного рефлекса, то Юхан в теории Павлова ничего не смыслит.

Сгорающий от любопытства Волли ни на шаг не отстает от Юхана. А Юхан убегает к пленницам и приносит оттуда два ольховых песта. Он вбивает их в землю перед площадкой. Затем приносит кусок колючей проволоки, натягивает ее между жердями примерно в метре от земли.

Справившись с этим он отходит в сторону и смотрит на творение своих рук с кривой усмешкой. Нет сомнения, что теперь-то он не забудет прыгнуть в высоту. Как тут забудешь, если... И Юхан переставляет проволоку немного ниже. Ведь через эту колючую преграду будут перелетать его собственные ноги, не Туртса или Таммекиянда.

— Не грусти, душа моя! — говорит Юхан, чтобы подбодрить себя, и снова направляется к беговой дорожке. — Отойди, малыш! — слышит Волли приказ и послушно удаляется.

Волли тоже захотелось стать прыгуном, но, увидев новый метод тренировки, передумал. Впрочем, это не значит, что ему безразлична судьба друга.

— Ну, будешь прыгать? — спрашивает Волли, спрятавшись за кочкой.

— Сейчас, сейчас, — говорит Юхан. Он уже два раза хотел пуститься в разбег. Примеряется в третий раз. Но не решает. — Да-а... — произносит Юхан и выпрямляется. — А кто сказал, что все должно быть именно так?

Подумав немного, прыгун находит, что не должно. Вместо колючей проволоки можно с таким же успехом привязать веревку.

Юхан приносит из конюшни вожжу и привязывает ее между кольями. Чтобы она была более заметна, он вешает на нее свою рубашку, носки и носовой платок.

Теперь на сердце спокойнее. Юхан решительно готов начать прыжки. И Волли может подойти поближе. Смертельной опасности уже нет.



Топ-топ-топ-топ-топ... Бежит Юхан. Потом отталкивается, подбирает ноги, как реактивный самолет шасси, и мгновение спустя исчезает в облаке торфяной пыли.

— Чуть бедро не вывихнул,— бормочет Юхан про себя и поглаживает бок.— Честное слово, еще бы немножко — и все!

Юхан бросает взгляд на площадку и не верит своим глазам. Колышек, вбитый в землю в пяти метрах, остался далеко позади его следов. В двадцати сантиметрах, а то и больше.

— Вот так рождаются рекорды! — говорит Юхан маленькому Волли.— Без труда не выловишь и рыбки из пруда!

Юхан вспоминает еще несколько мудрых пословиц. Но, учитывая, что Волли еще мал, он держит их при себе. Только предупреждает мальчика:

— Никому не говори о том, что видел.

Вечером Юхан ложится спать довольный и успокоенный. Ведь после рекордного прыжка он раз пять прыгал одновременно и в длину, и в высоту. И каждый раз дальше пяти метров. Весь секрет в том, чтобы прыгать одновременно и в длину, и в высоту.

Дни, оставшиеся до дружеской спортивной встречи, Юхан по-прежнему проводит в тренировках. По-прежнему поднимается в воздух, как камешек из рогатки. И в один прекрасный день прыгает на пять метров и тридцать сантиметров, без веревки. В ногах выработался условный рефлекс, не иначе.

В эти дни Юхан сторонится Таммекиянда. Они не поссорились, нет, но на соревнованиях они оба будут прыгать в длину, и Юхан думает, что... Да-а, лучше бояться, чем потом сожалеть.

Наконец наступает день, когда Эймар Ринда и Криймварт приводят свои отряды на спортивную площадку. Состязания прыгунов идут сразу же после забега на сто метров. Первым прыгает Юхан.

Вот он разбегается, подпрыгивает высоко-высоко, и восьмой «А» поднимает победный крик. Это хороший прыжок. Даже очень. Больше пяти метров.

Но Пайкре прыгает дальше, и теперь радуется восьмой «Б».

А когда прыжок совершает сам Криймварт, восхищению нет предела. Он устанавливает новый школьный рекорд — пять с половиной метров.

Как Юхан ни старается, спортсменов другого отряда ему не догнать. У него разбег медленнее — это видит каждый. У Таммекиянда сильный разбег, но у него нет такого полета, как у Юхана. Вот бы к Таммекиянду прибавить Юхана — получился бы хороший прыгун.

— А где вы тренировались? — спрашивает Криймварт после первого прыжка у Юхана и Таммекиянда. — На школьной площадке вас не было. Знаете, как мы увеличивали высоту прыжка? — начинает рассказывать Криймварт после второго прыжка.

Оказывается, вместо вожжей можно с таким же успехом воспользоваться рейкой, которая употребляется для прыжков в высоту. Случилось то, что нередко бывает в мире. В двух разных местах сделали одно и то же открытие.

И во время третьей передышки ребята другого отряда делятся новостью. Вот что Пайкре вычитал из журнала «Физкультура»: если бегать за мотоциклом, можно выработать быстроту. Толстый Тидрик при помощи своего мопеда научил их быстро двигать ногами.

Слушая эти новости, Юхан Салу и Пауль Таммекианд только сопят.

Со счетом 32 : 30 дружескую встречу выигрывает отряд Криймварта. Если бы Юхан Салу и Таммекианд выступили успешнее, выиграл бы их отряд.

Давно Юхан и Пауль вместе не возвращались из школы. Но теперь идут вместе. Пешком.

— Если бы я знал, что за короткий срок можно научиться скоростному бегу! — говорит Юхан и все время смотрит в канаву. Так он говорит, но думает совершенно о другом. О том, что Таммекианд мог бы прыгнуть лучше Криймварта, если бы он, Юхан, рассказал, как увеличить высоту прыжка. Но теперь ничего не поделаешь. Юхан чувствует себя предателем.

— Хорошо умничать задним числом, — вздыхает Таммекианд и думает, что Юхан со своим высоким прыжком, может, и победил бы Криймварта, если бы он, Таммекианд, не держал в сек-

рете способа, как тренироваться в беге. Он вычитал в спортивной литературе, что спринтерам иногда полезно бежать под гору. Это ускоряет бег.

София и посматривая в сторону, друзья идут домой. Каждый чувствует себя предателем.

РАДИОУХО

(Четвертый рассказ Юхана Саму)

Сейчас я уже не думаю о виновниках. Если в истории с радиоухом вообще винить кого-нибудь, то не Эймара Ринда и не Тихого Мюргеля, а, пожалуй, то обстоятельство, что восьмиклассники должны держать выпускные экзамены. Немного и то, что после каждого экзамена мы устраивали в парке за школой разрядку. Обычно нас собиралось шестеро или семеро. Мы покупали в магазине вафли, лимонад и часа два сидели на склоне горы. Говорили всегда об одном и том же: «Этот экзамен — еще цветочки, а вот следующий... Шею свернуть можно! Страшнее ничего на свете нет, и все мы провалимся!» Даже Эймар Ринда, круглый отличник, разделял наши мрачные предчувствия.

На последней разрядке говорили об экзамене по истории. Разумеется, мы ругали этот предмет как только умели. Таковы учителя. Самый трудный предмет оставляют последним!

— Би-лубли-лук! — Туртс очень громко закончил соло для саксофона, которое до этого мычал себе под нос. — Я лучше бы сорок дней учил математику, чем четыре дня историю.

Мы согласились с ним, хотя никто этому не верил.

— А кому вообще нужно знать, как шумеры хоронили своих покойников? — спросил Большой Вольперт. — Мне, во всяком случае, не нужно.

Мы снова кивнули в знак согласия. Из нас — никому.

— Кому нужно знать, как Иван Калита деньги загребал?

И это нас не интересовало.

Если бы в разговор не вмешался Таммекинд, разрядка закончилась бы, как обычно. После многословных заверений, что

история нам не нужна, мы разошлись бы по домам повторять экзаменационные билеты. Но тут Таммекиянд сказал:

— И чего вы все заныли... Если не хотите учить, давайте сделаем радиоухо.

Саксофон Туртса неожиданно замолк.

Идея Таммекиянда, как и все хорошие идеи, была исключительно проста.

— Радиоухо — это маленький наушник, — сказал Пауль. — Сядешь готовить билеты, вынешь наушник из рукава, приложишь к уху и будешь слушать и записывать даты — одну за другой.

Мы устали друг на друга. Никто ничего не понимал. Каким же образом?

— Как, как... Конечно, не по воздуху. По проводам, бараны вы этикие!

Мы молча снесли оскорбление. Мы все еще не понимали. Наконец изобретатель радиоуха решил все объяснить:

— Из-под парты, что стоит у окна, мы проведем провода к стене — это раз. Затем через окно на улицу — два. Оттуда в студию — три. А в студии соберем все книги и карты. Бери да диктуй в микрофон Куликовскую битву.

Мы довольно долго не могли прийти в себя. Нам самим бы никогда и в голову не пришло, что радиосвязь может иметь для школьников столь важное значение. Наконец Эймар сказал:

— Ну ладно... Хорошо. Провода... микрофон... Это я понимаю. А как ты, сидя у микрофона, узнаешь, что мне нужна именно Куликовская битва?

Я добавил:

— Наушник... легко сказать, наушник. А как я его присоединю к твоим проводам у всех на глазах? Возьму инструменты и полезу под парту? Или дам председателю экзаменационной комиссии плоскогубцы: мол, будь другом, помоги...

Пауль засмеялся. За кого мы его, говорит, принимаем. Он все продумал. Можно сделать так, что провода на полу будут кончаться двумя кнопками. А к подошве башмака нужно прикрепить тоже по две кнопки. Два метра тонкой проволоки провести из башмаков через брюки в рукав пиджака — дело пустяковое.

Но и на этот раз мы недоумевали. Если так, то конечно. Но как все же сообщить тому, кто у микрофона, что вытянул, например, пятый билет?

Таммекянд посмотрел на нас, как на малолетних. Ничего, говорит, нет проще. Пять раз нажмешь на кнопки, и все в порядке. Если мы не верим, то он может нам это продемонстрировать без особых хлопот.

Туртс только теперь стал понимать, что для него лично означает такое открытие.

— Послушай, Кянд! — обрадовался Туртс. — В таком случае, совсем не нужно учить историю!

Эта перспектива преисполнила Туртса такой радостью, что он забросил саксофон и попробовал стоять на руках.

Но Эймар нахмурил брови:

— Я в этой затее принимать участия не буду... Это же обман... такой же, как и списывание.

Мы образовали против него единый фронт. Пауль презрительно свистнул сквозь зубы:

— Ты, Ринда, рассуждаешь как ребенок. Честное слово... как несовершеннолетний. Не хочешь — не надо. Кто тебя заставляет? Никто. А что касается списывания, то... Будто ты не знаешь? Списывать или подсказывать одинаково не годится. Но в данном случае мы внедряем современную технику. Ты слышал где-нибудь, чтобы запрещалось внедрять технику?

Мы победоносным взглядом окинули Эймара. Нигде не сказано, что нельзя внедрять технику. Наоборот, всюду говорят, что внедрять технику нужно.

Но Эймара и это не убедило. В предэкзаменационный период в Эймаре совершенно умер рядовой школьник. В нем жил только председатель совета отряда. И сейчас этот председатель не одобрял радиоуха.

— Вы подумайте хорошенько, на что вы решились! — пугал нас Эймар. — А вдруг провод порвется? Вдруг микрофон испортится? А вы и не готовились!

Но мы не сдавались.

— Помирать — так с музыкой! — сказал Туртс, и снова взревел саксофон.

— Волков бояться — в лес не ходить, — отозвался я.

Затем на склоне горы уже двое ребят принялись стоять на руках.

У радиоуха осталось три убежденных сторонника. Эймару все же удалось отговорить Большого Вольперта. Маленького Вольперта не надо было и отговаривать: он сам решил в пользу учения.

Мюргель присоединился к нам, но потом решил подумать, прежде чем сказать окончательное слово.

Мы сразу же принялись за практическое осуществление идеи.

— Сделал дело — гуляй смело! — вспомнил Туртс пословицу, учитывая его характер, необычную. — Где мы возьмем материал для радиоуха? У тебя, Кянд, проволока есть?

У Таммекянда проволоки было более чем достаточно.

— Наушники есть? — спросил Туртс.

У Таммекянда и в наушниках не было недостатка.

— А усилитель у тебя есть? — спросил Туртс.

Усилителя у Таммекянда не было. Но усилитель был в школьном радиоузле. А ключ от радиоузла находился у Таммекянда.

— Здорово придумано! — похвалил Туртс. Он был готов сделать еще одну стойку.

Таким образом, отпала забота о том, где устроить студию для радиоуха. Кубрик школьного радиоузла находился в уединенном уголке под лестницей. Туда во время экзаменов никто не заглядывал. Мы протянули провода из радиоузла через окно на улицу, оттуда на второй этаж и затем через трещину в оконной раме в класс. Стены класса были до половины дощатые. Там было много трещин, прячь в них хоть десять проводов. В каморке радиоузла Пауль сам возился с усилителем, куда-то ввинтил маленькую лампочку, соединял и разъединял какие-то провода. Мы вертелись вокруг него.

Наконец изобретатель удовлетворенно хлопнул в ладоши и сказал:

— Все готово. Кто пойдет первым?

Я раньше Туртса очутился у двери. Но Пауль остановил меня:

— Куда помчался? У тебя же нет контакта.

Это я совершенно упустил из виду. Пока Пауль монтировал что-то в моем башмаке, я проколол в подкладке пиджака две дырочки и просунул в рукав тонкую медную проволоку в красной изоляционной оболочке. Из пиджака проволока шла в брюки, оттуда в башмак левой ноги.

— Теперь все в порядке,— сказал Таммекиянд.— Только смотри осторожно поднимайся по лестнице и директору на глаза не попадайся.

Неуклюже, как деревянная кукла, я отправился в класс, где проводят экзамены. Таммекиянд беспокоился напрасно: директор уехал на автомашине, я сам в окно видел.

На пороге класса я остановился. Представил себе, что я посторонний человек, который ничего не знает о радиоухе. Можно ли заметить в классе что-нибудь подозрительное?

Ничего подозрительного я не увидел. Мы прилежно выполнили свою работу. Две блестящие кнопки сияли под партой, точно звезды на небе, но внимания они не привлекали. Мало ли что может быть на полу?

Я нажал башмаком на кнопки. Держа наушник, подпер рукой подбородок и стал ждать.

Сначала послышался свист, потом шум, и затем странно знакомый, но в то же время чужой голос стал считать:

— Раз, два... раз, два, три... Проверка микрофона!

Это был Таммекиянд. Радиоухо работало! От радости я чуть не подпрыгнул.

— Раз, два, три,— послышалось снова.— Если слышишь меня, подай голос.

Каким образом я мог подать голос? У меня же нет микрофона. Пауль понял меня.

— Если слышишь, нажми два раза на кнопки!

Я сделал, как приказано.

Потом побежал вниз.

— Ребята! Все слышно! Все слова до единого! Ну, Мюргель, присоединись к нам?

Пээстер все еще не давал согласия. Изучал усилитель, маленькую лампочку, что была перед Таммекияндом. Зато Туртс не знал, куда деваться от радости. Пока мы монтировали кон-

такты в его башмак, он три раза успел назвать изобретателя радиоуха Эдисоном.

Для Туртса Таммекянд не считал «раз, два, три». Мы наперебой говорили в микрофон, что взбредет в голову. Сказали, что передаем последние известия, что в Сырве начали ловить треску. Что в первый же день траулер «СРТ» поймал туртса¹ длиною в два метра, рыба весит восемьдесят килограммов. Такой разговор сразу же заставил Туртса бежать в студию. Он был в таком восторге от радиоуха, что даже не обиделся на нас.

— Хорошее ухо! — сказал Туртс. — Чертовски хорошее ухо! Почему ты, Кянд, его раньше не изобрел?

Таммекянд и сам не знал, почему он раньше не изобрел радиоуха. Но ведь лучше поздно, чем никогда! С этим мы полностью согласились. Лучше поздно, чем никогда.

На следующее утро мы пришли в школу пораньше. Началась серьезная работа. Нужно было принести в студию всякие учебники по истории и испробовать, как получится радиоиформация. Я отправился в школу, а по дороге заехал к Мюргелю. Узнать, каково его решение. Но Мюргеля не было дома.

— Пошел в школу заниматься, — сказала бабушка, которая кидала во дворе курам яичную скорлупу.

И на самом деле, Мюргель ждал нас у школы.

— В нашем полку прибыло! — заявил Таммекянд. — Сомневался, сомневался, но, видно, деваться некуда.

Природная черта Мюргеля — организованность — очень помогла в нашей работе. Сами мы ни за что бы не догадались пометить в экзаменационных билетах каждый вопрос условным знаком учебника и номером страницы, где искать ответ. Кроме того, Мюргель притащил пачку хороших конспектов о первобытном и рабовладельческом строе. В них было все намного яснее, чем в учебниках.

Вскоре каморка радиоузла выглядела кабинетом истории. Я принес сделанный зимой плакат: «Поселение древних славян». Туртс занял в пионерской комнате карту новых гидроэлектростанций Советского Союза.

¹ В одном из диалектов эстонского языка слово «туртс» означает «треска».

Когда учебники «В помощь пропагандисту», «Философский словарь» и еще некоторые книги были на месте, изобретатель радиоуха сказал:

— Ну, братцы! Теперь нужно проверить все от начала и до конца! Каждый из нас должен уметь давать информацию. А то и на экзамен идти не стоит.

Мы согласились с ним. Конечно, каждый должен уметь давать информацию. Как в самолете. Нельзя владеть штурвалом только одному пилоту. Все должны знать дело.

Практические занятия мы начали с того, что оставили Мюргеля оператором-радистом, а сами пошли наверх «сдавать» экзамен. Таммекаянд, как главный внедритель новой техники, хотел, конечно, первым испытать эффективность радиосистемы. Мы не могли решить, на какой билет ему отвечать, и сыграли в «морской счет». Выбор пал на пятый билет. Пять раз Пауль нажал на кнопки в полу.

Первый вопрос пятого билета — культура Золотой Орды. Мюргель легко нашел в книге соответствующий раздел. Вскоре карандаш Пауля зашуршал по бумаге. Время от времени он подмигивал нам, будто хотел сказать:

— Что тут удивляться? Атомный век!

Он записал столицы Золотой Орды и годы их основания.

Но это была преждевременная радость. Вдруг его карандаш остановился. Не из-за технических неисправностей радиоуха. Шорох слышался по-прежнему. Видно, случилось что-то неладное с диктором.

— Исповедников ислама звали магометанами, — повторил создатель радиоуха последнее предложение. — Исповедников ислама звали магометанами... Ладно, но почему он не диктует дальше?

Мы подождали еще немного. Но об исповедниках ислама так больше ничего и не услышали.

— У этого Мюргеля язык к небу прирос! Туртс, у тебя длинные ноги, сбегай посмотри!

Вскоре обладатель длинных ног вернулся со странной вестью. Если это не солнечный удар, то Мюргель просто-напросто помешался. Впрочем, Туртс предложил нам взглянуть самим.

Мюргель сидел на ящике с книгой на коленях и в задумчивости поглаживал подбородок, уставившись на паутину, висящую под потолком. Время от времени он мотал головой, будто кого-то отгоняет.

— Магометане., мм... — услышали мы бормотание. — Мы... маго-магометане. Почему же исповедников ислама зовут именно магометанами?

— Пээтер! — произнес Таммекаянд жалобно. — Сосед, дорогой!

А тот и головы не повернул.

Вдруг я понял, какую ошибку мы допустили. Судя по жалобному голосу Таммекаянда, и он догадался об этом. В таком деле, как наше, помощь Пээтера принимать было нельзя. Его нельзя даже близко подпускать к радиоуху. Потому что никто не знает, когда ему взбредет на ум уставиться в потолок. Такая привычка была у него, пожалуй, от рождения. Пээтер мог услышать научную истину и сразу же ее забыть. Но он никогда не соглашался забыть то, что для него оставалось неясным. Он надоедал своими расспросами всем учителям. И пока ответ не был найден, он как бы выключался из окружающего мира: ничего не видел, ничего не слышал. Для него больше ничего не существовало, кроме невыясненного вопроса.

— Пээду! — позвал Таммекаянд еще жалобнее. — Ну послушай, Пээду!

Но Пээду не слышал. Он листал учебник истории и тихо бормотал:

— Мм... магометане.. Почему этих исповедников ислама именно магометанами стали называть?

Теперь и Туртс понял, что случилось.

— Выставить! Выставить из команды!

Все мы понимали, что рискованно доверять свою судьбу эдакому молчаливому факиру.

Конечно, у сидящего за микрофоном Мюргеля может не появиться никаких вопросов. Но кто даст гарантию, что это будет именно так?

— Давайте освободим Пээтера от дежурства у микрофона, — предложил Таммекаянд. — Нет, так нельзя. Просмотрим с Мюргелем все билеты. Подготовим его. Ответим на все вопросы и по

десять раз будем спрашивать: «Здесь тебе что-нибудь не ясно?» Это будет в то же время тренировкой радиоуха.

И вот небо, покрытое мрачными тучами, прояснилось. Радостно подпрыгивая, мы побежали в класс. Теперь ни к чему «морской счет». Просто с Мюргелем надо пройти все билеты. Начали с последнего, двадцать пятого. А Таммемянд прикрепил к полу еще две кнопки. Туртса отослал обратно в студию следить за Мюргелем, наказал смотреть в учебник и не пропускать ни одного места, где у Пээтера могут появиться вопросы.

В таком труде прошли все четыре дня. С этим Мюргелем пришлось быть требовательным. При первой возможности он пытался уставиться в потолок.

Время от времени мы с Туртсом менялись местами. Туртс приходил наверх записывать информацию, а я или Таммемянд шли вниз, караулить Мюргеля.

К предэкзаменационному вечеру мы успели испробовать на Мюргеле все двадцать пять билетов. Наконец уже не осталось ни одного «почему». Ответы были найдены в учебниках, на картах, схемах и диаграммах. Я даже обратился однажды к учителю истории.

Радиоухо работало превосходно. А как мы теперь умели им пользоваться! Великое дело — тренировка! Мне, Туртсу и Таммемянду незачем стало даже заглядывать под парту. Щелчок — и кнопки на башмаках прирастают к тем, что воткнуты в пол.

Перед экзаменом мы пришли в школу раньше всех. Еще в парке засунули в пиджаки провода и сели на парадное крыльцо. Преисполненный возвышенных чувств, Туртс на этот раз превосходно имитировал трубу. У него была причина для радости. У нас наушник висел в рукаве на резинке, а Туртс очень искусно перевязал левую руку, положив наушник под последний слой марли.

Все другие товарищи по классу ходили по двору, уставившись в книжки, и что-то бубнили себе под нос.

А мы помалкивали. Благодаря радиоуху мы чувствовали себя смельчаками.

Около девяти в дверях класса появился директор.

— Камарик, Туртс... и вы втроем... — он показал на нас, — сходите в подвал и покачайте насос. Каждый по пятьдесят раз. Почему-то сегодня нет электричества.

Нас словно ветром сдуло. Но помчались мы не в подвал, а в радиоузел. Школа может побыть и без воды, от этого никто не умрет, а вот как быть с радиоухом?

— Все кончено! — произнес Туртс. Кажалось, он вот-вот расплачется.

— Надейся тут на технику! — ворчал Мюргель.

Таммекаянд ничего не говорил. Он, изобретатель радиоуха, переживал больше всех.

До экзамена оставалось двадцать пять минут. Двадцать пять минут для подготовки. Мы, как пантеры, набросились на учебники.

— Двадцать три ученика, двадцать пять билетов, — лихорадочно подсчитывал Туртс. — Последнему остается два билета. Если все будет хорошо, можно успеть их просмотреть. Ребята, я иду последним!

Таммекаянд потребовал, чтобы ему дали право идти предпоследним. Я согласился выбрать из четырех билетов.

— В высших учебных заведениях всегда делают так во время экзаменов, — учил Туртс. — Тех билетов, что вытащены, бояться не надо. Нужно учить те, которые лежат на столе. Таким образом, учить приходится все меньше и меньше билетов.

Но когда мы взялись проверять, какие же билеты к нашей великой радости могли быть разобраны первыми, оказалось, что их нет. Вот чудеса! Мы не боялись ни одного билета!

Когда я с пятеркой вышел в коридор, перед комиссией осталось еще шесть человек. Среди них — Таммекаянд и Туртс.

Честное слово, трудно устоять на месте. Последний экзамен! Я помчался в подвал, чтобы сообщить приятную новость истопнику Михкелю.

В тот момент, когда я отворил дверь, в подвале вспыхнул свет. Под открытой дверцей стояли Эймар и Мюргель. Мюргель вытаскивал из кармана пробки и подавал их Эймару.

Заговор! Вот почему не было электричества! Это устроили свои же одноклассники.

И вдруг я понял все. Нас так искусно провели — искуснее невозможно.

Что мне оставалось делать? Я повернулся и выбежал во двор, чтобы все обдумать.

Думал я до тех пор, пока Таммемянд и Туртс не сдали экзамен.

— Все, ребята! — сообщил Туртс одноклассникам, собравшимся возле лестницы. — Пятерку получил!

Он сиял всюду, совсем забыв про радиоухо.

— И я! — радовался Таммемянд и сиял так же. — Ну, председатель совета отряда! И ты, Мюргель! Разрешите человеку, окончившему восьмилетку, пожать вашу руку!

Протянув руку, Таммемянд направился к ним. Он крепко пожал руку сначала Эймару, потом Пээтеру. Теперь, поразмыслив немного, я пришел к выводу, что двое ребят это заслужили.

В. ЖЕЛЕЗНИКОВ

*Жизнь
и приключения
чудака*

ПОВЕСТЬ

ТЕТРАДЬ С ФОТОГРАФИЯМИ

Вандал, варвар, гунн! Но в отличие от них на тебе лежит печать цивилизации нескольких столетий! Может быть, ты считаешь, это не имеет значения? Посмотрим, посмотрим...

Из высказываний тети Оли в мой адрес

Эта история началась с того, что отец, уезжая в командировку, поручил мне купить подарок маме к дню рождения. Он оставил целых десять рублей, но, прежде чем удалиться, все же спросил:

— Надеюсь, ты меня не подведешь?

Я, конечно, успокоил его самым решительным образом.

Если бы с нами рядом была тетя Оля, то она обязательно сказала бы под руку: «Неистребим дух хвастуна!»

Это я-то хвастун?! Посмотрим, посмотрим...

Да! Вы же не знаете тети Оли. Это наша родственница и домашняя прорицательница. Она учительница литературы в отставке, ей уже за шестьдесят. Между прочим, большая благотельница: уступила мне свою комнату, а сама переехала к сестре на другой конец Москвы. Получается, что она ничего, не тычет в нос своей добротой, как другие. Ну, отдала комнату и отдала и не напоминает. Но зануда! У-у-у, зануда номер один.

Она воспитывала меня с пеленок: говорят, запрещала писаться и плакать. И вроде бы ей удалось кое-чего добиться, но я думаю, это легенда, которую она распространяла сама. Не верится, чтобы я с моим характером поддался ей. Ни за что!

В общем, она умоталась, и слава богу, потому что я не люблю, когда меня постоянно воспитывают. Иногда даже хочется сделать что-нибудь хорошее, но специально отказываешь себе в этом, чтобы не подумали, будто я поддался воспитанию. Хотя тетя Оля это делает хитро и незаметно.

Но меня не проведешь. У меня глаз наметанный. Я давно усвоил: главное в жизни — не поддаваться, а то погибнет всякая индивидуальность. А ее надо беречь.

Я, например, принципиально не собираю марки, потому что в нашем классе их собирают все; плохо учусь, потому что у нас все учатся хорошо. Как-то я сострил на истории, что урок выучил, но отвечать не буду. Правда, за это меня выгнали из класса и вклеили единицу, а отец обозвал балбесом и кричал, что я значение слова «индивидуальность» понимаю шиворот-навыворот.

Хе-хе-хе, если бы тетя Оля услышала словечко «умоталась»! Вот бы подняла шум: «Что ты делаешь с великим русским языком? Это же святыня святынь! На нем разговаривал Пушкин!»

Но оставим тетю Олю в покое.

Так вот, заметьте, уже на следующий день после отъезда отца я собрался идти за подарком. Я не люблю откладывать важные дела в долгий ящик.

Только я вышел на улицу, как встретил своего лучшего друга Сашку Смолина.

— Ты куда? — спросил Сашка.

— Никуда, — ответил я. — А ты?

— И я никуда, — сказал Сашка.

— А у меня, — сказал я, — есть десять рублей, — вытащил папину десятку и похрустел перед Сашкиным носом.

— Подумаешь! — сказал Сашка.

— Да это же мои собственные! — возмутился я.

— Ври, да не завирайся. Вот чем докажешь, чем?

Мне надо было остановиться и ничем не доказывать, но хотелось добить Сашку, и я небрежно сказал:

— Пошли в кино.

И разменял папину десятку.

А через несколько дней раздался междугородный телефонный звонок. Конечно, это звонил отец. Он беспокойный тип: стоит ему уехать, как тут же начинает названивать чуть ли не каждый день. Когда он узнал, что мамы нет дома, то стал спрашивать про подарок. Я сказал, что уже кое-куда ходил и кое-что видел.

— А куда? — дотошно спросил он.

Я ответил:

— Естественно, в магазин.

— А в какой?

— «Все для женщин».

— Что-то я такого магазина не знаю, — сказал недоверчиво отец. — А ты, часом, не врешь?

— Я? Ты что?!

А мне понравилось название «Все для женщин». По-моему, прекрасное. А он так грубо: «Ты не врешь?» Недаром тетя Оля говорила про него, что недоверчивость мешает ему наслаждаться жизнью.

— А где он находится? — продолжал он допрос.

— На улице Веснина. Как свернешь, сразу по левую руку.

— Там всю жизнь была керосиновая лавка! — завопил папа.

— Ее снесли, — храбро ответил я. — И выстроили новый магазин.

Ну, а дальше в том же духе. Рассказал ему, как этот магазин выглядит и что там продают, а цены, цены — куда там с нашей десяткой! Тут мой папаша почему-то тяжело вздохнул и повесил трубку.

А жаль! Я бы ему еще многое порассказал, не дали мне до конца расписать прелести магазина «Все для женщин».

Между прочим, я потом сходил на эту улицу Веснина. Папа оказался прав: там был хозяйственный магазин, и это вызвало у меня большое разочарование.

На всякий случай я вошел в лавку и... почему-то купил там тюбик синей краски и кисть. Я бы не стал покупать, но в лавке никого не было, а продавец, сухонький злобредный старик, вцепился в меня хваткой бульдога и навязал.

Я думаю, он в этой лавке работал еще до революции, а в то время, как известно, была конкурентная борьба, вот он и научился всучивать. А я без привычки растерялся: ухлопал ни за что ни про что еще один рубль из папиной десятки.

Чтобы как-то успокоиться, я решил пустить краску в дело. Пришел домой и выкрасил свою кровать в синий цвет. Получилось красиво. А то кровать старая, облупившаяся.

Правда, когда я закончил красить, мною овладело легкое сомнение, что моя работа может не понравиться маме. Она вполне могла придаться к тому, что синих кроватей не бывает. А почему, ответьте мне, почему не может быть синей кровати?

Мы встретились с мамой вечером. Нет, она меня не ругала, а просто, без всяких вступлений отвесила хороший подзатыльник.

Не знаю, зачем применять в наше время такие забытые средневековые методы воздействия. Можно придумать что-нибудь пострашнее. Например, не подзывать к телефону, когда звонит Сашка, или выключать телевизор на самом интересном месте.

Рука у мамы тяжелая, она преподаватель физкультуры, гимнастка, после ее подзатыльников голова по два часа гудит. Я проверял по часам. Как после посещения воздушного парада: ты уже дома, и тишина, и самолеты не летают, а в голове гул.

Тут, к счастью, зазвонил телефон.

Мама сняла трубку. Это звонила тетя Оля.

— Приезжай, полюбуйся, что наделал твой любимец! — кричала мама. — Он выкрасил кровать в синий цвет. Может быть, ты теперь скажешь, что у него тяга к живописи? «Не ограничивайте мальчика в фантазии (это она повторяла слова тети Оли, передразнивая ее), дайте ему простор».

Мама повесила трубку и посмотрела на меня. Она действительно была расстроена. С ума сойти, из-за какой-то кровати она готова была заплакать.

— Ну чего ты? — сказал я. — Из-за кровати...

— Да нет, — ответила она, — из-за тебя. Растешь балбесом.

— Я обязательно исправлюсь, — сказал я. — Честное слово. Вот увидишь.

Мама безнадежно махнула рукой.

Эта безнадежность сильно меня огорчила. Я почти целый день об этом думал, но потом забыл. Московская суета!

Как-то мы тащились с Сашкой в школу из последних сил. И вдруг нас нагнала незнакомая девчонка.

Она улыбнулась нам, как старым знакомым, и сказала:

— Здравствуйте, мальчики. Не узнаете? Я Настя Монахова.

А я ее действительно не узнал и Сашка тоже не узнал. Она училась с нами до четвертого класса, а потом на год уехала. Я внимательно посмотрел на нее. Она была Настя Монахова, но какая-то новая.

А мы только перед этим решили пропустить первых два урока и придумали, что соведем, будто одинокой старушке стало плохо на улице и нам пришлось отводить ее домой. Мы даже записку написали от имени этой одинокой старушки и, чтобы наш почерк не узнали, писали в две руки: букву — я, букву — Сашка.

Это все я придумал, потому что такой случай был в моей жизни, но произошел он не в будний день, а в воскресенье, и я не смог им воспользоваться.

Правда, эта старушка жила в нашем доме, ее звали Полина Харитоньевна Веселова, но мы с нею раньше не были знакомы. А в тот день, когда я ее спас от почти неминуемой смерти, она пришла к нам с тортом на чаепитие и долго объясняла маме, какой я замечательный мальчик. Ну, и теперь мы написали записку ее словами, теми, которые она говорила про меня маме.

Я еще раз внимательно посмотрел на Настю Монахову и догадался, что меня в ней поразило: из мелюзги, замарашки она превратилась в настоящую красавицу. Вот что происходит с людьми, когда они долго отсутствуют!

И тут мне почему-то расхотелось пропускать уроки. И Сашке, видно, тоже, потому что он шел рядом с прекрасной Монаховой и помалкивал.

— А ты, Саша, по-прежнему учишься в музыкальной школе? — спросила Настя.

— Он у нас знаменитый флейтист, — ответил я за Сашку.

— Молодец, — сказала Настя. — А ты, Боря, чем увлекаешься?

— Я? Исключительно ничем.

— Ну и неостроумно. В наше-то время ничем не увлекаться!..

— Еще один воспитатель на мою бедную голову! — сказал я.

— Извини, — тихо ответила она. — Я не собиралась тебя воспитывать. Просто сказала то, что подумала. Мне тебя жалко стало.

Вот так она меня пригвоздила. А пока я ей собирался ответить, мы уже вошли в класс, и все ребята с любопытством набросились на Настю и оттеснили нас с Сашкой.

Мы сели за парту, но почему-то оба не спускали глаз с Монаховой. Она нас просто околдовала. «Но посмотрим, поборемся, не на таких наскочила», — подумал я и тут же сделал все наоборот.

Дело в том, что в этот день меня назначили вожатым в первый класс «А». Об этом сообщила Колобок, то есть наша старшая вожатая Нина, которую прозвали Колобком, потому что она толстуха и всегда что-нибудь жует. И представьте, я согласился. Именно из-за нее, из-за Насти Монаховой.

Вот как все было. Влетает, значит, в класс Нина, дожевывая на ходу пирожок. Она у нас такая восторженная-восторженная и говорит всегда торжественно-торжественно, как будто выступает перед толпой.

Однажды, когда я учился в третьем классе, она вцепилась в меня, и не где-нибудь, а на улице, и воспитывала сорок минут.

Сашка в это время стоял в сторонке и ел мороженое. Ему в ожидании пришлось съесть три порции.

Чтобы отделаться от нее, я начал икать. Это очень хороший, испытанный способ. Она тебе слово, а ты в ответ «ик». Она сказала, чтобы я перестал. А я в ответ снова «ик». А потом Нина узнала, что это мой способ отделяться, когда воспитывают, и невзлюбила меня. И вот, когда теперь она мне заявила: «А я по твою душу, Збандуто», — у меня все внутри похолодело от предчувствия беды.

— Что это вдруг? — удивился я. — Вроде еще ничего не случилось.

— Случилось. — Нина загадочно-загадочно улыбнулась.

Настя повернулась в нашу сторону: это был немаловажный момент.

— Интересно, — тут же стремительно вступил в игру Сашка.

— Ребята, минуту внимания! — сказала Нина. — Во-первых, поздравляю вас с новым учебным годом!

— Уря-а-а! — закричал кто-то тоненьким голосом.

Я воспользовался тем, что Нина отвернулась, подмигнул Насте и сполз под парту.

— А во-вторых... — сказала Нина торжественным голосом.

После этого наступила тишина. Видно, Нина повернулась лицом к нашей парте, а меня нет, а я тю-тю! Сидел себе и похихикивал.

— А где Збандуто? — спросила Нина.

— Не знаю, — ответил Сашка. — Только что был тут.

В этот момент на меня напал чих. Я зажал рукой нос, сморщился и чихнул про себя, но не рассчитал и треснулся головой о парту. Гул пошел по всему классу. Ясно было, что теперь меня обнаружат.

И действительно, я увидел, что Нина лезет под парту. Я закрыл глаза и откинул голову на скамейку.

— Что с тобой, Збандуто? — участливо спросила Нина.

— Он сомлел, — сказал Сашка. — Здесь душно. Отвык за лето от школьной обстановки.

— Воды! — приказала Нина.

Я слышал, как кто-то услужливо побежал за водой и вернулся обратно. Потом этот кто-то приподнял мою голову и нахально ливанул полграфина воды мне за шиворот.

Тут я вскочил. Ну конечно, передо мной стоял Сашка. В руках у него был графин с водой. Он был очень доволен, потому что вызвал всеобщее веселье. Даже Настя хохотала. По-моему, он унизил меня ради нее. Я бы на его месте так не поступил.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила Нина участливо. — Получше?

— Ничего, — сказал я. — Только зачем же лить воду за шиворот? Разве нельзя было просто побрызгать в лицо?

— Хорошо, — сказала Нина, — в следующий раз.

Она надо мной издевалась.

— А теперь, ребята, я вам сообщу новость, — снова торжественно начала Нина. — Совет дружины назначил одного из вас вожатым в первый класс «А». — Она повернулась ко мне и объявила: — Бориса Збандуто.

И тут почему-то поднялся невообразимый шум. Все начали смеяться, а больше всех — мой друг Сашка. Каждый острил как мог, нарочно перевирая мою фамилию.

— Донато! Ха-ха-ха! — закричал Сашка. — Он научит их получать двойки.

— Бандито! Плакали деревья в школьном дворе!

— Надувато! Научи их лупить девчонок!

— Бить окна!..

— Играть в расшибалочку!..

Все ребята хохотали, и я тоже не отставал от них. Действительно, какой из меня вожатый!

— Ну, хватит. Посмеялись — и хватит! — серьезно сказала Нина. — Согласен, Збандуто?

— Нет, — ответил я. — У меня профессиональная негодность. Я от волнения зай... зай... заикаюсь.

Ребята снова засмеялись.

— То ты икаешь, — сказала Нина, — то ты заикаешься. Довольно валять дурака. Говори, согласен или нет?

— А что я буду с ними делать? — спросил я.

— Подготовишь в октябрюта, — ответила Нина.

— Будешь их сажать на горшки и вытирать носы! — выкрикнул Сашка и посмотрел в спину Насти.

Он явно хотел ей угодить. И тут она оглянулась и сказала те самые слова, которые и втянули меня в эту историю. Потом-то оказалось, что она просто пошутила.

— Что здесь смешного? — сказала она. — Это ведь серьезное дело.

На секунду наши глаза встретились, и я вдруг, к своему величайшему удивлению, услышал собственный голос, который произнес:

— Я согласен.

— Несчастный Надувато, мне тебя жаль! — Сашка корчился от смеха.

— Может, помолчишь? — спросил я. — А?

— Ну, вот и хорошо, Збандуто, — сказала Нина. — Мы знаем твои слабости, но доверяем. А ты должен оправдать это доверие.

— Можете на меня положиться, — громко ответил я и победно оглядел притихший класс.

— Подумай, о чем ты будешь говорить с ними на первом собрании. Для этого нужна какая-то находка, — предупредила Нина.

По дороге домой я думал о первоклассниках. Мы с ними понаделаем дел. Можно, к примеру, перейти на ускоренное обучение: за год — три класса. Вот будет пожар! Все обалдеют. Может быть, моим методом сможет воспользоваться наша школа или даже вся страна! А можно еще организовать для них учение во время сна. Они будут ночью спать и учиться, а днем гулять. Чем не жизнь?.. Идеи так и ройлись в моей голове.

Пусть теперь Н. Монахова скажет, что я ничем не увлекаюсь. Воспитать современного человека, подготовить его для жизни в двадцать первом веке — это поважнее, чем пиццать на флейте.

И тут меня осенило: надо для первой встречи произнести речь. Это будет та самая «находка», о которой говорила Нина.

Я вытащил на ходу из портфеля тетрадь и, остановившись, быстро написал: «Дорогие ребята, пионерская организация...» Дальше у меня почему-то не пошло, хотя сама находка показалась мне блестящей. И, не в силах сдержать радость, я побежал домой, чтобы рассказать обо всем маме.

* * *

Дверь мне открыла Полина Харитоньевна. С тех пор как я ее спас от неминуемой смерти, она зачастила к нам: пьет с нами чай или обедает. Ей нравилось, что из наших окон хорошо видно, кто куда пошел, кто что понес, кто как одет. Мама ее жалела и говорила, что в ней, в Полине Харитоньевне, сильны пережитки прошлого, что она из буржуазной среды. Конечно, ей ведь восемьдесят лет.

Вид у Полины Харитоньевны был испуганный, особенно в этом странном салопе, который она натянула на себя. А в тот момент, когда она открыла дверь, меня как раз снова посетило вдохновение, и я выпалил ей прямо в лицо продолжение своей речи.

— «Дорогие ребята! — крикнул я торжественно-торжественно. Я теперь начинал понимать Нину. — Пионерская организация, известная своим благородством...»

— Что-нибудь случилось? — спросила Полина Харитоньевна, отступая.

— Случилось, — ответил я.

— Что? — Полина Харитоньевна всего боялась.

— Меня назначили вожатым! — крикнул я и пролетел мимо нее в комнату, чтобы записать продолжение речи.

Она вошла следом за мной:

— Вожатым? Тебя?

Я вырвал листок из тетради и быстро стал записывать речь.

— В первый класс «А», — ответил я.

— Ну что ж, Бока, теперь ты должен будешь показывать пример другим.

— Не называйте меня больше Бокой, — попросил я, — я уже не маленький.

— Хорошо, — согласилась Полина Харитоньевна. — Может быть, пообедаешь?

— Нет, — твердо ответил я, — я буду сочинять речь... и развивать силу воли. Волевой человек может добиться чего угодно.

Я склонился к столу, потому что почувствовал, что меня опять осенило.

В это время хлопнула входная дверь. Пришла мама. Я выскочил ей навстречу.

— Мама! — закричал я. — У меня хорошая новость!

— Тихе, тихе, не кричи так, — попросила она.

— Меня назначили вожатым в первый класс, — с ходу решил я на шепот.

Мама скептически поджала губы. До чего же все-таки взрослые скучный народ! Я думал, она закачается или хотя бы улыбнется. Ну ничего, когда она узнает, какие я задумал дела, поверит в меня.

— Только не называй меня больше Бокой, — предупредил я и удалился в свою комнату.

Речь была написана, и теперь, нежно разглаживая эту драгоценную бумагу, я учил ее наизусть:

— «Дорогие ребята! Пионерская организация, известная своими славными делами, прислала меня к вам, нашим младшим товарищам...»

Я перестал читать, подкрался к двери и приложил ухо к за-

мочной скважине, чтобы послушать, что обо мне говорят мама и Полина Харитоньевна.

— Неужели исправится? — долетел до меня голос мамы. — Неужели возьмется за ум?

— А что вы думаете, — ответила Полина Харитоньевна. — Обещал развивать силу воли.

— Боже мой! — вздохнула мама. — Чего он только не обещал развивать: и силу воли, и память, и внимательность, и не лгать, и не драться, и, наконец, помогать мне!

Я решил напомнить о себе и прокричал в замочную скважину:

— «Чтобы я закалил вас и подготовил нам достойную смену...» — На слове «смена» у меня сорвался голос, и получилось не очень красиво.

Тем не менее я прильнул глазом к скважине: Полина Харитоньевна и мама были передо мной как на ладони. Представьте, они с аппетитом обедали, пока я страдал на благо общества. Я с возмущением открыл дверь.

— А, Бока, — сказала мама. — Может, все же пообедаешь?

— Опять «Бока»! — возмутился я. — Это наконец надоело.

Но за стол я сел. От этой речи я здорово проголодался.

После обеда я вновь вернулся к своей работе. Пробежал речь глазами и остался доволен. Вот только нет в ней упоминания о мужестве. Вставил в нескольких местах слово «мужество».

— Борька! — крикнул кто-то за окном. — Збандуто!

Я узнал Сашкин голос.

«А-а-а, притащился! — подумал я. — Ну покричи, покричи. Только теперь мне не до тебя. Я занят серьезным делом, это тебе не этюды для флейты».

— «Дорогие ребята! Пионерская организация, известная своим мужеством, прислала меня к вам, нашим младшим товарищам, мужественным, мужественным...» — продолжал я повторять одно слово, как испорченный проигрыватель, явно выжидая, позовет меня Сашка еще или нет?

Нет, не зовет. Неужели ушел? Предатель! Бросает друга в трудную минуту! Чтобы убедиться, что Сашка действительно предатель, я подошел к окну — мы живем на первом этаже — и открыл его.

Сашка стоял на своем обычном месте.

— Ну, скоро ты? — спросил он.

— Не мешай, — ответил я. — Я занят.

— А как же я? — удивился Сашка. — Что же мне делать в полном одиночестве?

— Действительно, — я посмотрел на его постную физиономию, — а как же ты? — и, не раздумывая, полез в окно.

От сквозняка совсем некстати широко распахнулась дверь, и мама с Полиной Харитоньевной увидели меня сидящим верхом на подоконнике.

— Ты куда? — закричала мама. — А как же твоя речь?

— Ничего, — ответил я, — даже министры читают свои речи по бумаге, — и прыгнул вниз.

* * *

Через несколько дней, когда все ребята и я, между прочим, уже забыли, что меня назначили вожатым, в нашем классе появились две маленькие девочки. Все, конечно, тотчас уставились на них. Это ведь необычное событие.

А я в это время стоял на голове на спор с Сашкой. Стоял, поглядывал на Настю и болтал ногами. На этот раз победителем выходил я. Сашка отстоял до ста, а я пошел на вторую сотню. Между прочим, это полезно. Только учителя этого не понимают. Говорят — хулиганство. А как же йоги?

Да, наша дружба с Сашкой из-за Насти зашла в тупик. С ним творится что-то невозможное. Он преследует меня днем и ночью (во сне).

Сегодня мне приснилось, что он, Сашка, уже генерал и Настя выходит за него замуж. Я проснулся в холодном поту.

Каждый раз, когда я обращаюсь к Насте, его вечно розовое лицо с двумя спелыми помидорами вместо щек делается бледным, как у мертвеца. Насколько я понимаю, это ревность. Хорошо, что он мне приснился с нормальным лицом, а то я закричал бы и разбудил маму. Я всегда кричу, когда мне снится что-нибудь страшное.

Чем это все кончится, не знаю. Из-за ревности и не такие люди погибали. Говорят, раньше многие из-за этого пускали

пулю в лоб или сердце. Надеюсь, Сашка не последует этому глупому примеру.

Я же изо всех сил старался облегчить его страдания. Вчера угостил его двумя стаканами сока на выбор, истратив еще шестьдесят копеек из бывшей десятки. Причем сам я выпил стакан чистой газированной воды за копейку!

— Чего вам надобно, крошки? — спросил Сашка.

— Нам нужен Боря З...— Девочка покраснела, ей трудно было выговорить мою фамилию.

А вторая ей помогла:

— Занудо...

Все только этого и ждали и сразу засмеялись.

Я догадался, что это девчонки из первого «А», вскочил на ноги и стал незаметно вытеснять их из класса.

— Это я и есть. Только я не Занудо, а Скандуго, — переврал я свою фамилию.

— Извините, — сказали девчонки в два голоса. — Мы из первого «А». Вы наш вожатый. Мы вас ждем уже неделю.

К нам подскочил Сашка, загородил меня от девчонок и крикнул:

— Бегите, детки, он вас съест. Он Серый Волк! — Он дернул одну из них за косу.

Все стали хохотать еще больше.

Я подумал, что Сашка их сейчас доконает и они убегут, но тут вмешалась Настя и всю игру спутала.

— Перестаньте, — сказала она. — Борис, что же ты?

И действительно, мне стало стыдно. Что это я? Ведь я сам не люблю, когда над другими издеваются.

— Послушай, Красная Шапочка... — многозначительно произнес я. — Мы же разговариваем, — отстранил Сашку рукой и сказал: — Я приду к вам. Сегодня. После уроков. Будет сбор. Я уже речь написал.

Вот так-то. Знай наших!

После уроков я заметил, что Сашка необычно быстро собирает портфель. Его поспешность мне была ясна, я видел, куда он косил глаза.

В это время Настя вышла из класса. Я выскочил следом за ней.

— Привет! — крикнул на ходу Сашка, обгоняя меня в коридоре.

Встретились мы на первом этаже около библиотеки.

Когда он увидел меня, то прикинулся, что ничего не видит, и хотел пройти мимо. А я, видно тоже от смущения, подставил ему ножку, и он растянулся во весь рост.

— Ты что, — взревел он, вскакивая, — обалдел? — и трахнул меня портфелем.

Я в ответ тоже. В результате у нас вышла настоящая современная дуэль. Из-за женщины, потому что каждому из нас было ясно, чего мы здесь околачиваемся.

А тут появилась и сама виновница нашего поединка. Она вышла из библиотеки.

— Чего это вы деретесь? — спросила Настя. — А еще друзья!

— У нас дружеская драка, — сказал Сашка, зло поглядывая на меня.

— Разминка после уроков, — поддержал я.

А в следующий момент произошло нечто неожиданное: в одном из классов открылась дверь, в нее просунулась голова какого-то малыша, который, увидя меня, издал оглушительный победный клич:

— Ребята! Боря при-ше-о-ол!

Стремительно, как будто их выпустили из катапульты, из класса вылетела толпа детей и дикой ордой устремилась на меня. Они смотрели на меня с немим восхищением, как на бегемота в зоопарке.

Через секунду Настя и Сашка оказались отесненными в дальний угол.

Я криво улыбнулся. Я совсем забыл, что обещал к ним прийти, и смущенно сказал:

— Давайте пойдем в класс. Там мы будем в своей тарелке.

— Пошли в свою тарелку! — крикнул какой-то находчивый малыш.

— Пошли! Пошли! — загалдели остальные.

В классе ребята усадились за парты и притихли.

На доске большими печатными буквами было выведено: «БОРЕ УРА!»

— Ну, это уж слишком,— сказал я и стер надпись.

Откашлялся, дрожащими руками разгладил на учительском столе листок с речью и начал:

— «Дорогие ребята! — Голос у меня был странный, дребезжал, как старый репродуктор.— Пионерская... организация... всем известная...»

Я легкомысленно оторвал руку, придерживавшую листок, а легкий ветерок, ворвавшись в открытую форточку, взметнул мою драгоценнейшую речь, унес с учительского стола и уронил на пол.

Я проследил за нею тупым взглядом, но поднять не решился.

— «Пионерская организация, всем известная...» — начал я наизусть и замолчал. Слова окончательно вылетели у меня из головы.

Мальчишка с первой парты догадливый оказался: поднял листок и положил передо мной на стол. А я, как заправский телевизионный диктор, который читает текст по бумажке, но делает вид, что совсем не читает, скосив глаза, быстро прочел:

— «...Пионерская организация, всем известная...— на секунду поднял голову, криво усмехнулся: «Повторенье — мать ученья», и продолжал: — ...своим мужеством, прислала меня к вам, нашим младшим товарищам, чтобы я вас закалил и подготовил нам достойную, мужественную смену...» — Я умолк окончательно.

— Ура-а-а! — закричал мальчишка с последней парты.

— Не надо,— сказал я.

Стало тихо и неизвестно, что делать дальше. Первоклашки преданно смотрели на меня.

— Ну, давайте познакомимся,— упавшим голосом сказал я.

На первой парте сидели девочки, которые приходили ко мне.

— Тебя как зовут? — спросил я одну из них.

— Стрельцова,— ответила она, вставая.

— Фамилий не надо,— предложил я.— По фамилиям скучно. Давайте только имена.

— Зина,— сказала Стрельцова и села.

— А меня Наташа,— сказала ее соседка.

У этой Наташи были круглые глаза, как пятаки, и эти пятаки не отрываясь следили за мной.

— У нас две Наташи! И обе дуры! — выкрикнул какой-то острослов с последней парты.

Мальчишки засмеялись, а Наташа захлопала своими пятками. Видно, собираясь разреветься.

Я направился к этому острослову. Я угрожающе приближался к нему.

В классе стало тихо.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Генка, — ответил он.

— А сколько у вас Генок?

— Трое.

— Надеюсь, не все такие умные?

Ребята засмеялись, и острослов Генка тоже. А Наташа уставила на меня свои пятаки и сказала:

— Нет, только этот... Костиков.

— Значит, ты Генка Костиков? — Я немного повеселел и спросил соседнего мальчишку: — А ты?

Мальчишка встал и, сильно смущаясь и краснея, прошептал что-то неразборчиво.

— Громче, — попросил я.

— Толя! — вместо него выкрикнул Генка. — Он у нас трус. Как девчонка.

— Тихо, тихо, — сказал я. — Храбрость дело наживное. Садись, Толя. — И повернулся к классу: — Продолжим знакомство...

И тут со всех сторон защелкало, как горох:

— Лена!

— Лена!

— Гена!

— Саша!

Они вскакивали и садились, как оловянные солдатики.

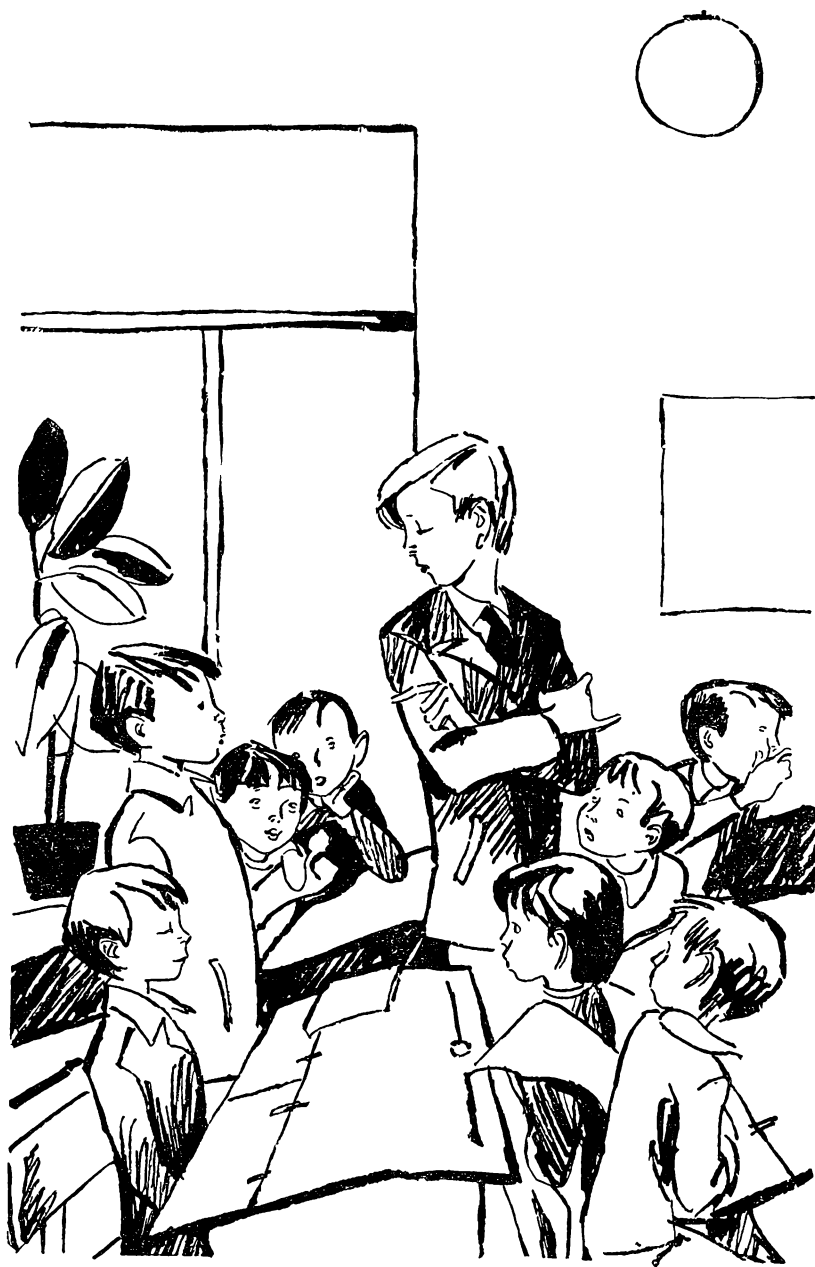
— Сима!

— Коля!

— Леша!

— Шура!

Сначала я пытался запомнить имена ребят и их лица,



даже пальцы загибал, но вскоре понял всю тщетность этой затеи.

У меня от них голова пошла кругом. Они были ужасно одинаковые, эти первоклашки. Все в форме. Все с белыми воротничками. Девочки — с косичками. Мальчишки — с челками. Да еще одно имя на двоих или троих.

— Довольно! — решительно прервал я этот поток имен. — На первый раз достаточно. Хватит!

Отошел к окну, чтобы сосредоточиться, и увидел, как Настя и Сашка пересекали школьный двор. Они шли рядом, и Сашка все время хохотал. Вероятно, рассказывал что-нибудь смешное про меня. Это его излюбленный прием. Надо было отделаться от первоклашек и догнать их.

— Вот что, ребята, — сказал я, — мы пойдем с вами в автоматическую фотографию. Там вы сфотографируетесь, тогда я вас по фотографиям и запомню.

Малыши завyli от восторга. Ужас, до чего они были восторженные!

— А сейчас мы возьмем портфели и ранцы и дружно побегим домой. Только бегом до самого дома! Понятно?

Они, конечно, не поняли, что я просто решил сбежать от них, зашумели и дружно стали расхватывать свои портфели.

— Приготовились! — скомандовал я, делая незаметно шаг к двери, чтобы выскочить первым. — За мной!

Я сделал стремительный рывок, сильно толкнул дверь и на легких парусах покинул коридор первоклашек.

А они, эти несчастные, неумелые дети, рванули к дверям, все одновременно. Ну конечно, застряли, и получилась классическая пробка.

Ловко я от них отделался. Хотя, если совсем честно, мне было немного не по себе. Неинтересно их обманывать, они всему верят. Я представил себе, как они придут домой и будут рассказывать про меня и про то, что я собираюсь их вести в автоматическую фотографию... А я-то совсем не собирался.

Нет, пожалуй, надо. Свожу их в фотографию, раз обещал. Это было последнее, что я подумал о первоклассниках, ибо я увидел впереди Настю и она застила для меня весь мир.

Где-то рядом с ней, в полутумане, прыгал и корчился Сашка,

Мы играли в футбол. Шестой «В» на шестой «А». Я стоял в воротах, а Сашка был в нападении. Это была принципиальная игра, но дело не только в этом. Среди зрителей сидела Настя, Понимаете?

И вдруг слышу чей-то писклявенький зовущий голосок:

— Бо-ря!

Скосил глаза. О боже, возле меня появилось милое видение: та самая первоклашка, у которой глаза как пятаки!

Я сделал вид, что не слышу. Нечего сказать, нашла подходящее время для душевной беседы!

Она снова окликнула меня:

— Бо-ря!

Я оглянулся, посмотрел на нее с диким удивлением, точно вижу впервые:

— Ты меня?

Она кивнула, представьте!

Я снова отвернулся. А она не уходит, и говорит мне в спину:

— Я Наташа Морозова из первого «А».

— Ну и что? — спросил я.

— Там собака, — ответила она. — Я боюсь, а мне надо домой.

— Ты же видишь, я занят, — возмутился я.

— А я думала, — сказала девчонка, — ты меня проводишь.

От этих ее слов я чуть не упал, даже перестал следить за игрой и едва поймал мяч.

Нет, вы видели? У всех ребят детство — лучшая беззаботная пора жизни, а у меня каторга! В футбол не дают поиграть. Нет, нет, нет, меня на жалость не возьмешь! Я не буду жалостливым. Она испугалась собаки! Подумаешь! И если даже та ее немного покусает, ничего страшного.

Через пять минут мне стало ясно: она без меня никуда не уйдет.

В общем, я вынужден был попросить замену.

Не оглядываясь, я побежал к школьным воротам. За мной, еле поспевая, бежала Наташка.

Ну, уж тут я высказался. Я ее пригвоздил, растер в порошок! Я сказал ей:

— Если ты боишься, пусть тебя мамочка встречает. Или папаша. Я в няньки не нанимался.

— У меня папа в Африку уехал,— ответила Наташка.

— Куда? Куда?

— В Африку.

— А ты хоть знаешь, где находится Африка? — спросил я.

— Конечно! — Она рассмеялась: — Я даже стихи про Африку знаю. «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы...»

— И все? Больше ты ничего не знаешь про Африку? Ну, и печего врать.

Она вдруг остановилась:

— Я никогда не вру.

— Совсем? — выскочило у меня.

— Совсем,— ответила Наташка.— Я не умею.

— Не горюй! — Я похлопал ее по спине.— Этому я тебя научу.

— Зачем? — спросила Наташка, и ее глаза-пятаки превратились в воздушные шары.

Я засмеялся, не зная, что ответить. Действительно, глупо получилось.

— Я пошутил. Я сам никогда не вру,— сказал я.

И тут меня затрясло от смеха, потому что мы подошли к школьным воротам, а там прыгала привязанная на ремешке к изгороди собачонка на тонких ножках, с оттопыренными ушами.

— И ты ее испугалась? — возмутился я.

Протянул руку, чтобы погладить собачонку, но она оцетирилась, зло залаяла и рванула поводок. Я еле успел отскочить.

— Вот видишь! — сказала Наташка.— Она кусается.— Взяла меня за руку и крепко прижалась.

— Ну ладно, африканка,— сказал я,— до свиданья.

— Спасибо! — крикнула девочка.

Я посмотрел ей в спину. До чего смешная! Ноги — как у африканского страусенка.

В это время подошел хозяин собачонки и стал отвязывать ее от изгороди.

— Между прочим,— сказал я громко,— здесь ходят маленькие дети.

— Учтем,— ответил хозяин собачонки.

Подожел троллейбус, Наташка села в него. Водитель поторопился закрыть двери, и ее портфель прищемило.

Я бросился на выручку: застучал кулаком по двери. Водитель снова открыл двери, и портфель плюхнулся на тротуар.

Я подхватил портфель, выпрыгнул в троллейбус и позвал:

— Наташка, ты где?

— Я здесь,— ответила Наташка.

Водитель закрыл двери, и троллейбус тронулся.

— Все из-за тебя! — угрожающе прошипел я и сунул ей портфель.

Вскоре троллейбус остановился, я сошел, и она тоже сошла.

— А ты чего? — удивился я.

— Здесь мой дом,— сказала она.

— И ты пешком не можешь пройти одну остановку?

— На троллейбусе интересней.

— «Интересней»! — передразнил я ее.

Я здорово обозлился.

Я стал стягивать наколенники, а то на меня все оглядывались: они были натянуты поверх брюк.

— А твой дом где? — не унималась Наташка.

— Там... — Я неопределенно махнул рукой и пошел.

— А можно, теперь я тебя провожу? — Она догнала меня.

— Нельзя,— ответил я.— Я возвращаюсь на футбол.

Конечно, когда я прибежал в школу, никакого футбола не было и все разошлись. Я уже собирался уходить, как вдруг вижу, ко мне подбегает Наташка.

— Ты чего вернулась? — спросил я.

— Я хотела узнать, чем кончилась игра,— сказала она.— Кто победил?

— Тоже мне болельщица! — возмутился я.

— Боря, а теперь можно, я тебя провожу?

— Провожай, провожай! — От нее нельзя было отделаться.

Домой мы возвращались вместе. Она оказалась смешной и симпатичной. С ней легко было разговаривать. Ее отец действительно уехал работать в Африку. Он врач. А матери у Наташки нет. Она умерла, когда Наташка была маленькой. И теперь они живут вдвоем с бабушкой, пенсионеркой.

Ну, тут я, чтобы поддержать разговор, сказал, что у меня тоже есть знакомая пенсионерка — тетя Оля.

— Пенсионерка! — повторила радостно Наташка и засмеялась.

Почему ей было смешно, я не понял. Не всегда ведь так сразу поймешь этих маленьких.

— Все пенсионерки смешные, — объяснила она. — В тот день, когда им разносят пенсию, они не выходят на улицу, боятся прозевать почтальона.

Правда, она веселая. Она мне так понравилась, что я разменял еще один рубль из папиной десятки и угостил ее мороженым. Она его лизала медленно, чтобы растянуть удовольствие.

— Боря, — спросила Наташка (она все время поддерживала разговор), — а твой отец куда уехал в командировку? — Улыбнулась и добавила: — Тоже в Африку?

Шутница!

— Нет. В Сибирь. Он живет среди тофаларов.

— А кто такие тофалары? — спросила Наташка.

— Это маленькая народность в Сибири.

— Так это люди, — догадалась Наташка. — А я про них ничего не слышала. А что он там делает?

— Ищет метеорит в тайге. — Мне нравилась эта игра.

Она была неиссякаема на вопросы.

— А что такое метеорит? — спросила Наташка.

— Это небесное тело. Может быть, осколок далекой звезды.

— Осколок звезды! — восхищенно прошептала Наташка.

— Он летит к Земле со сверхзвуковой скоростью и так разогревается, что превращается в огненный шар.

— В огненный шар, — повторила она.

Все-таки я ее потряс.

Наташка подняла глаза к небу, надеясь увидеть в нем этот огненный шар, но увидела только солнце. Сощурилась, глаза у нее превратились в щелчки, и она спросила:

— Как солнце?

— Нет, — ответил я. — Он маленький. Я вижу, вас надо учить еще да учить.

— Конечно, — согласилась Наташка. — Боря, а ты не знаешь, как спят африканские жирафы?

Ну и девица, что придумала! Я бы мог соврать ей или отшутиться, сказать: «Они спят, задрав кверху копыта», или: «Они спят на земле». Но я честно признался, что не знаю. И самое удивительное — мне самому понравилось то, что я сказал правду. Это было что-то новое во мне и подозрительное. Уж не заболел ли я?

В это время я заметил Сашку, стоящего возле нашего дома. В руках у него был мяч, он небрежно постукивал им об асфальт. Рядом, около стены, лежали наши портфели.

Я остановился и стал перевязывать шнурки в ботинках, а сам соображал, как отделаться от Наташки. Не хотелось бы, чтобы они сталкивались.

— Иди,— прошипел я,— тебе пора домой.

— Ничего,— успокоила меня Наташка,— я не спешу.

Тогда, все еще завязывая шнурки, я медленно повернулся к Сашке спиной, чтобы уйти.

Я даже прополз несколько шагов на четвереньках, и так, может быть, я бы полз через весь двор, но неожиданно передо мной выросла стена в виде Сашки.

— Ну что? — спросил я беззаботным тоном, делая вид, что Наташка вроде бы не со мной.— Зайдем ко мне?

Собственно, если бы он ответил мне сразу, ничего и не произошло бы, но он так долго обсасывал свой леденец, как будто это было самое важное занятие в мире.

Он сосал леденец и презирал меня. Щеки у него были пунцово-малиновые, и поэтому особенно контрастно выделялся синяк под глазом, который кто-то ему поставил во время игры.

И вот тут-то нетерпеливая Наташка вполне дружески ворвалась в нашу беседу.

— Какой у вас синяк! — сказала она и заботливо добавила: — Вам надо к врачу.

Сашка ей ничего не ответил и стал кричать, что они продули игру из-за меня, потому что я поставил в ворота размазню, что я совсем в последнее время ошалел, что ему противно со мной разговаривать, я предатель.

— Так вы проиграли,— разочарованно сказала Наташка.

Сашка секунду помолчал и, не поворачиваясь к ней, не вытаскивая изо рта леденца, едва разжимая губы, процедил:

— А ну валяй отсюда, шмокодавка!

Наташка посмотрела на меня, ждала, видно, что я за нее заступлюсь.

А я сказал:

— Иди, иди! Тебе пора.

Она повернулась и пошла, медленно так пошла,— может, думала, что я все же ее окликну.

Глупо, конечно. И со стороны может показаться смешным. Подумаешь, проиграли в футбол! Но я-то знал, что этот проигрыш для Сашки большое несчастье. И чтобы как-то его успокоить, кивнул в спину удаляющейся Наташки и сказал: «Вот привязалась!» — но не рассчитал и произнес эти слова слишком громко.

Наташка услышала и, не веря своим ушам, оглянулась. Глаза у нее снова из пятаков превратились в воздушные шары. Два голубых воздушных шара.

Может быть, она с таким предательством никогда не сталкивалась. Только что были верными друзьями, рассказывали друг другу биографии, ели мороженое, смеялись, и нá тебе!

И тут я увидел, что на Наташку движется какая-то гигантская собака. Не собака, а буйвол! Я догнал ее и сказал:

— Спокойно. Я здесь.

Она радостно схватила меня за руку, прижалась и ответила:

— А я с тобой, Боря, даже собак не боюсь.

Вот здорово! Значит, она не обиделась. Действительно, чего на меня обижаться? Подумаешь, что-то не так сказал. Важно, что сделал.

— Портфель забыл! — крикнул Сашка.

Я вернулся и побежал за портфелем. Когда я подбежал, он расшнуровывал мяч. Я ждал, что он мне еще скажет, а он нахально выпустил воздух из камеры мне в лицо и сказал:

— Воспитатель! — взял портфель и удалился.

— Да ты не волнуйся,— жалким голосом крикнул я ему вслед,— мы их обыграем!

Он не откликнулся.

— Спасибо за портфель,— не сдавался я.

Вот что меня губит, так это жалость и то, что я эмоциональный человек: не раздумывая совершаю разные поступки. Мне

бы сейчас надо было перетерпеть, не бросаться Наташке на помощь, а я не выдержал.

А ведь мне Сашка дороже, чем она. У нас одна жизнь, одни идеалы. Нам вместе жить да жить. А эта пигалица уже стояла опять около меня. Треснуть ее, что ли, по макушке, чтобы отделаться раз и навсегда? Я поднял руку для щелчка, но снова натолкнулся на ее доверчивые, прямодушные глаза и, вместо того чтобы ударить, обнял за плечи.

* * *

В этот день я прибежал в школу раньше обычного. В портфеле у меня лежало заявление о том, что я ухожу в отставку с высокого поста вожакого, поскольку это мешает моей личной жизни.

И действительно, эти первоклассники одолели меня окончательно. Они мне не дают ни вздохнуть, ни охнуть. Вчера, например, притащился Толя. Лицо серьезное, глаза жалостные. А мы в классе были вдвоем с Сашкой. Сидели на парте и тихо обсуждали проблему Насти.

Дело в том, что накануне Настя и я совершили незабываемую прогулку. Мы бродили по улицам, сидели на скамейке на бульваре, плевали с Крымского моста в воду, за что были обруганы прохожим «верблюдами», выпили две бутылки лимонада и съели по три эскимо.

Правда, мне это дорого обошлось, я истратил еще один папин рубль, но зато было весело.

Теперь придется купить маме подарок поскромнее. В конце концов, дело не в дорогом подарке, а во внимании.

А Сашка, когда узнал о нашей прогулке, покрылся страшной бледностью мертвеца. Эта бледность так долго держалась у него на лице, что я испугался за его здоровье. Вот ревнивец!

Но я открытый человек и не стал скрывать от Сашки свои истинные намерения, а предложил ему начать генеральную битву за Настю. Мы решили оба за ней ухаживать под покровом полнейшей тайны — это было непременно Сашкино условие, — пока она не полюбит кого-нибудь из нас. Побужденный гордо удалится.

Ну вот, сидим мы, значит, и шепчемся о Насте, и вдруг входит Толя. А Сашка как раз расспрашивал меня во всех подробностях о нашей прогулке, ему интересно. И поэтому он когда увидел Толю, то закричал на него. А я вскочил на подоконник и стал открывать форточку, будто бы чтобы проветрить класс.

Я подумал, может быть, Сашка его выгонит, но уже через секунду почувствовал, как кто-то тянет мою штанину. Ах, так? Ну пожалуйста! Я спрыгнул с подоконника, вытащил заявление и поднес к Толиному носу. Он мне ответил, что такие буквы читать не умеет. Тогда я ему объяснил, что не буду больше у них вожатым, потому что это мешает моей личной жизни.

Он это выслушал, но не ушел. Стоял, как-то странно сжавшись, засунув руки глубоко в карманы.

— Ну, что тебе? — спросил я.

— По секрету, — тихо ответил Толя.

Я нагнулся к нему, меня опять подвела жалость, и он, прижав губы к моему уху, прошептал свой секрет. Оказалось, он не умеет сам застегивать брюки. Я же говорю, с ума сойти можно от этих младенцев! Хотел ему тут же застегнуть брюки, но он кивнул на Сашку.

— Сашка, — попросил я, — выйди на минуту.

Сашка долго кривлялся и не хотел выходить, а потом вышел и, видно, рассказал нашим ребятам, потому что именно в тот момент, когда я застегивал Толе брюки, появилась Настя.

— Боже, — пропела она, — какая трогательная картина! Эбандуто, ты просто создан для работы в яслях.

Я вскочил и стал подталкивать Толю к выходу, а он, наивная душа, решил мне помочь и сказал Насте:

— Там петельки маленькие. У меня ничего не получается. Вот тут уж начался хохот.

Между прочим, во время нашей прогулки с Настей выяснилось, что она, как и Сашка, считает, что нет в мире более скучного занятия, чем возиться с первоклассниками. Мне это показалось странным: ведь когда меня назначали вожатым, она говорила противоположное. Оказалось, тогда она шутила! А я на эту шутку клюнул и теперь жестоко расплачивался.

В общем, только я отделался от Толи и показал Насте свое заявление и она меня похвалила и сказала, что я решительный

человек, как прибежала Зина Стрельцова, тоже, естественно, первоклассница, с криком, что Генка Костиков убивает Гогу Бунятова и вот-вот выбросит его в окно.

Ну конечно, я понимал, что ничего страшного в этом нет, когда мальчишки дерутся, и даже если какой-то Генка выбросит какого-то Гогу из окна, тоже ничего не случится — они ведь учатся на первом этаже.

Но потом я почему-то не вытерпел и незаметно выскользнул из класса, чтобы Сашка и Настя не догадались.

И представьте, не зря. Когда я прибежал в первый «А», то Генка Костиков на виду у всех продолжал дубасить неуклюжего толстяка Гогу Бунятова. Тот, видите ли, обозвал Генку «дворником», потому что он помогал матери подметать улицу.

По-моему, Генка лупил его за дело, и поэтому я растащил их не сразу, а когда Гога стал уж очень вопить.

— Что же ты? — сказал я Гоге. — Разве не знаешь, что все люди равны?

— Знаю, — ответил Гога. — Он первый начал дразниться «толстяком» и хлопнул меня по животу. А я крикнул на него без злобы, а он стал меня дубасить.

Тут мои воспоминания были прерваны, потому что в пионерскую комнату, в которой я сидел и ждал Нину, чтобы вручить ей заявление об отставке, вошла Наташка.

Я подскочил на стуле и сказал себе: «Осторожно, преследование продолжается». Тем более, что за Наташкой бочком протиснулись Толя и Гога.

— Привет! — изображая радость, сказал я.

Они недружно ответили. Конечно, они пришли из-за меня к Нине, а тут я, собственной персоной.

— Ты Нину ждешь? — спросила находчивая Наташка,

— Нину, — ответил я. — А что?

— Ничего, — ответила Наташка. А у самой голос задрожал, но она все же нашла в себе мужество сознаться: — И мы к Нине.

Они стояли рядком, напротив меня, и не знали, что делать.

— Садитесь, — сказал я. — Будем ждать вместе.

— Конечно, — сказал Толя. — Вместе всегда веселей. — И взгромоздился на стул,

Наташка с Гогой тоже сели.

Помолчали.

Они за мной следили исподтишка, но я все прекрасно видел: как они переглядывались, как ободряли друг друга, как подталкивали для беседы.

— А у меня зуб больше не болит,— сказал Гога.

Дело в том, что я его вчера водил к зубному врачу. У них там дома все были заняты. Я хотел спросить у Гоги, отчего это он так вопил у врача, потом решил, что при всех не стоит.

— Боря, а как ты думаешь, Нина скоро придет? — спросила Наташка.— А то я сегодня дежурная.

— Не знаю,— ответил я.

Я стал их рассматривать, и под моим взглядом они перестали подталкивать друг друга — сидели не шевелясь. До чего же у них были смешные лица! Нет, правда. Вы когда-нибудь попробуйте, всмотритесь в первоклассников. Это совершенно особенные люди. На их лица можно смотреть без конца. Они всегда живые: что на сердце, то и на лице.

— Боря, а может быть, ты передумал? — спросила Наташка.

— Ничего я не передумал,— ответил я.

А сам действительно испугался, что могу передумать, и стал себя растревывать и вспоминать, как я из-за них был неоднократно унижен. Они из меня сделали няньку: и брюки я им застегивал, и к зубному врачу водил. А вчера еще в добавление ко всему пришлось зашивать Наташке платье: она его разодрала на одном месте, села на гвоздь.

Тут я почувствовал, что погибаю, ибо все эти воспоминания не вызывали во мне ни протеста, ни негодования. Я вскочил, чтобы обратиться в бегство, но Наташка, хитрая душа, все поняла и тоже вскочила.

— Ты куда? — спросила она и загородила мне дорогу.

В это время, на мое счастье, в комнату вошла Нина, и я протянул ей заявление. Все произошло в одну секунду, никто не успел опомниться, а Нина уже держала заявление в руке и читала.

— Так,— сказала она.— А вы чего, ребята?

Они промолчали.

— Ах, да,— сказала Нина, она их узнала.— Идите, идите.

Я сама разберусь.—Проводила до дверей и вернулась ко мне:— Так. Значит, работа водителя мешает твоей личной жизни?

— Интересы у меня совсем другие,— ответил я.

— Знаю я твои интересы: в футбол гонять вместе со Смолиным.

— Неправда,— возразил я.— Мы в кино ходим, и книги читаем, и всякое прочее.

— Они сюда пришли из-за тебя,— сказала она,— а ты «всякое прочее», «мешают личной жизни»! Ты вот за все это время ничего для них не придумал.

— Почему? — возразил я.— Я придумал. Надо отвести их в автоматическую фотографию.

— Зачем? — Она посмотрела на меня с некоторым удивлением.

— Они там сфотографируются, а потом эти снимки можно будет наклеить в толстую тетрадь. Ты передай это новому водителю,— великодушно предложил я,— пусть он их отведет.

— А зачем? — снова спросила Нина.

Кажется, произошла осечка. Она ничего не поняла.

— Фотография ведь автоматическая, работает без фотографа. Детям будет интересно: можно любые рожи корчить.

— Знаешь, Эбандуто, хорошо, что ты подал заявление,— сказала Нина.— Нет в тебе гармонии. И выдумки твои нелепые.

— Так ведь они люди двадцать первого века,— сказал я.— Им технику и автоматику подавай.

Она не ответила, видно, забыла про меня. Склонилась над листом бумаги и чертила мужское лицо с бородкой.

— Так я пойду,— сказал я.

— А, это ты,— спохватилась она.— Ну ладно, найдем тебе замену.

А после уроков, когда мы с Сашкой заскочили в раздевалку за куртками, произошло новое событие. К Насте, которая прихорашивалась около зеркала, подошла Наташка. Я первый ее заметил и остановил Сашку. Мы спрятались между пальто. И вот тут-то и услышали этот странный разговор.

— Ты чего, малышка? — спросила Настя у Наташки.

До нас долетало каждое слово.

— Мне с вами поговорить надо,— ответила Наташка.

— О чем? — спросила Настя. — Пожалуйста. — А сама продолжала прихорашиваться перед зеркалом.

— Вы слышали, от нас Боря уходит? — произнесла Наташка, как будто это какое-то космическое событие.

— Ну и что? — спросила Настя.

— А вы скажите ему, чтобы он не уходил, — попросила Наташка.

— Ты думаешь, он меня послушает?

— Вы на него имеете влияние, — сказала Наташка.

— Почему? — удивилась Настя и посмотрела в мою сторону.

Она говорила все время громко и играла в такую наивную-наивную девочку.

— Вы красивая, — сказала Наташка. — А красивые на всех имеют влияние!

Последние слова Наташки, видно, понравились Насте, потому что она ответила:

— Хорошо... Я ему передам. Так что спи спокойно, малышка.

— Спасибо, — сказала Наташка и выбежала.

Мы вышли из раздевалки.

Настя уже сидела в вестибюле, нога на ногу, в нетерпеливом ожидании.

— Ну, пошли! — сказала она, вставая.

— Есть предложение поехать на Ленинские горы! — заорал Сашка.

А я вдруг, сам не знаю почему, бросил портфель на стул и крикнул:

— Подождите! Сейчас!

Стремительно взбежал я по лестнице, влетел в пустой первый «А», подошел к доске и написал: «ЗАВТРА ПОСЛЕ УРОКОВ ИДЕМ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ. БОРИС». И повернулся, чтобы бежать вниз, к Насте и Сашке, но вместо этого прошелся между партами.

На полу валялась ленточка, какая-то девчонка обронила. Поднял эту ленточку. Постоял. Мне здесь было хорошо. И все нравилось: и маленькие парты, и неумелые рисунки на доске, и эта ленточка, которую я держал в руке.

— Ну вот я и вернулся,— тихо сказал я.

Подошел к парте, за которой «сидел» Толя.

— Как сидишь! — закричал я на него.— Опять сгорбился? Нехорошо.— И «стукнул» его по спине.

Тишина пустого класса не смущала меня. Я снова шагал между партами, пристально «вглядываясь» в лица ребят.

— А ты чего плачешь? — спросил я Зину Стрельцову.— Кляксы посадила? Не страшно. Все мы с этого начинали.

Подскочил к Генке:

— Срам! Ты же будущий космонавт, а в носу ковыряешь!

Тут я заметил Гогу Бунятова:

— А ты! Не стыдно? Ты достоин презрения! Дразнить товарища за то, что он вместе с матерью подметает улицу! Ты что, не знаешь, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны»? Да, по-моему, вы без меня пропадете. Сколько еще у вас недостатков! Решено, я остаюсь навсегда!..

Когда я спустился в вестибюль, Нasti и Сашки не было. На стуле одиноко лежал мой портфель.

А на следующий день я снова прибежал в школу раньше всех, чтобы Нина не успела назначить к моим первоклассникам нового вожатого. Выхватил у нее обратно заявление и на радостях влетел в класс, размышляя о том, как поведу детей фотографироваться.

В классе в полном одиночестве сидела Настя. От неожиданности я замер. А она встала мне навстречу. Помню, я еще успел подумать: «Да, ревнивец Сашка, проспал ты свое счастье». И точно, она пригласила меня пойти после школы в кино. А я молчал и чувствовал, что бледнею, бледнею, как Сашка во время припадка ревности, потому что знал, что должен ей отказать.

— Чего же ты молчишь? — спросила она.

— Я веду своих ребят фотографироваться.

— Подумаешь! — сказала она.— В другой раз сводишь. Обещанного три года ждут.

— Не могу,— твердо ответил я и еще больше побледнел.

— Ох, надоел ты мне со своим детским садом! — сказала она.

...Когда я выводил ребят из школы, то увидел Сашку и На-

стю, шагающих впереди нас. И они увидели нас и остановились. А ребята галдели, как десять тысяч воробьев, и не замечали ни Сашки, ни Насти.

Я сделал вид, что не вижу их, но Настя помахала мне:

— Мы в кино.

— Попутного ветра Гулливеро в сопровождении Лилипуты! — крикнул самодовольный Сашка и захохотал.

Конечно, со стороны мы представляли довольно смешную картину: я долговязый, рост сто шестьдесят, а детишки мне по пояс. Но представьте, Сашкины слова меня нисколько не задели. Я привык, что он не разбирается в средствах борьбы. То он мне вылил за шиворот полграфина воды, то на истории нарочно подкасал неправильную дату. А сегодня вообще где-то раздобыл старый ночной горшок и подставил мне. Я не заметил и сел. Все давились от смеха, а я обиделся на Сашку, чуть не заревел и, чтобы скрыть это, стал паясничать и напялил себе этот горшок на голову, за что был выгнан с урока.

Я благородный человек и не мстительный, я не обижаюсь на Сашку за то, что он все время пытается меня унизить. Я все равно люблю Сашку, он мой лучший друг. Может, и он когда-нибудь поймет это.

Зато малыши, когда увидели Сашку и Настю, поутихли и затаились. Догадливые. А Наташка спросила:

— Боря, может быть, ты пойдешь в кино? Мы можем сфотографироваться завтра.

Я ей ничего не ответил, только весело подмигнул. А ее глаза сначала превратились в пятаки, потом в воздушные шары, а потом... Нет, вы только представьте — она тоже подмигнула мне! Ну и девчонка, соль с перцем!

А потом началось настоящее веселье. Действительно, автоматическая фотография — великолепная вещь! Генка, отчаянная голова, снялся с оскаленными зубами. Толя прилепил к подбородку обрывок газеты. Зина Стрельцова высунула язык.

Все хохотали и никак не могли остановиться.

Взрослые на нас оглядывались и, может быть, даже возмущались. Но я-то уж знаю: если смешно, тут ни за что не остановишься. Тогда нужно придумать что-нибудь особенное, и я сказал:

— Сейчас пойдем есть мороженое. Из стаканчиков.
— Ура! Ура! — закричали все.
— А мне мороженого нельзя, — сказал Толя, — я болел ангиной.

— Жаль, — ответил я.

У Толи сразу испортилось настроение. Это было заметно.

— Ну что ж, полная солидарность: мороженое есть не будем.

Купим пирожки с повидлом.

— А что такое «полная солидарность»? — спросил Гога.

— Это когда один за всех и все за одного, — сказал я.

— Полная солидарность! — обрадовался Толя.

И все малыши дружно закричали:

— Полная солидарность, полная солидарность!

А когда стали покупать пирожки, я увидел, что Генка и еще несколько ребят отошли в сторону и стали внимательно рассматривать на витрине тульские самовары. Точно их с самого рождения интересовали только самовары и всякие там узоры на них.

Ясно: у них не было денег на пирожок. А у меня в кармане лежал остаток от известной десятки. И я принял единственно верное решение. Вытащил из кармана рубль, подошел к продавщице пирожков, купил десять штук и сказал ребятам, этим любителям самоваров:

— А ну, налетайте!

Они отвернулись, как будто не поняли, такие гордые оказались.

— Ребята! — повторил я. — Ну, чего же вы? Налетайте!

Сначала подошел Генка и вроде нехотя взял пирожок. За ним потянулись остальные. Каждому ведь хотелось съесть пирожок. Последний я взял себе.

Вечером я расклеил фотографии малышей в тетрадь. Она стала как живая. Интересно было ее перелистывать...

* * *

Скандал получился неожиданный и грандиозный. Меня вдруг решили с треском снять с должности вожатого.

Как-то после уроков прибежала взволнованная Нина и ска-

зала, чтобы я больше не смел ходить к первоклашкам. Она отошла к учительскому столу и крикнул мне оттуда:

— Ты слышал, я тебе это категорически запрещаю!

— А мы сегодня идем в цирк, — сказал я.

— Никаких цирков! — сказала Нина и погрозила мне пальцем.

— Недолго ты царствовал, — сказал Сашка.

И действительно, недолго.

Все, конечно, заахали и заохали и стали ко мне приставать с расспросами, но, честное слово, я сам не знал ничего. Тогда они привязались к Нине, и она ответила, что сейчас они узнают и закачаются, такой я тип.

Нина рассказала про все мои дела, перечисляя их долго, подробно и противно. И добавила, что я влияю дурно на детей, сею между ними вражду и смуту.

Это потому, что я сказал одной девчонке, что нехорошо ябедничать, а она спросила меня, что это такое, а я ей объяснил, и теперь ее все дразнят ябедой.

Тут я не выдержал, прервал плавную речь Нины и крикнул:

— Зато она больше не ябедничает. Успех достигнут!

Но она не обратила на мои слова никакого внимания и заявила, что совет дружины отстранил меня от должности вожатого...

В этот момент открылась классная дверь, и в проеме появилась секретарь директора, сама Розалия Семеновна, которую вся школа зовет «Чайная Роза», хотя, конечно, никто из наших ребят никогда не устаивался ее взгляда. Ну, когда она появилась в дверях, Нина сразу забыла, что еще там решил про меня совет дружины, и уставилась на Чайную Розу.

— Кто здесь Збандуто? — Она даже не переврала мою фамилию.

— Я.

— К директору, — сказала Чайная Роза. — И вы, Нина, тоже.

Она не ушла, а продолжала стоять в дверях, пока я собирался. Никто мне ничего не сказал вслед и никто не сострил, потому что все поняли: дела мои плохи.

На всякий случай я захватил с собой тетрадь с фотографиями — как ни плохи дела, а терять самообладание нельзя — и

прошмыгнул мимо Чайной Розы летучей мышью; ни одна складка на ее платье не дрогнула.

Нина прошла к директору, а я остался ждать в секретарской вместе с Чайной Розой.

Странно, но у меня в жизни почему-то все получается наоборот. Когда я хотел уйти от первоклашек, когда они мне были безразличны, меня не отпускали, но как только мы по-настоящему подружились — на тебе!

А дело было ерундовое.

Генка подsunул Гоге живую ящерицу, Гога перекинул ее Наташке, а Наташка подбросила в парту Стрельцовой. Та сунула руку в парту, натолкнулась на ящерицу и как завопит: «Спасите, спасите! У меня в парте мышь! Она меня укусила!» Ну, учительница влезла в парту, достала ящерицу и отнесла в ботанический кабинет.

И ничего страшного не произошло бы, если бы не я!

Когда Наташка рассказала мне об этом случае, я возмутился и заявил, что мне надоела их трусость, что пора это преодолеть. А то одни боятся собак, другие — ящериц, третьи ни у кого ничего не могут спросить. Это не ребята, а какое-то сборище трусов! И я решил их перевоспитать. Пригласил к себе, когда мамы не было дома, и устроил тренировку по закаливанию нервной системы.

Они сидели в одной комнате, а в другой был погашен свет. Там было темным-темно. Я сказал, что буду магом, волшебником и великим врачевателем, который их спасет навсегда от трусости и дрожания.

Я ушел в темную комнату и стал их по очереди вызывать.

Каждый из них должен был войти в темную комнату и пробыть там несколько минут, а я в это время издавал ужасные стоны и вопли (я для этого специально прослушал пластинку Имы Сумак).

Значит, я так кричал, а сам подходил к жертве и прикладывал ей к руке или к лицу какой-нибудь предмет: ложку или щетку.

Это называется «психотерапия». Между прочим, вполне научный метод. Если жертва выдерживала все испытания, то я радостно объявлял ей, что она теперь никогда и ничего не будет

бояться: ни собак, ни кошек, ни ящериц, ни темных улиц и так далее, и так далее.

В общем, все шло хорошо, и вдруг Зина Стрельцова, войдя в темную комнату, не выдержала и завопила. Она пустилась наутек, грохнулась и разбила себе колено.

Ну, я, конечно, зажег свет, и мы стали дружно ее успокаивать и доуспокаивали до того, что она согласилась повторить опыт, точнее, не согласилась, а сама попросила и выдержала его достойно.

Но потом Зина пришла домой и рассказала все матери. А та еле дождалась утра, прилетела к нашему директору и стала кричать, что она забирает своего ребенка из класса, где появился какой-то ненормальный вожатый, который хочет из детей сделать инвалидов.

Ну, директор не заступился за меня, потому что мы с ним не были знакомы. А жаль, я бы ему объяснил, в чем дело. А он просто пригласил Нину, и Стрельцова-старшая при ней повторила всю историю и добавила нехоти еще две другие.

Эти истории случились в самом начале, когда я был еще неопытным вожатым и часто терял над собой контроль, увлекаясь чем-нибудь.

Я тогда ходил по домам первоклассников, чтобы поближе познакомиться с их жизнью. Мне нравилось так ходить: везде мне были рады, угощали обедами, советовались, как лучше воспитывать детей, рассказывали про свою жизнь. И вот как-то я пришел к Толе. Он был один дома и угостил меня чаем.

Мы пили чай из красивых золотых чашек, только Толя пил из маленькой чашки, а я из большой.

Ну, я и разбил свою чашку — зацепил как-то неловко и уронил на пол. Я не придавал этому большого значения — кто из нас не бил чашек! — и не понял, почему Толя так испугался. Я решил, что он просто пугливый. А на самом деле все оказалось не так просто.

Толя из большого уважения ко мне угощал меня чаем из папиных коллекционных чашек. А я-то ничего не знал и, когда уходил, осколки эти унес. Хотел выбросить, только на одном осколке был нарисован красивый замок, так что я все осколки выбросил, а замок оставил.

А Толя дома чашки так переставил, чтобы не видно было исчезновения одной из них. Но Толин папа все-таки заметил, схватил Толю и с криком: «Что ты наделал, негодник!» — стал его так трясти, что Толина мама испугалась, что он оттрясет у Толи голову, и вырвала сына из рук мужа. Тогда Толин папа упал на диван и перестал со всеми разговаривать, потом вскочил, схватил Толю и приволок ко мне.

Он совершенно обезумел и хотел узнать, куда я выбросил осколки его любимой чашки.

Я сначала не мог понять, как это из-за чашки так можно страдать.

«Я вам куплю сто таких чашек», — сказал я ему.

И что же вы думаете? После моих слов он сразу успокоился. Посмотрел на меня унылым взглядом, покачал растрепанной головой и произнес с жалостью:

«Невежда, глупец! Не обижайся на меня, я не хочу тебя оскорбить, я просто говорю тебе, кто ты есть на самом деле. Ты купишь сто таких чашек?! А знаешь ли ты, несчастный, что их всего было сделано в восемнадцатом веке пять штук. Пять штук! Одна хранится в музее в Ленинграде, вторая — у двоюродной праправнучки самого Ломоносова, — голос его звучал трагически тихо, — третья вывезена за границу беглым лакеем князя Юсупова и продана там банкиру Ротшильду, четвертая пропала без вести, а пятая была у меня. И об этом знает весь мир!»

Совершенно потрясенный, я достал осколок чашки с изображением дворца и протянул ему. Он взял, поблагодарил меня — какой благородный человек — и ушел.

Эта история очень взбудоражила Стрельцову-мамашу, потому что она вообще относилась ко мне подозрительно, с тех пор как я посетил их дом. А сначала она была мне рада.

Однажды трое взрослых Стрельцовых — бабушка и родители — собирались в кино и боялись оставлять Зину одну дома. А тут я пришел, и они спокойно ушли.

Зина тут же позвонила Наташке и Толе, и они прибежали.

Нам было весело, они мне всякие истории рассказывали, главным образом про маленьких детей, а это всегда смешно, и анекдоты. Про мальчишку, который захотел на улице по малень-

кому и подошел к милиционеру, чтобы спросить, где найти уборную. А милиционер долго-долго ему рассказывал, и вдруг мальчишка прервал его и сказал: «Спасибо, уже не надо». Ох, и хохотали они! Я думал, они от хохота лопнут.

Потом Зина зачем-то напялила на себя мамину юбку, такую желтую-желтую, и красовалась перед Наташкой. А Толя в это время хлопал мячом об пол.

На беду, Зинина бабушка не признает современных шариковых ручек и пишет письма химическими чернилами, и ее пузатая старомодная чернильница стояла на столе. Ну, в общем, Толя хлопал об пол, пока не перевернул чернильницу.

Но самое главное не в этом, не в том, что он перевернул чернильницу и залил всю клеенку чернилами... Нет, самое главное началось потом, когда мы обнаружили на прекрасной юбке Зиной мамы чернильное пятно с горошину.

Вот тут-то и началась паника. Ну скажите, как на моем месте поступил бы каждый взрослый человек, когда видит неопытных детей, да еще своих воспитанников, в страхе и ужасе? Конечно, постарался бы им помочь. Точно так поступил и я.

По моему предложению мы решили перекрасить юбку в другой цвет, чтобы скрыть чернильное пятно, с одной стороны, и сделать Зиной маме сюрприз — с другой. Ведь у нее фактически должна была появиться новая юбка!

Ребята были в восторге от моего предложения. Они никогда в жизни ничего не красили. Наташка визжала, Толя прыгал, как гуттаперчевый мальчик.

Да, это был полный восторг, полное взаимопонимание и дружба. Правда, меньше всех восторгалась Зина, потому что юбка принадлежала ее маме.

Мы перекрасили юбку в вишневый цвет — пятно стало золотистым. Мы перекрасили ее в коричневый — пятно стало черным. Вот что значит пользоваться старыми чернилами: их даже краска не берет. Тогда я предложил для симметрии поставить на юбке несколько горошин, но Зина почему-то отказалась.

С той поры наши отношения со Стрельцовой-старшей осложнились. Она отчитала меня по телефону, нажаловалась моей маме. А теперь прибежала к директору.

Вот тут-то директор и вызвал Нину для разговора.

Нина попробовала меня защитить, но Стрельцова-старшая все твердила: «Он ненормальный, он ненормальный». Тут, правда, директор ее оборвал: «Может быть, он в вожатые не годится, но он совершенно нормальный», — и попросил Нину принести ему наш классный журнал, чтобы доказать Стрельцовой, насколько я нормальный: дескать, я вам сейчас покажу, как он учится.

А накануне я сразу в один день получил пять двоек. Я узнал, что Насте Монаховой поручено подтягивать отстающих. Вот я и решил превратиться в отстающего, чтобы она меня подтягивала. Если бы я получил одну двойку или две, это могло бы не произвести впечатления, поэтому я и получил сразу пять двоек.

Думаете, это легко? Целый день я был в страшном напряжении: во-первых, боялся, что меня не вызовут, а во-вторых, что вместо двойки какой-нибудь сердобольный учитель влепит мне тройку. Никто, разумеется, не догадался, кроме Сашки, куда я клоню, но когда наша классная заявила, что я теперь буду заниматься с Настей как самый отстающий, он вновь покрылся бледностью мертвеца.

При этом Сашка сказал, что, хотя у него двоек нет, он будет вместе со мной ходить на занятия к Насте, чтобы у нас были равные условия для борьбы.

Так вот, значит, когда директор увидел, что у меня пять двоек, он возмутился: «Где вы нашли такого шалопая? (Шалопай — это я.) Неужели нельзя было подобрать в вожатые хороших, смысленных ребят, у которых есть чувство ответственности?» И тут он, как рассказывала потом Нина, схватился за голову и простонал: «Постойте, постойте... Збандуто?! Мы же получили на него письмо из милиции!» Он вызвал Чайную Розу, и она принесла это письмо.

Дело в том, что меня вывели со скандалом из бассейна. Я там был на соревнованиях и засвистел в два пальца.

Рядом оказался милиционер — они всегда появляются рядом в неподходящее время, — тып меня за плечо. Я возмутился, стал брыкаться и кричать. Он меня вывел и еще не поленился настрочить письмо в школу.

А почему я засвистел, он не попытался узнать. Вы заметили, во всей этой истории никто не посмотрел в корень. Я бы ни-

когда, вы слышите, никогда не стал бы свистеть просто так. У меня для этого были веские основания.

На соревнованиях выступал пловец, которого мне необходимо было освистать, чтобы выразить свое отношение к нему.

Все началось с того, что я решил сделать из своих первоклассников пловцов. Ну, во-первых, потому, что их надо было закалять физически, а то у них вечные ангины и гриппы, во-вторых, этим видом спорта можно заниматься с детства, а в-третьих, всем известно, что с плаванием у нас в стране не все в порядке.

Кто знает, думал я, может быть, из этих детей вырастут рекордсмены страны или мира!

Вот почему мы попали в бассейн. Нас сначала туда не пускали, и я вынужден был долго кричать, что я вожатый и мы не позволим срывать общественное мероприятие. И тут появился этот впоследствии освистанный мною пловец и велел нас пропустить. Он привел нас в раздевалку и приказал раздеться и выстроиться по росту. Дети, конечно, запищали и захихикали. А он их так резко оборвал: «Быстро. У меня нет времени».

Как будто только у него нет времени! Сейчас у всех нет свободного времени. У меня его тоже нет ни секунды, но я ведь об этом не кричу и никого не пугаю голосом. Я вот пришел в бассейн, а в это время Сашка, может быть, прогуливается с Настей и тем самым губит мою личную жизнь.

Пришлось мне самому раздеться, чтобы показать пример, да еще им помочь, потому что эти дети, эти несчастные малыши, и раздеваться-то еще как следует не умеют. То они запутывались в собственных платьях, то, снимая чулки, грохались на пол. В общем, повозился я с ними.

Я так подробно обо всем рассказываю, чтобы вы поняли, что я действительно ни в чем не виноват, более того — я просто боролся за справедливость. Если хотите, я обязан был это сделать в воспитательных целях, ради детей, которые сидели рядом со мной и знали, какой несправедливый человек этот пловец. И они меня дружно поддержали.

Они разделись, сбились стайкой около меня и дрожали. Холодно им и непривычно. Смешные они: худенькие, тоненькие, ноги длинные, спичками. Как они на них ходят, непонятно,

Я улыбнулся тренеру (еще тогда не знал, что он такой зверь) и подмигнул: смотрите, мол, какие смешные дети, настоящие страусята.

А он в ответ мрачно заорал: «Построились по росту! Живо!» Вот тут контакт между нами окончательно был утерян. Не люблю я, когда кричат и когда не улыбаются в ответ на твою улыбку.

После того как мы выстроились, он сказал мне: «Выходи из строя. Староват для плавания. И грудная клетка узковата». Он больно щелкнул меня пальцем по ключице.

Я чуть не упал от неожиданности. Сказать такое при детях!

«Что вы! — возмутилась Наташка. — Боря у нас лучший вратарь в школе!»

А он продолжал свой осмотр: измерял малышам грудную клетку, ощупывал ноги и руки. Потом заявил, что из всей нашей компании берет только одну девочку: Зину Стрельцову.

Тут я не выдержал и высказал ему все, что было на душе. Я ему сказал, что дело у них поставлено плохо. А когда он меня спросил: «Почему плохо?», я ему ответил: «На международных состязаниях проигрываете, а когда к вам приходит пополнение в самом расцвете, то выгоняете». После этого наступила тишина, и он сделал шаг в мою сторону. Но нас так легко не испугаешь. Малыши создали вокруг меня надежный заслон. Попробуй прорвись через них. Так он ничего мне и не ответил. А что ответишь, когда это чистейшая правда.

Вот после этого разговора мы и остались на показательное соревнование, и я прославился на них своим свистом, и меня схватил милиционер.

Кругом закричали: «Безобразие, хулиган! Еще школьник, а уже пшана... И такому детей доверили!»

Только одна женщина, между прочим красивая, сказала: «А что он такое сделал? Просто погорячился».

Но милиционер не стал ее слушать и уволок меня в отделение.

В этот момент мои славные воспоминания были прерваны неожиданным событием: дверь в канцелярию открылась и на пороге появилась целая стая моих первоклашек.

Не успел я выставить их обратно, как Наташа, минуя меня,

вырвалась вперед. Я схватил ее за шиворот, но она торопливо, задыхаясь, успела прохрипеть:

— Здравствуйте, Чайная Роза!

От такого неожиданного обращения я выпустил Наташку. Она, конечно, это наивное дитя двадцать первого века, не догадывалась, что Чайная Роза не имя, а прозвище.

— Сейчас же уходите! — прошипел я, не разжимая губ и наступая на детей.

— В чем дело? — строго спросила Чайная Роза. — Что случилось?

— Нам нужно к товарищу директору, — сказала Наташка и шагнула через порог.

Все остальные тоже решительно шагнули за ней, молча, тихо, подталкивая друг друга.

Вы бы видели их лица! Это были настоящие герои, отчаянные люди с горящими глазами. Им ничего не было страшно, они не испугались даже Чайной Розы, хотя перед нею трепетала вся школа. Они спокойно выдержали ее взгляд. Нет, не зря я занимался с ними психотерапией.

И что же вы думаете? Эта строгая-престрогая Чайная Роза провела их к директору. Она оставила открытой дверь, и я на всю жизнь запомнил начало этого неповторимого разговора.

— Ну, в чем дело? — услышал я скрипучий мужской голос.

Это был, конечно, директор, это был его голос, который любого храбреца в одну секунду превращал в кроткую овечку. Ну конечно, и среди детей сразу произошла заминка, и я уже испугался, что их сейчас выставят обратно, но тут раздался громкий, заливисто-звонкий голос Наташки:

— Мы пришли из-за Бори Збандуто. Он наш вожатый. Мы пришли его защищать.

Правда она молодец? Я еще никогда не встречал такой отчаянной девчонки.

— Это он вас прислал? — спросил директор.

«Он» — это, значит, я.

— Нет, — ответила Наташка.

— А ты не врешь?

Вот этого ему не надо было говорить, это он сказал зря. Плохо он разбирался в своих учениках: Наташку обозвать вруньей!



— Я никогда не вру,— сказала Наташка.

Наступила длинная пауза, во время которой директор долго кашлял. Потом он наконец собрался с силами и спросил:

— А чем вы его собираетесь защищать, хотел бы я знать? Какими делами он себя еще прославил?

— У нас есть козырь,— ответила Наташка.

— Какой еще козырь?

— Он спас жизнь одному мальчику. На моих глазах. Вытащил его из реки.

В это время Чайная Роза вышла из кабинета, плотно прикрыла дверь, и голоса пропали. Точно она не хотела, чтобы я услышал, как меня будут хвалить.

Все-таки Наташка потрясающая девица. Она буквально во все верила. Подумать только — я спас мальчишку!

Это произошло во время нашей совместной прогулки, помните, в тот день, когда она ко мне пристала и увела с футбола.

Какой-то мальчишка в полном одиночестве стоял на берегу реки и бросал в воду камни. И меня это пронзило. С какой стати, думаю, он стоит один? Я пристроился к нему и тоже стал бросать камни. Я брошу. Он бросит. Мы стояли рядом, а наши камни летели параллельно.

А Наташка крикнула: «А мы дальше, а мы сильнее!»

Мальчишка был забавный. Он пренебрежительно фыркнул, выбрал камень потяжелее, отошел от кромки воды — а там набережная была высотой в метр,— разбежался... и, не удержавшись, плюхнулся в воду.

Я помог ему выйти, там было неглубоко, мне по колено, а ему по пояс. Только промокли, и все. А Наташка начала кричать, что я храбрый, что она ни разу в жизни не встречала такого храбреца, и еще успела шепнуть мальчишке, что я их вожакий. Вот и все спасение утопающего.

Странно, до чего я люблю вспоминать про этих мальчишек и девчонок, я про них всегда все помню. Может быть, действительно права Стрельцова-старшая и я какой-нибудь ненормальный?

Как только первоклашки вышли от директора, тут же позвали меня. Мы встретились с ними в дверях. Они прошли мимо серьезные, сосредоточенные, и каждый из них дотронулся до

моей руки. В общем, они знали толк в человеческой поддержке и подзарядили меня теплотой своих рук.

Я же говорю, что они необыкновенные дети, из двадцать первого века. В них есть какая-то новая сила.

В кабинете директора, кроме Нины, сидела моя мама! Вот до чего дошло. Но им теперь уже было не свалить меня.

Я остановился у двери и посмотрел на директора. Он был похож на моржа. У него большая круглая лысая голова и седые усы.

— Ну-ка, подойди, подойди,— проскрипел он.

Я сделал несколько шагов вперед.

— Еще поближе. Я хочу понять, что ты за птица.

Он долго рассматривал меня, как какой-нибудь врач, изучающий больного. Даже взял за плечо и крепко его сдвинул.

— А что это у тебя в руке? — спросил он и, не дожидаясь ответа, взял у меня тетрадь и стал ее перелистывать.

Видно, она ему понравилась, потому что он поджимал губы, чтобы незаметно было, что он смеется. Затем вернул мне тетрадь и сказал:

— Говорят, за тебя поручилась твоя родственница, Ольга Александровна Воскресенская. Она, конечно, восторженная особа, я ее давно знаю.— Потом повернулся к Нине и добавил неожиданно:— Ладно, пусть остается, раз они пришли за ним сами.

Но на этом события дня не закончились. Мне пришлось встретиться со Стрельцовой-старшей еще раз.

Мы собрались возле школы, чтобы идти в цирк. А Генка и Зина почему-то не явились. Холодно было ждать. Шел первый мокрый снег.

— Зина не придет,— сказал кто-то.— Ее мама не пустила. У нее тренировка в бассейне.

— А что же с Генкой случилось? — спросил я.— Может, он тоже не придет?

— Генка в цирке ни разу не был,— сказал Толя.

Мы постояли немного, подождали.

— Пошли,— сказал я,— а то опоздаем.

И мы пошли. Только я почувствовал, что у ребят испортилось настроение. Стали какие-то молчаливые.

— Вот что, зайдем за Генкой,— решил я.

Развернулись и пошли к Генке.

Еще издали я увидел его. Он сгребал снег лопатой, а его мать скребком чистила тротуар.

— Здравствуйте,— сказал я.

Ребята столпились вокруг меня. Генкина мать посмотрела на нас. Она была в короткой тужурке и в пуховом платке. От работы ей, видно, было жарко.

— Приветик,— сказал Генка; он приподнял шапку, и от головы у него повалил пар.

— Ну-ка, надень шапку, постреленок,— строго сказала ему мать,— а то застудишься!

Генка напялил шапку.

— Это ему вместо физкультуры,— сказала Генкина мать.— И полезно, и матери подмога. Так что вы, ребяташки, идите по своим делам.

— Что вы! — сказал я.— Разве мы пришли Генку сманивать? Мы пришли вам помогать.

— Тетя Маруся,— крикнул Толя,— мы сейчас все переделаем! Это нам пустяк!

— Вот это уж ни к чему,— ответила тетя Маруся.

А Генка не стал возражать, он-то все отлично понял: отдал лопату Толе, а сам мгновенно куда-то сбегал и принес еще две лопаты и четыре скребка.

Что тут началось! Ребята выхватили у него эти скребки и лопаты и стали расчищать снег. А я взял у тети Маруси лом и колотил образовавшийся под снегом лед.

Тяжелый был этот лом до чертиков, но я не показывал виду. Колот себе, и все... Рядом со мной лихо колот лед Генка.

— Это в наше-то время,— ворчал я нарочно,— когда запускают спутники и космические корабли, приходится колоть лед ломом!

— Я ей не сказал про цирк,— оправдывался Генка,— а то бы она меня прогнала.

— И правильно сделал,— ответил я.

И вот, когда мы все так отчаянно и самоотверженно работали, когда перед нами уже лежала широкая полоса очищенного тротуара, когда мы были «один за всех и все за одного», вдруг

из подъезда выплыли Зина Стрельцова с мамой. Зина была в новом голубом пальто и берете... А Стрельцова-старшая напаялила на голову высокую папаху и гордо несла спортивную сумку своей дочери — будущей чемпионки по плаванию.

— А, это вы, молодой человек... — Увидев меня, Стрельцова-старшая остановилась. — Чудак!

Она назвала меня чудачком, словно дураком обругала. Но я-то доволен, что попал в отряд чудачков.

— Мы помогаем тете Марусе, — сказала Наташка.

— И Генке, — добавил Толя.

— Это эксплуатация детского труда. Я этого так не оставляю, — ответила Стрельцова-старшая, при этом она выразительно посмотрела на тетю Марусю. — Идем, Зиночка.

И они торжественно удалились.

— Тетенька, — крикнул Генка им вдогонку, — осторожнее, там лед! Упадете, запачкаетесь!

Стрельцова-старшая остановилась, боясь сделать следующий шаг.

Генка засмеялся. А за ним все ребята. И я. И тетя Маруся.

...Когда мы ворвались в цирк, представление уже началось и на нас зашикали, чтобы мы не шумели. А попробуй тут не шуми, когда с арены доносится музыка, крики клоуна и хохот зрителей.

— У нас билеты! — закричал я и выхватил из кармана длинную ленту билетов.

— Тише, — сказала контролер, — тише! Все равно во время выступления входить нельзя.

— Вы поймите, — сказал я тихо, — они первый раз в своей жизни в цирке.

— Так уж и первый раз!

Нет, она была неумолима, а дети почти плакали, но потом она засмотрелась, а может быть, даже нарочно сделала вид, что засмотрелась, и мы шмыгнули в проход.

Выскачили, а куда идти, неизвестно, народу полно, свет... Стопились стайкой около прохода и стоим.

И вдруг клоун заметил нас и закричал на весь зал:

— Видели ли вы когда-нибудь, чтобы дети опаздывали в цирк?

— Нет, нет, нет!..— понеслось со всех сторон.

— А теперь смотрите сюда! — Он подбежал к нам:— Вот они!

И все стали смотреть на нас.

— Мы работали,— сказал я.

— Вы слышите? — закричал он.— Они работали!

Он начал хохотать, упал от хохота, перекувырнулся через голову, и все захохотали с ним вместе.

— Мы работали,— сказала Наташка прямо в его раскрашенное лицо.— Чистили снег, товарищу помогали. Вот ему! — и вытолкнула вперед Генку.— Почему вы нам не верите?

Тогда клоун перестал хохотать, снял шапку и раскланялся перед нами.

— Причина уважительная,— сказал он.

И теперь никто уже не смеялся.

Клоун подал Наташе руку, крикнул:

— Музыку!..— и повел ее, как настоящую сказочную принцессу.

А за ним пошли мы, и на нас светили разноцветные огни.

Клоун подвел нас к нашим местам и крикнул:

— Мороженщицу! В цирке дети должны есть мороженое.

И вот тут-то пошли в расход — между прочим, благородный — последние два рубля из папиной десятки.

А потом мы смотрели медвежий цирк, лизали мороженое и хохотали вместе со всеми.

* * *

Сегодня у мамы день рождения. А я притворился, что забыл: подарка-то у меня не было. Нехорошо, конечно.

Когда я утром вышел к маме, она встретила меня радостно. Мы сели за стол и стали завтракать.

— Ну, как тебе завтрак? — Она сама подталкивала меня к тому, что сегодня необычный день.

— Понравился,— ответил я.

— А что тебе понравилось? — спросила она.

— Все,— ответил я.

И вдруг она с подозрением спросила:

— А что ты ел?

А я как бухну:

— Действительно, мама, что я ел?

Оказалось, она специально в этот день приготовила праздничный завтрак, омлет, поджаренный с помидорами и сыром, — а я съел все и не заметил!

Мама ничего мне не ответила и вышла из кухни, чтобы подойти к телефону. И тут разразились гром и молния, ибо я услышал, как мама разговаривала с тетей Олей, и понял — это было совсем не трудно, — что та поздравляла ее с днем рождения!

Я притаился, как самый жалкий мышонок. Я почти не занимал места, почти испарился, внимательно прислушиваясь к маминым шагам, придумывая лихорадочно, как бы выкрутиться из создавшегося положения.

Вот мама прошла в комнату. Может быть, она ждала, что я выйду к ней? Потом ее шаги снова раздались в передней, замерли и — спасение! — хлопнула входная дверь. Значит, мама ушла.

Я выглянул в окно. Мама быстро пересекала наш двор.

Вот если бы я был правдивым человеком, как Наташка, то я бы все честно рассказал маме. А мне было чем ее удивить! Дело в том, что я окончательно запутался и как сын, и как воспитатель. Вы только послушайте, что я придумал.

Меня посадили караулить первоклашек на контрольной, потому что их учительница заболела.

Когда я вошел и спросил их: «Ну, как идут дела?» — они в ответ тяжело вздохнули. Не надо было быть психологом, чтобы сразу догадаться, что дела у них шли неважно.

Я посмотрел на доску: там были примеры.

— Нечего сказать — нагружают детей, — заметил я, чтобы приободрить их. — Мы такие примеры решали в третьем классе.

На Зину Стрельцову жалко было смотреть: вот-вот заревет. Куда девалась ее спортивная находчивость! Я заглянул в ее тетрадь и увидел ошибку. Посмотрел в Наташкину — та же ошибка.

— Вы что, никогда не решали таких примеров? — спросил я.

— Решали, — нестройно ответили дети.

Я прошелся по рядам. Боже мой! Почти у всех одинаковые ошибки. У меня голова закружилась от напряжения. Конечно, их запугали: «Контрольная, контрольная, будьте внимательны, первая контрольная в вашей жизни...» Ну, они и перепугались. Вот почему я вырвал из тетради листок — надо было как-то поднять их боевой дух,— переписал примеры с доски, приговаривая: «Подумаешь, ерунда. Это же совсем ерундовые примеры»,— быстро их решил, с победным видом отбросил листок, отошел к окну и повернулся к классу спиной. Краем глаза я заметил, что мой листок исчез со стола. Помню, я улыбнулся: мне понравилась находчивость моих подопечных.

На следующий день Нина сказала, что контрольная прошла благополучно, что у всех пятерки и четверки, что во всем классе только одна двойка!

Тут я взметнулся, я был возмущен двойкой! Я вбежал в первый класс и еще от двери закричал:

— Какой размазня получил двойку?

— У меня пятерка! — закричал радостно Костиков.

— И у меня,— сказал Толя.

— И у меня, и у меня,— закричали все подряд.

— А у кого же тогда двойка? — спросил я.— Сознавайтесь!

И тут раздался тихий голос Наташки, и она сказала, что двойка у нее. Все, конечно, были просто потрясены, а я возьми да скажи:

— Эх ты, всех подвела!

— Девчонка! — закричал Костиков.— Даже списать не сумела!

— Не хотела,— срезала его Наташка.

Она посмотрела на меня. Глаза ее превратились в «клокочущий океан». Вот это был взгляд: прямо пригвоздила меня к позорному столбу. Невольно я отступил назад: не каждый может выдержать такой взгляд. Уничтожив меня, она оглядела припугнутый класс, встала из-за парты и ушла.

Все ждали, что я что-нибудь произнесу, но я как-то весь мелко и противно задрожал и тоже выскочил из класса.

В этот день я поймал ее после школы. Подлетел к ней, будто ничего не случилось, и пошел рядом, весело и беззаботно размахивая портфелем.

Мы шли домой, как обычно. Так могло показаться со стороны, но на самом деле все было не так. Она шла рядом со мной сама по себе. Семенила ногами, опустив голову так, что банты от ее коротких кос торчали, как рожки козленка.

А я старался вовсю. Унижался, прыгал, хохотал. Просто ужас, до чего мне хотелось с нею помириться.

— Не забудь вовремя дать бабушке лекарство!

У нее бабушка заболела.

Наташка промолчала.

— А когда будешь разогревать еду, не включай газ на полную силу.

Никакого ответа.

— Эх, махнуть бы сейчас на Камчатку! — сказал я и покоился на Наташку. — В долину гейзеров.

Я ждал, что она обязательно спросит про гейзеры. Но нет, не спросила. Ну и девчонка — кремень!

— Ты знаешь, что за штука гейзер? — не вытерпел я.

Нет, она определенно не желала иметь со мной дела. Тогда я нанес ей последний, решающий удар:

— Кстати, я узнал, как спят африканские жирафы. Они ложатся на землю, а шею обматывают вокруг туловища.

Я думал, на эти слова она отзовется. Она же любознательный человек и сама спрашивала у меня про этих жирафов, но сейчас ее ничего не интересовало.

— Слушай,— безнадежно сказал я, как будто сделал какое-то великое открытие,— а может быть, пойдем ко мне обедать? Мама будет рада.

Мои слова ударились в ее молчаливую спину. А мы уже поравнялись с ее домом. И тут ко мне пришло спасение: одинокая страшная собака. Все-таки мир не без добрых собак. Не зря, значит, говорят: «Собака — друг человека». Вовремя появилась. Я торжественно улыбнулся и сказал:

— Не бойся. Я здесь,— и взял за руку, чтобы провести мимо страшной собаки.

Наташка на мгновение остановилась, потом вырвала у меня руку и прошла мимо собаки. Так вызываясь близко, что красный шершавый собачий язык почти коснулся ее плеча. И скрылась в подъезде.

А я остался один. Представляю, какое у меня было лицо.

Я вспомнил, как Наташка впервые пришла за мной. У нее от волнения дрожал голос, и она перепутала мою фамилию. А я, здоровый дурак с большим лбом, еще издевался над нею. «Да, да,— говорю,— моя фамилия не Занудо, а Скандуто». Она тогда была маленькой и робкой, стояла передо мной — цветок на тонком стебле.

А после Наташки я вновь подумал о маме. До чего же у нее был обиженный вид, когда она пересекала двор! Конечно, никто ее не поздравил: ни я, ни отец, как будто она жила не в семье, а на необитаемом острове.

Интересно, какое было бы настроение у меня, если бы это был мой день рождения?

И тут, конечно, позвонил папа. Я еще никогда в жизни не встречал такого неудачника. Что бы ему позвонить на пять минут раньше. Он бы и маму поздравил, и я бы не так сильно его огорчил.

— Здравствуй, папа! — сказал я и скорчил рожу для храбрости. — Папа, здравствуй! — И радостно добавил: — Мама уже ушла.

— Жаль,— сказал папа. — А я всю ночь ехал, чтобы добратъся до телефона.

Я же говорил вам, что он неудачник: всю ночь ехал, а на пять минут опоздал.

— Ничего,— утешил я. — Я ей передам.

— Так то ты, а то я. Большая разница,— сказал папа. — Ну, что ты ей подарил, дьяволенок?

Слышно было, как назло, очень хорошо. Но я все же притворился, что не расслышал вопроса.

— Что? — крикнул я. — Не слышу, повтори еще раз.

— Я спрашиваю, что ты подарил маме? — крикнул папа.

— Что? Что? — переспросил я. — Ничего не слышу... — И повесил трубку.

Вбежал в комнату и стал лихорадочно одеваться, чтобы убежать до повторного звонка. Но не успел. Телефон зазвонил снова. Все, конечно, из-за папиной настойчивости. Лучше бы он больше не звонил, а то сейчас я должен буду рассказать ему правду. Я же говорю, он неудачник.



— Не вешайте трубку,— сказала телефонистка.— Разговор не окончен.

— Ничего не слышно,— ответил я.

— Все хорошо слышно,— сказала телефонистка.— А если вы глуховаты, позовите кого-нибудь с нормальным слухом.

Тут снова ворвался папин голос.

— Ничего он не глухой! — кричал папа.— Это ваш телефон работает плохо. Борис, ты слышишь меня, Боря...

— Папа,— обреченно сказал я,— я тебя слышу хорошо.

— Ну, что же ты купил маме?

— Ничего.

— Ничего? — удивился папа.— А почему ты, собственно, ничего не купил?

— Я... я... я... забыл,— сказал я.— То есть у меня нет денег.

— Как — нет? Ты их потерял?

Я хотел ему все объяснить, но по телефону это трудно.

— Ну, понимаешь... — Надо было как-то отделаться, и я сказал: — Проел на мороженое.

После этого наступила длинная пауза.

— Алло, алло! — кричал я в трубку.

Папа молчал.

— Теперь, кажется, вы оглохли,— ворвался голос телефонистки.— Он сказал, что проел деньги на мороженое.

— Я все слышал,— ответил папа.— Силен мужик! — и, не попрощавшись, повесил трубку.

После этого разговора у меня пропала всякая охота что-нибудь делать.

«Дьяволенок» снова был в действии. «Дьяволенок» — это я, это мое прозвище с детства, с первого класса. Я тогда надел папины темные очки и пошел в школу. Меня в них никто не узнавал, и мне это так понравилось, что я не пошел на урок, а гулял по коридорам. И догулялся. Ко мне подошла учительница из параллельного класса и спросила, почему я разгуливаю во время уроков. «Уж не заболел ли?» А я ей на чистом французском языке: «*Не нэ спа*», то есть не понимаю, прикинулся иностранцем. Ну, она отняла у меня очки, и я сразу все стал понимать. А папа прозвал меня дьяволенком, но, по-моему, я с тех пор здорово перезрел и стал настоящим дьяволом.

Хотя, если разобраться, я ни в чем не виноват. Но этого ведь никому не объяснишь. Вы же помните, я собирался купить маме подарок. Тому свидетельствует кровать, перекрашенная мною в синий цвет. С другой стороны, как выяснилось, не без помощи тети Оли меня назначили вожатым. А затем эти несчастные дети закружили меня, заморочили, отвадили от друзей, выманили деньги, которые отец оставил на подарок. Мало того, сначала разжалобили, прикинулись несчастными, вынудили меня подкинуть им решение контрольных примеров, а затем превратили в негодяя. А я ведь просто хотел их по-дружески выручить. Вот и «навыручил» на свою голову. И вдруг мне до ужаса стало жалко... не маму, нет! Не папу, не первоклашек, а себя самого! Никто меня не ценит, никто не понимает моих страданий.

А как легко и прекрасно я жил! Чтобы меня мучила бессонница, как вчера из-за этой контрольной? Чтобы я унижался перед какой-то пигалицей вроде Наташки?

Я был гордый человек. Я никому не позволял над собой издеваться. А теперь я чувствовал, что меня словно подменили. Вроде я тот самый, и нос на месте, и глаза те же, а внутри другой. Какой-то задумчивый, размышляю, казню себя. Так не долго дойти до полного нервного истощения, и прощай жизнь, прощай небо, прощай космос!

Нет, решил я, не сдамся! Я оделся и в прекрасном настроении направился в школу. Нет, пожалуй, не в прекрасном, а в хорошем, в таком хорошем умеренном настроении, когда все не так уж плохо.

* * *

В школе меня подстерегало очередное разочарование. Когда я шел по нашему коридору, то увидел Сашку и бросился к нему навстречу. Он проскочил мимо меня к Насте, стал извиваться перед ней и что-то там свистеть на своем флейтовом языке.

Они прошли в класс, не заметив меня. Кажется, настал час: мне пора было гордо удаляться.

А жаль! Так хорошо было, когда был Сашка и была Настя.

В тот момент, когда я вошел в класс, Настя вытащила из парты цветы. Ясно, чья это была работа. Она полюбовалась ими немного более, чем надо, и все ребята заметили, хотя у нее в

руке был совсем маленький жалкий букетик никому не известных цветов.

— Ребята, смотрите! — крикнул кто-то. — Насте преподнесли цветы!

А Настя встала, подошла к Сашке и сказала:

— Спасибо, Саша!

Она это сказала так выразительно и с такой душевной нежностью, что я чуть не упал на пол.

— Боже мой! — крикнул кто-то. — Никак, любовь!

— Кто жених, а кто невеста? — спросил какой-то запоздалый остряк.

— Александр Смолин и Анастасия Монахова, — ответили ему.

Да, кажется, меня уже гордо удалили, пока я сам собирался. Я прошел к своему месту и водворился рядом с Сашкой, не подымая глаз. Я видел только Сашкины руки, которые упорно открывали и закрывали футляр, и Настину руку, в которой все еще были зажаты цветы.

Но теперь ко мне это не имело никакого отношения.

Кто-то глухо хихикнул над Настей. Неужели Сашка не соби-
рался сознаваться в том, что это его цветы? Я шарахнул его изо
всех сил в бок.

Он посмотрел на меня и вытащил наконец флейту. Ну и вы-
держка! Он и не думал пугаться и отказываться от букета. Сей-
час он сыграет Насте какую-нибудь серенаду или свою знаме-
нитую пастораль под названием «Пастух играет аисту». Я при-
готовился слушать.

А он стал продувать флейту, дунул раз, другой, третий. Нет,
играть он не собирался.

— А я-то думала, — сказала Настя, — что Смолин не только
музыкант, но и вежливый человек. — Она разжала кулак, и цве-
ты упали на нашу парту.

Я перехватил ее взгляд: глаза у нее были как у побитой со-
баки. Жалкие, горькие и униженные.

— Подарил, а теперь отказывается! — выкрикнул девчоно-
чий голос. — Ну и тип!

— Ничего я не дарил! — вдруг заорал Сашка, размахивая
флейтой. — Я все деньги на мороженое проедаю!

— А кто же, интересно, подарил? — спросил кто-то.

— Откуда я знаю? — ответил Сашка. — Может быть, она сама себе подарила.

Все от Сашкиного неожиданного ответа даже язык прикусили. Такой находчивости и изобретательности я от него не ожидал. Вот так «молодец протухший огурец»!

А Настя, точно от удара в спину, втянула голову в плечи, и худенькие лопатки у нее торчали, как сложенные крылья.

У меня вдруг все заплесало перед глазами и гулко забилося сердце: в ушах, в горле, в голове. Я вскочил на парту и, не помня себя, закричал:

— Тихо, тихо, не возводите напраслину на благородного человека! Это не он подарил Насте цветы. — Теперь все смотрели на меня. — Это я!

Дальше я не совсем точно помню, что произошло, только я увидел, как Настя встала, подошла к нашей парте, собрала оброненные цветы и сказала:

— Спасибо, Збандуто.

Я хотел ответить что-то вроде «пожалуйста, всегда рад служить прекрасным дамам», но язык у меня присох к горлу, и вместо слов я издал какой-то победный клич и стал бешено и радостно прыгать на парте.

— Эй, ты что, сдурел? — крикнул Сашка. — Флейту раздавишь!

Он схватил меня за ногу и дернул, и я грохнулся вниз, больно ударив колено. Я бросился на Сашку, чтобы хорошенько отделать его, и двинул ему кулаком в помидорное лицо, но попал почему-то в воздух. Он громко и победно захохотал.

Правда, он хохотал один во всем классе. Сразу отпала всякая охота с ним драться. У меня твердое правило: лежачего не бить. А Сашка был лежачий, хотя он хохотал и корчил из себя героя.

А тут в дверях появились первоклассники Толя и Генка, и я забыл про Сашку.

— А, ребяткишки, привет! — сказал я.

Я обрадовался им, точно не видел их милые морды тысячу лет, точно они мне были самые близкие и родные, и незаметно для себя очутился вместе с ними в первом классе.

Я только тогда опомнился, когда увидел Наташку. Улыбнулся ей и подмигнул, а потом вспомнил про свои дела-проделки и скис, и нога заболела еще сильнее. Я с трудом оторвал взгляд от Наташки и спросил:

— Ну, как живете-поживаете?

— Хорошо поживаем! — крикнул Толя.

— На пятерочках катаемся... — подхватил Генка.

— Хвастун ты, Костилов, — перебил я его. — Вроде меня.

Видно, мое признание их поразило. Да что их — оно меня самого поразило. Теперь осталось преодолеть только бесконечное расстояние от учительского стола до дверей.

Около дверей я остановился, в последний раз посмотрел им в лица, не просто так скользнул взглядом, а заглянул каждому в глаза. Можете мне не верить, но в этот момент я был счастливым человеком. «Как это, — скажете вы, — говорил всем, что эти дети — твои лучшие друзья, и вдруг, расставаясь с ними, оказался счастливым человеком?»

А вот так.

* * *

В коридоре я увидел Сашку, который явно поджидал меня. Ну что ж, раз так, то пожалуйста, и пошел к нему. Я приблизился, и его лицо покрылось мраморной бледностью. В последний момент он не выдержал, повернулся и убежал.

В другой раз я бы его догнал — все-таки лучший друг, а друзья, как известно, в пыли на дороге не валяются, но сегодня я спешил к нашей новой старшей вожатой Вале Чижовой, чтобы рассказать ей все про себя, чтобы поставить последнюю точку. А там пусть со мной делают что хотят, пусть казнят или четвертуют, я все выдержу.

Она меня встретила весело. Она такая рыжая и хохотунья. Я ее давно знал: она из десятого «В». Но когда я закончил свою исповедь, она помрачнела и сказала:

— Что теперь делать с этим первым «А», не знаю. Ведь их через две недели должны принимать в октябрюта. А можно ли?

— Если их не примут, — возмутился я, — то кого же тогда принимать?

— Я думаю, тех, кто не списывал контрольные.

Я испугался, что из-за меня их не примут, и сказал:

— Они же маленькие.

— Разумеется.

— Они растерялись. Их запугали: «контрольная, контрольная».

— Может быть,— сказала она.

— А мне их стало жалко. Вот я и поддержал.

— «Поддержал», говоришь.— Она секунду помолчала, а потом сказала: — А я тебя помню, ты выступал в самодеятельности: играл собаку. Здорово лаял. У тебя фамилия еще такая смешная... Скандуто.

— Збандуто,— поправил я ее.

— Извини.

— Ничего, я привык.

— А потом ты потерял хвост, и мы долго смеялись. Я и теперь, когда вижу тебя, вспоминаю тот случай и смеюсь. Ты не обижайся.

— Я не обижаюсь.

— Слушай, а что, если я на свою ответственность тебя прощу?

Я промолчал, хотя мне ее предложение очень понравилось.

— Нет, пожалуй, так нельзя,— сказала она.— Ты иди, а я подумаю.

А я снова почувствовал себя счастливым и еще отчаянно храбрым. Зашел в первую телефонную будку и позвонил маме.

— Мама,— сказал я,— поздравляю тебя с днем рождения.

— А, это ты,— протянула мама и замолчала.

Было слышно, как там кто-то играл в мяч — в волейбол или баскетбол. У них телефон прямо в спортивном зале.

Я не дождался маминого ответа и стал ей сам рассказывать новости.

— Папа звонил. Только ты ушла. Тоже поздравлял. Он всю ночь ехал к телефону, а опоздал всего на пять минут. Расстроился. Я ему говорю: «Я все маме передам», а он ответил: «Я хотел сам, лично. Хотел услышать ее голос».

Она ничего на это не ответила, и я вообще подумал, что мама меня не слушает, если бы не звонкие удары мяча об пол, которые долетали до меня оттуда. Но мне все равно не хотелось с нею расставаться, и я сказал:

— Мама, у меня новость — я больше не вожатый. — Голос у меня был радостный, а в конце фразы я даже хихикнул.

Она совершенно не удивилась ни моему хихиканью, ни бодрости и не спросила, почему, — она никогда не задавала лишних вопросов, — а сказала:

— Да, да, Боря, я тебя слушаю.

— Понимаешь, я им подсказал на контрольной, решил за них примеры, и они почти все получили пятерки. А сегодня я во всем сознался. Правда, здорово?

— Да, да, Боря, — повторила она, — я тебя внимательно слушаю.

— Мама, а у тебя там во что играют?

— В ручной мяч, — ответила мама.

— А я думал, в баскет или в волейбол.

— Нет, в ручной мяч. — Она подумала минутку и сказала: — Хочешь, приходи.

Я оглянулся и увидел унылую фигуру Сашки. Он подпирал дерево.

— Спасибо, — ответил я, — в другой раз. У меня важное дело.

— Ну ладно, — сказала мама. — И тебе спасибо. Я думала, ты забыл про сегодняшний день. Ничего, конечно, страшного, но почему-то обидно. — И повесила трубку.

Я вышел из будки. Настроение у меня ухудшилось. Стало непривычно грустно. Мне бы сейчас поехать к маме, а я должен возиться с Сашкой. Помахал этому дураку рукой: иди, мол, ко мне, а он опять, как загнанный заяц, бросился в сторону. Только пятки мелькнули.

Тогда я решил устроить Сашке ловушку. Зашел для этого в универмаг и спрятался недалеко от двери. Стою, жду. И вдруг кто-то меня спросил:

— Мальчик, тебе что надо?

— Мне? — Я оглянулся и обалдел.

Представьте, на месте продавщицы в отделе женских шляп стояла наша бывшая старшая вожатая Нина.

— Здравствуй, Эбандуто, — сказала она. — Удивлен?

— Удивлен, — ответил я.

А я и правда был удивлен.

— Не хотите ли купить женскую шляпу? — спросила опа.

— Хочу, — принял я ее игру, — для мамы. Тем более, у нее сегодня день рождения.

— А какой у нее размер головы?

— Естественно, как у меня.

Нина смерила сантиметром голову, взяла какую-то шляпку и напялила на меня. Я посмотрел в зеркало: на моей голове вышпалась какая-то дурацкая шляпа, какой-то самовар с трубой.

Мы оба рассмеялись.

— Между прочим, — сказала она, снимая с меня шляпу, — это смех сквозь слезы. Представляешь, некоторые женщины покупают эти трубы и носят... Ну, рассказывай, как там у нас... — она смешалась, — у вас.

— По-старому. Теперь вместо тебя Валька Чижова, из десятого.

— Знаю — Чижик. А твои малыши как?

— Ничего, растут. Зина Стрельцова заняла первое место в вольном стиле. А Лешка Шустов поступил в кружок по рисованию. Это новенький, ты его не знаешь. Не хотели его брать, говорят, мал, но я настоял... Только я ушел от них.

— Ушел?.. У тебя же призвание. Это я тебе говорю.

— Ничего не поделаешь. Я и сам о них скучаю. Не хватает мне их. Но не имею права... Помнишь контрольную, когда я заменял у них учительницу? Так эти примеры я за них решил.

— Честное слово, ты неуправляемый снаряд! Совершенно неизвестно, в какой момент взорвешься, — сказала она своим прежним тоном. — Ты извини, я по дружбе, теперь это меня не касается.

— Я сегодня решил начать новую жизнь, — сказал я. — Никогда не буду врать.

— Все мы начинаем новую жизнь, — ответила она. — Что там про меня судачат?

— Не знаю, — ответил я. — А что должны про тебя «судачить»?

Нина внимательно посмотрела на меня:

— Неужели ты ничего не слышал?

Я ответил, что нет. Я действительно ничего не слышал, а если бы слышал, разве стал бы так притворяться?

— Да, ты всегда был чудаком,— сказала она.— Это хорошо. Когда ты станешь управляемым, тебе цены не будет.

Я на всякий случай усмехнулся, потому что не разобрал, шутит она или говорит серьезно. Раньше она все говорила только серьезно и торжественно, а сейчас она мне понравилась. Оказалось, она умела шутить, и видно было, что она мне рада.

— Знаешь, почему я ушла из школы? Из-за любви без взаимности. К одному учителю. Не скажу, к какому...

И не надо, подумал я, потому что вспомнил, как она рисовала мужчину с бородой. А у нас в школе бородатый всего один.

— Страшная штука любовь,— поддержал я ее.— Чего только люди ради нее не делают! Даже Пушкин из-за любви стрелялся на пистолетах.

— Что ты несешь, Збандуто? При чем тут Пушкин? — сказала Нина.— Там были социальные причины.

— Я сам читал,— сказал я виновато,— не по программе.

— А он на меня никакого внимания. Ночи не спала. Стихи сочиняла. Однажды не выдержала, пришла к нему домой и во всем созналась. А он говорит: «Это пройдет»,— и угостил меня пирожным. Все привыкли, будто для меня самое главное еда. Колобок да Колобок. Ну, я съела пирожное и ушла. А на следующий день встретила его с какой-то дамой. Я когда увидела их вместе, у меня голова кругом пошла.

— Это от ревности,— сказал я.

И поискал глазами Сашку. Его нигде не было.

От волнения Нина из шляпы, которую я примерял, сделала гармошку, вот-вот она должна была на ней заиграть что-нибудь печальное. Я вырвал шляпу у нее из рук, расправил и отдал обратно. Она поставила ее на место и успокоилась.

— Ну, до свиданья, Збандуто,— сказала Нина.— Заходи. Не забывай. Ребятам привет. Я ведь, знаешь, в нашей школе провела всю свою жизнь. У меня мама еще работала старшей вожакой, и я к ней прибегала с четырех лет. Так что я там пробыла целых шестнадцать лет... А если хочешь купить своей маме хороший подарок, пойди в бижутерию и купи ей брошку. Женщины любят украшения.

— Спасибо за совет,— ответил я,— но у меня кончился капитал. Отец оставил десятку, а я истратил.

Она полезла в карман форменного платья — она была похожа в этом платье на стюардессу, — и тут я догадался, что с нею произошло. Из толстухи, из колобка, она превратилась в худенькую, стройную девчонку. Вот что значит любовь и страдания. А тем временем она вытащила из кармана два рубля и сказала:

— Купишь маме цветы.

— Да что ты! — возмутился я. — Не возьму.

— Брось дурака валять, Збандуто, — сказала она своим прежним тоном. — Бери. А будут деньги, вернешь.

Когда я вышел из магазина, Сашки уже не было. Я его нашел дома. Он сидел в полном одиночестве и, не стесняясь, плакал.

Он пошел к Насте, чтобы помириться, а ему сказали, что она улетела на Дальний Восток. Неожиданно приехал ее отец и забрал ее с собой.

— Плачь не плачь, — сказал я, — а она уже на другом конце земли.

— Но у меня есть адрес, — сказал Сашка. — Я могу ей написать письмо. Если она захочет, я расскажу правду всем ребятам. — И с грустью добавил: — Я предатель. Вот что меня убивает.

— Это кого хочешь убьет.

Сашка помолчал-помолчал, а потом с обидой в голосе ответил:

— Тоже друг, не можешь даже успокоить!

— Не могу я тебя успокаивать, — сказал я. — Я сам подлец и предатель.

И я рассказал Сашке про контрольную в первом классе, и про Наташку, и про то, как я размотал десять рублей, и про мамин забытый день рождения.

— Про первоклашек — это ерунда, — сказал Сашка. — Плевать тебе на них.

— Это ты зря. Их обманывать нельзя. Они всему верят.

— Все равно они научатся врать, — упрямо сказал Сашка. — Все люди врут, особенно в детстве.

— Нет, не научатся. Эти не будут врать. А если кое-кто из них соврет, то мне бы не хотелось к этому прикладывать руку.

— Ну, а как же нам теперь дальше жить? — спросил Сашка. — Придумай что-нибудь, ты же умеешь.

— Можно дать клятву, что мы больше никогда не будем предателями.

— Давай клятву или не давай, — сказал Сашка, — а старого не воротишь.

Мы вспомнили обо всех своих неприятностях, и нам расхотелось давать клятву.

За окнами темнело, а затем эта темнота проникла в комнату.

Зазвонил телефон. Это была моя мама. Вдвоем с тетей Олей они ждали меня на именинный пирог!

— Пошли, — сказал я, — у нас именинный пирог.

Мы вышли на улицу, и нам сразу стало лучше. Горели огни, сновали и толкались люди. Шел мелкий дождь: такая зима стояла.

Мы купили маме цветы на Нинины деньги и понесли есть именинный пирог.

* * *

Несколько дней прошло в полном затишье. К первоклассникам не ходил, но они прибегали ко мне чаще, чем раньше. Все, кроме Наташки. Каждую перемену по несколько человек.

Только теперь в нашем классе никто надо мной не смеялся. Я думаю, что некоторые из наших даже завидовали, что эти дети так ко мне привязались. А тут на одной из перемен ко мне пришел новичок, Леша Шустов, принес в подарок пиро́гу, слепленную из пластилина, и в ней сидело двадцать пять индейцев с перьями на голове и серьгами в ушах и носу. Двадцать четыре человека сидели на веслах и один был рулевой. Крохотные такие фигурки, непонятно, как он их слепил.

Забавный он парень, сосредоточенный и молчаливый.

Я с ним познакомился недавно. Как-то зашел в первый класс, по привычке, и наварлся на него.

— А чего ты здесь сидишь? — спросил я его.

— Леплю, — ответил он. — Дома ругаются, что я все пачкаю.

Честно говоря, меня это возмутило. Что ж, они не понимают, что ему охота лепить?

— А кто ругается? — спросил я.

— Бабушка, известно кто, — ответил он. — Говорит, лучше делом займись. Читай или уроки делай.

— Складывай книги! — приказал я. — Пойдем к твоей бабушке.

— Нет, — сказал он, — я лучше здесь. Не люблю я, когда она меня пилит. — Потом внимательно посмотрел на меня и спросил: — А ты кто?.. Боря?

— Да, — признался я.

И тут он без слов быстро стал закидывать в портфель книги и тетради и уронил кусок пластилина на пол, раздавил его и виновато посмотрел на меня.

— Вот всегда у меня так, — сказал он.

— Ничего, — приободрил я Лешу. — В большом деле у всех бывают накладки.

Хороший он паренек оказался, и бабушка тоже ничего. Только они друг друга не всегда понимали.

Все наши набросились и стали рассматривать эту пиро́гу и удивляться. А Лешка от смущения убежал. А тут, кстати, появилась старшая вожатая Валя Чижова, взяла пирогу в руки и сказала:

— Да он талантище! Збандуто, ты должен отвести его во Дворец пионеров. Его надо учить.

Потом, уже на ходу, так, между прочим, бросила:

— Да, с тобой все решили. Зайди ко мне, расскажу, — и убежала.

Только я вскочил, чтобы бежать за Валею и узнать, что там со мной решили, как ворвались Толя и Генка и сказали, что Наташку увезли в больницу.

У меня прямо все похолодело внутри.

— У нее заболел живот, и ее увезли, — сказал Генка. — «Скорая» приезжала.

Я побежал в учительскую. Я бежал так быстро, что Генка и Толя отстали от меня. Когда я вышел из учительской, весь первый «А» стоял около дверей.

— У нее аппендицит. Ей сейчас делают операцию. Через

два часа я пойду в больницу,— сказал я.— Кто хочет, может пойти со мной.

Потом я побежал вниз и из автомата позвонил Наташкиной бабушке и соврал ей, что Наташка задержалась в школе. Не мог же я сказать, что Наташке вот сейчас делают операцию.

Когда я вышел после занятий на улицу, то у школьного подъезда меня ждал весь класс. Даже Зина Стрельцова.

— У матерей отпросились? — спросил я.

Они закивали головами.

— Мне мама велела,— ответил Генка,— чтобы я не приходил домой, пока все не закончится.

— А моя мама сказала, что сейчас аппендицит не опасная операция,— сказал Гога.

— «Не опасная»! — возмутился Толя.— Живот разрезают. Думаешь, не больно?

Все сразу замолчали.

Ребята остались во дворе больницы, а я пошел в приемный покой.

Оказалось, мы пришли не в положенное время и узнать что-нибудь было не так просто. Какая-то женщина пообещала узнать, ушла и не вернулась.

Потом появился мужчина в белом халате и в белом колпаке. Вид у него был усталый. Может быть, это был хирург, который делал Наташке операцию?

— Здравствуйте,— сказал я, когда перехватил его взгляд.

— Здравствуй,— ответил он.— А чего ты здесь, собственно, ждешь?

— Одной девочке делали операцию, а я пришел узнать.

— Ты ее брат?

— Нет,— сказал я,— вожатый.

— А, значит, служебная необходимость. Понятно.

— Нет, я так просто,— сказал я.— Да я не один.

Я показал ему на окно. Там во дворе на скамейках сидели мои малыши.

Они сжались в комочки и болтали ногами. Издали они были похожи на воробьев, усевшихся на проводах.

— Весь класс, что ли? — удивился хирург.

Я кивнул.



— А как девочку зовут?

— Наташа,— ответил я.— Маленькая такая, с косичками. Ее отец тоже хирург. Только он сейчас в Африке. Может, встречали. Морозов его фамилия.

— Морозов? Нет, не знаю. Впрочем, это неважно. Подожди...— И пошел наверх.

А я разволновался до ужаса. Я, когда волнуюсь, зеваю и не могу сидеть на месте: хожу и хожу. Зря я не запретил Наташке ездить на пузе по перилам лестницы. Ведь из-за этого все и получилось. Она съехала на пузе и не смогла разогнуться.

Я знал, что Наташка любит так ездить, и не ругал ее. Ругать ее было глупо, потому что я сам так катаюсь. А у меня железное правило: никогда не ругать детей за то, что сам не прочь сделать. Сначала сам избавься, а потом других грызи. А теперь я себя во всем винил.

Наконец появился хирург.

— Можете спокойно отправляться домой,— сказал он.— Я только что видел вашу подружку. Она хорошо перенесла операцию. Завтра приходите и приносите ей апельсины и сок.

Он улыбнулся и подмигнул мне. «Чудак какой-то в белом колпаке,— подумал я.— Чудак. Распрекрасный чудак». В ответ я ему тоже подмигнул. Иногда такое подмигивание действует посильнее слов.

Хирург посмотрел на меня и захохотал.

— Что-то у меня сегодня хорошее настроение. От души рад с вами познакомиться, Борис...— он замялся,— с какой-то невозможно сложной фамилией.

— Збандуто,— сказал я.

Ух, как я обрадовался! От радости я еле сдержался, чтобы не броситься ему на шею. До чего мне была дорога эта глазастая Наташка! Значит, она ему сказала про меня, значит, он с нею разговаривал.

Я выскочил во двор, чтобы обрадовать малышей. Они повскакали со своих мест, как только увидели меня, и я им все рассказал.

— Она во время операции даже ни разу не крикнула,— сказал я.

Хирург мне этого не говорил, но я-то хорошо знал Наташку.

— Вот это да! — сказал Генка. — Вот это сила!

Остальные ничего не сказали. Не знаю, о чем они там думали, но только мне нравилось, что они такие сдержанные.

И еще мне нравилось, что они у меня «один за всех и все за одного». Именно так и надо будет жить в двадцать первом веке. А когда их спросят, откуда они такие появились, то, может быть, они ответят, что жил среди них некто Эбандуто, который предчувствовал двадцать первый век и воспитал их.

Дети окружили меня плотным кольцом, и мы двинулись по улице.

И тут я увидел тетю Олю. Она вышла из магазина своей стремительной, будто летящей походкой. Я бросился следом за нею, расталкивая и обегая встречный поток людей, но она, раньше чем я добежал, села в троллейбус, на секунду мелькнул ее профиль, и она ускользнула от меня вдаль.

Правда, мне было достаточно и этой мгновенной встречи, потому что я вспомнил, что именно благодаря тете Оле я иду среди этих детей и живу жизнью, которая сделала меня счастливым.

ЖЕНИТЬБА ДЯДИ ШУРЫ

Слово надо беречь, ибо оно свято, оно способно выражать мысль. Человек, который говорит,— творец. Поэтому никогда не надо болтать. Болтовня унижает слово.

Самая большая удача — это встреча с хорошим человеком, который может тебя поразить словом или делом.

Однако жизнь все же прекрасна, и надо идти вперед...

Из высказываний тети Оли.

В тот день, когда началась эта незабываемая история, я увидел ее, эту женщину, еще неизвестную мне, и нечаянно толкнул.

Я бежал, торопился. У меня всегда так: если я принимаю участие в деле, которое мне нравится, то после этого я долго не могу успокоиться и меня подмывает перейти на бег... Это было связано с нашим математиком. Он у нас большой сухарь и педант. Жестокий человек. Никому никогда не поставил пятерки. Сказал, что в нашем классе на пятерку знает только он! Может быть, кто-нибудь заслуживает четверки, а остальные тянут на трояк. А тут пришел, стал вызывать всех подряд и выставл... девять пятерок! И тогда все, совершенно потрясенные, спросили его, что с ним случилось. Он встал, откашлялся и сказал: «Можете меня поздравить... У меня родился сын...»

А через несколько дней мы пошли всем классом к родильному дому вместе с математиком, и, когда его жена с сыном на руках вышла из дверей приемного покоя, мы закричали:

— Ура-а-а!

Она от этого чуть не упала, так растрогалась, но математик оказался ловким: подскочил и поддержал ее.

Потом девочкам по очереди дали поддержать новорожденного. А из ребят я вызвался. Я даже не увидел его лица, оно было прикрыто, но сверток был теплый, и я потом долго чувствовал это живое тепло на своих ладонях.

Естественно, что после этого я был возбужден и наскочил на нее, на эту женщину. И толкнул. Но она меня не обругала, а только нахмурилась.

Кстати, эта история чем-то похожа на первую. Может быть, потому, что в ней действуют тоже собаки? Но прежде чем рассказать ее, я должен сообщить вам о некоторых изменениях в моей жизни.

Наш дом на Арбате снесли, и мы перебрались на край московской земли — в Измайлово. Вместе с нами сюда переехали Морозовы, Наташка со своим отцом — дядей Шурой. Он наконец вернулся из Африки. Именно благодаря его стараниям им дали квартиру на одной площадке с нами.

Итак, мы стали соседями.

Казалось бы, все прекрасно, но я скучаю по арбатским переулкам и по нашему старому, ветхому дому, которого теперь уже нет на свете, и по школе, и по бывшим первоклассникам.

А что делать, если в жизни так часто приходится расставаться?

Тетя Оля говорит, что надо по-прежнему заниматься своими делами, только часть сердца нужно оставлять тем людям, которых ты любил.

А может быть, я так сильно скучал потому, что никак не мог привыкнуть к новой школе и новым ребятам. Хотя вначале я подружился с одним. Он был такой молчаливый и держался особняком. Я сам к нему подошел. Худенький, небольшого роста, за стеклами очков — круглые глаза. От этого у него было милое птичье лицо.

Он сказал, что его зовут Колькой-графологом.

— Это что, фамилия такая? — удивился я.

— Не фамилия, чудак, — ответил он. — Просто я графолог. По почерку отгадываю характер. Вот напиши что-нибудь, а я отгадаю.

Я написал, а он много хорошего про меня наговорил: и что я добрый, и парень не дурак, и смелый, и наблюдательный, и натура у меня тонкая. После этого я здорово перед ним преклонялся некоторое время, но это особый разговор.

И еще скучал из-за улиц. У нас на Арбате толпы снующих людей и жизнь бурлит, а тут прохожих можно пересчитать по пальцам. Взрослым это нравится, а мне нет. Они говорят — это успокаивает.

«Ты закоренелый урбанист,— сказал дядя Шура,— сторонник современной городской жизни».

Действительно, выходило, я урбанист. Ведь другой жизни я не знал и тишина у меня вызывала скуку.

Итак, в новом доме мы жили по соседству с Наташей и дядей Шурой. Заметьте, это немаловажный факт для нашей истории.

Наташку вы знаете, она мало изменилась за год. Только раньше она жила вдвоем с бабушкой, а теперь вдвоем с отцом: бабушка ее уехала к другой внучке.

После возвращения дяди Шуры прошло уже полгода, но Наташка все еще не отходит от него ни на шаг, как будто он только вчера вернулся. Она, пока его ждет с работы, десять раз позвонит по телефону.

А про дядю Шуру я вам сейчас все выложу.

Во-первых, внешне он совсем не похож на человека, которого так уж необходимо было отправлять в Африку. Я даже разочаровался, когда впервые увидел его. Он небольшого роста, моему отцу едва достает до плеча, щуплый и кривоногий.

Потом я к нему привык. Он оказался презабавным и странным типом. А мне странные люди всегда нравились, потому что интересно, а чего это они такие странные.

«Ты следи, следи за странными людьми,— говорит мне тетя Оля.— В них есть какая-то убежденность, тайная сила и знание жизни».

Бывало, сидим целый вечер вместе. Беседуем, потом он провозжает меня, как лучшего друга, до дверей. А на другое утро встретимся в лифте,— он почти не узнает меня. Едва кивнет головой и сухо: «Здравствуй!»

И еще у него одна странность: он не любит рассказывать о своей работе. Однажды я попросил его: «Дядя Шура, расскажи-

те о какой-нибудь сложной операции». — «О сложной операции? — Он весь искривился, скорчил немыслимую рожу и ответил: — Что-то не припомню».

А вообще он большой шутник. С ним легко и просто. Например, когда мы были в Зоопарке, там произошло с ним сразу три смешных случая.

Первый — когда Наташка каталась на пони. Она погнала своего пони, наскочила на коляску впереди, и образовался затор. К Наташке подбежала служащая, схватила ее, закричала: «Чья это девочка?» Я посмотрел на дядю Шуру, он стоял с невозмутимым видом, будто Наташка к нему никакого отношения не имела. А та вырвалась из рук служащей и убежала. Проводив ее взглядом, дядя Шура кивнул мне, и мы ушли.

Второй — когда мы стояли около обезьян. Наташка показала обезьянам язык, и дядя Шура, несмотря на свой почтенный возраст, тоже показал язык. Если кому-нибудь рассказать про это, скажут: ну и глупо, серьезный человек, и вдруг — язык. Но это было не глупо, а весело.

И третий, — уже в конце, когда мы вышли на улицу. К дяде Шуре подскочил никому не известный мальчишка-толстячок и поздоровался. Дядя Шура посмотрел на него и не узнал. А следом за мальчишкой подошла женщина, его мать, и вежливо, очень почтительно поклонилась дяде Шуре. Оказалось, дядя Шура оперировал этого мальчишку. Ну конечно, стал выяснять, как мальчишка себя чувствует, извинился, что не сразу его узнал. А мальчишка, вместо того чтобы отвечать на вопросы дяди Шуры, сказал, что умеет шевелить ушами. Его мама захохла: «Как нехорошо, что ты говоришь, лучше поблагодари доктора за операцию!..» — «Нет, нет, — перебил ее дядя Шура, — пусть шевелит. Это очень важно». Ну, мальчишка хотел нам показать, как он шевелит ушами, а у него ничего не вышло. И тогда дядя Шура сказал: «Не унывай, тебе просто надо больше тренироваться», — и прекрасно продемонстрировал, как надо шевелить ушами. Они у него ходуном заходили.

Он артист корчить рожи. Умеет еще двигать кончиком носа, трясти щеками. И все это одновременно. Представляете?

Наташка сказала, что он специально этому учился у циркового клоуна, чтобы смешить детей перед операцией.

Ну, и вот, значит, в лифте он меня почти не узнавал. Но однажды его все-таки проняло, и он вдруг без всякой подготовки сказал:

«Трудно представить, что у меня в руках бывает человеческое сердце.— Он вытянул руку, словно у него на ладони действительно лежало чье-то сердце.— Оно с кулачок и трясется, как овечий хвостик...» Он грустно улыбнулся и, не попрощавшись, ушел, словно снова забыл про меня...

У Наташки появилась собака по кличке «Малыш». Она возникла по моему предложению. Я решил, что Наташке надо преодолеть свой вечный страх перед собаками. Дядя Шура со мной согласился и привел Малыша.

Именно из-за него, из-за Малыша, и разгорелся весь этот пожар, который мне с трудом удалось погасить.

Неужели я опять хвастаю, как когда-то? Нет, не думаю. Помните, тетя Оля говорила: «Неистребим дух хвастуна!» Должен вас огорчить: она оказалась права. Истребим, истребим дух хвастуна, да еще как! Впрочем, в этом вы вскоре убедитесь сами.

Незадолго до этой истории произошло еще одно событие: я впервые зажил самостоятельной жизнью. Мои родители уехали отдыхать на Черное море на целых два месяца. Собственно, они не собирались оставлять меня одного, на время их отпуска к нам должна была вселиться тетя Оля, но она в последний момент заболела. И меня «взвалили» на плечи дяди Шуры. Нет, пожалуй, это не совсем точно: не меня «взвалили» на его плечи, а его на мои.

Началась эта история незаметно, без всякой подготовки.

Впрочем, некоторая подготовка была, только тогда я ее не заметил, хотя Колька-графолог, изучив мой почерк, назвал меня наблюдательным. Во-первых, когда мы в последний раз были в Зоопарке, дядя Шура был очень возбужден, все время кому-то трезвонил по телефону-автомату, потом купил нам с Наташкой мороженое и отправил одних домой. А на следующий день позвонил мне с работы, сказал, что задерживается, что у него срочная операция и чтобы я пошел к Наташке, а то ей одной скучно. В конце разговора он как-то помялся, непривычно кашлянул и произнес: «Да, у меня к тебе еще одно дело... Если мне

будут звонить... передай, что у меня все в порядке и завтра я свободен».

Так что нельзя сказать, что эта история началась внезапно. Но никого в этот день не убили и никто, слава богу, не умер. И погода была самая обыкновенная: хорошая осенняя погода семидесятых годов незабываемого телевизионно-космического века.

В этот день, как всегда, возвращаясь из школы, я купил две бутылки молока: одну для себя, другую для Наташки.

Когда я подошел к Наташкиной двери, чтобы отдать ей молоко, то услышал, что у них играет музыка. Я позвонил, а сам стал открывать свою квартиру.

Вот тут-то все и началось!

За моей спиной распахнулась дверь: музыка зазвучала громче, ее захлестнул тонкий щенячий лай, и передо мной предстала Наташка в совершенно необычном виде. На ней было белое нарядное платье и праздничный бант, к тому же она была таинственная, хотя ей это давалось с трудом.

— Малыш,— гневно приказала она собаке,— молчать!

Но Малышу безразличны были ее приказы: ему и море по колено.

— Что случилось? — спросил я.— По какому случаю такой «машкерад»?

— А у нас... свадьба! — с восторгом открыла свою тайну Наташка.

Эти маленькие любят играть в свадьбы. Как будто это самое интересное занятие в мире.

— Кто же твой жених? — спросил я, перед тем как скрыться за дверью.

— У нас настоящая свадьба,— ответила Наташка.— Папа женится.

— Женится?! — переспросил я и замер в ожидании продолжения сногшибательных новостей.

— Теперь у меня тоже будет мама,— не унималась Наташка.— Я ее уже полюбила. Это она играет на виолончели.— Слово «виолончель» она выговорила с трудом.

— Значит, она к тому же музыкантша,— с деланным испугом сказал я.— Здорово вам повезло. Весело будете жить.

— Идем, я тебе ее покажу.

Она потянула меня за руку, а я притворился, что не хочу идти, но на всякий случай сунул портфель и свое молоко за дверь и прикрыл ее.

Музыка в комнате оборвалась, и на площадку вышел сам жених — дядя Шура. Он радостно-смущенно улыбнулся: растянул рот до ушей. Не каждый может растянуть так рот!

Одет дядя Шура был во все новое: в новый костюм, в новый галстук и даже в новые ботинки. А из кармана пиджака торчал красивый цветной платок!

Настоящая картинка, видно, давно готовился. А молчал.

«Интересно было бы посмотреть на его невесту,— подумал я.— Позовет или не позовет?»

— Здравствуйте, дядя Шура,— проникновенно произнес я.— Поздравляю вас!

— Спасибо,— ответил дядя Шура.

Но с места не сдвинулся, стоял на моей дороге, как неприступная крепость.

Неожиданно ко мне пришел на помощь Малыш: он с чувством лизнул новый ботинок дяди Шуры.

— Ты что делаешь,— возмутился я,— портишь свадебные ботинки!

— Да... брат... вот так,— растягивая слова, задумчиво произнес дядя Шура.— Сколько веревочке ни виться, а концу быть. Заходи — гостем будешь.

— С удовольствием,— ответил я.

Первым полетел по коридору Малыш. За ним — Наташка. За нею — невыдержавший моей степенной походки дядя Шура. И последним, подхватив забытую всеми бутылку молока, едва сдерживая любопытство, шагал я.

Было интересно, кого я сейчас увижу! Я даже разволновался. Я всегда волнуюсь перед открытием. А это ведь открытие — увидеть нового человека.

Тетя Оля говаривала, бывало: «Самая большая удача — это встреча с хорошим человеком, который может тебя поразить словом или делом».

У меня, например, был один знакомый мальчишка, который меня поражал и «словом» и «делом». Он каждый день ходил на

вокзал. Ему нравилось встречать чужие поезда, а потом он обязательно приставал к кому-нибудь и помогал поднести вещи. Когда ему предлагали за услугу деньги или, например, мороженое, он смеялся и убегал. Некоторые над ним издевались: на кино денег нет, а на вокзале отказывается. А я ему завидовал, этой его страсти. Мне казалось, он знает какую-то тайну, которая делает его всегда счастливым. Я даже ходил на вокзал и тоже помогал таскать вещи, только радости особой мне это не приносило.

И вот я ее увидел!

Представляете, она оказалась той самой женщиной, которую я толкнул на улице.

Я часто помню людей, которых я когда-нибудь, пусть даже случайно, встретил. Я потом такого прохожего могу долго вспоминать и думать про него. И о ней я тоже вспоминал, но сейчас меня поразило не то, что именно она оказалась невестой дяди Шуры, а ее красота. Она была настоящей красавицей! Точнее, сначала я увидел ее спину, потому что она закончила игру и ставила свою виолончель в уголок, к стене. Потом она повернулась ко мне, и я просто обалдел!

Она была в синем платье, с двумя гвоздиками, белой и красной, приколотыми к груди. Волосы у нее были черные. И длинные черные глаза: они тянулись от переносицы до виска. Но и это не самое большое открытие, у многих бывают красивые глаза. У нее в глазах, вокруг зрачков, были лепестки цветов. Когда я потом рассказывал об этом маме, она смеялась, но я точно знаю, что так оно и было.

— Здравсте! — сказал я.

Она протянула мне руку и крепко сжала. И я заметил эту странную особенность ее глаз. Я стоял спиной к окну, а она лицом, и мне все прекрасно было видно: вокруг зрачков у нее образовались лепестки цветов.

— Здравствуй, — сказала она. — Меня зовут Надежда Васильевна.

— Поздравляю вас со свадьбой, — сказал я.

— Он мне и Малышу каждый день покупает молоко, — сказала Наташка, желая представить меня в лучшем свете.

— Вот! — Я показал бутылку, которую до сих пор держал в

руке; при этом я так вертел ею, как будто собирался жонглировать.

Надежда Васильевна забрала у меня бутылку и передала Наташке.

— Отнеси на кухню,— попросила она.

Наташка бросилась выполнять поручение Надежды Васильевны, но тут же вернулась и спросила у меня:

— Она тебе нравится?

— Очень,— ответил я.

Не знаю, что там показалось, но они, дядя Шура и его невеста Надежда Васильевна, рассмеялись.

Я давно заметил, что взрослым часто бывает смешно, когда совсем нечего смеяться. Как-то я сказал об этом дяде Шуру. А он мне ответил:

«Говорят, человек меняется каждые семь лет, и то, что в детстве ему кажется смешным, в преклонном возрасте не смешит, и наоборот».

Честно говоря, я бы хотел сохранить свой характер. Он мне определенно нравился. У меня веселый нрав — я весельчак. Зачем же мне менять свой характер, скажите на милость?

В общем, в ответ на мои бескорыстные слова они рассмеялись, но я не обиделся. Раз смеются — значит, счастливы.

Правда, дяде Шуру и этого показалось мало. Он решил продолжить веселье и приложил к моему лбу ладонь.

— Я не болен,— сказал я.

— Здесь совсем другое,— ответил дядя Шура.— Посмотри мне в глаза.

Я посмотрел: нет, у него в глазах не было никаких лепестков.

— Неизлечимое,— сказал дядя Шура.— Фантазер и мечтатель. В общем, сочинитель сказок.

— А я, а я? — потребовала Наташка.

Дядя Шура опустил ладонь на Наташкин лоб, заглянул ей в глаза и задумался.

— Решительная особа,— сказал он наконец.— И большая любительница мороженого.

— А она? — Наташка показала на Надежду Васильевну.

Дядя Шура повернулся к Надежде Васильевне и вновь повторил все свои манипуляции.

Тут следует заметить, что смотрел он ей в глаза несколько дольше, чем нам с Наташкой. Конечно, от таких глаз нелегко оторваться.

— Добрейшее существо,— сказал он,— но умеет ловко это скрывать... А теперь начнем пир.

— Начнем! — воинственно завопила Наташка и убежала, чтобы отнести наконец бутылку с молоком.

Следом за нею улетел Малыш.

— Спасибо,— неестественным голосом сказал я.— Мне уроки надо делать.

Конечно, мои слова были курам на смех: отказываться от свадебного пира из-за уроков, как будто я только и делаю, что хожу по свадьбам,— но было неудобно навязывать себя.

— Смотри, какие у нас торты, салаты, бутерброды,— соблазнил меня дядя Шура.— Ты что, хочешь нас обидеть?

— Нет,— радостно ответил я и торопливо сел за стол.

— Наташа,— приказал дядя Шура,— прибор Борису!

Вбежала Наташка, у которой в ногах путался обезумевший Малыш.

Она принесла мне тарелку, вилку и нож и поставила передо мной замечательный хрустальный бокал. Когда она ставила его на стол, то он зазвенел редким звоном.

Наступила торжественная тишина.

Дядя Шура взял шампанское и открыл его. Оно стало пениться и вырываться из бутылки.

Надежда Васильевна отодвинулась, чтобы спасти платье, и уронила свой бокал. Замечательный хрустальный бокал с редким звоном!

Вот тут-то и началась по-настоящему эта история, вот тут-то и вспыхнул небольшой костер, который потом разгорелся в неистовый пожар, способный уничтожить все, и который мне удалось погасить.

Я знаю, я уже говорил об этом. Но, чтобы у вас в голове хорошенько отпечаталась эта история, чтобы вы потом не повторили моих глупостей и не принимали поспешных решений, напоминаю вам об этом. И себе, разумеется, тоже. Век живи, век учись.

Тетя Оля любит говорить: «Если ты хочешь, чтобы тебя по-

няли, повтори главную свою мысль в начале рассказа, в середине и в конце».

По-моему, очень правильные слова.

Значит, хрустальный замечательный бокал стал падать, описывая плавную дугу.

Дядя Шура сделал невероятно судорожное движение, чтобы спасти бокал, но это ему, конечно, не удалось. Он ведь не фокусник и не волшебник, а только хирург, к тому же в одной руке он по-прежнему держал шампанское.

Бокал, естественно, достиг пола и разбился, а следом за ним на полу оказался дядя Шура.

Может быть, он упал нарочно, чтобы посмешить публику? А может быть, просто не удержался на стуле? Во всяком случае, он рассмеялся, а за ним рассмеялся и я. В конце концов бокал — это только бокал, даже если он замечательный, хрустальный, с редким звоном.

Мы смеялись, надеясь развеселить и увлечь остальных, но увлекли только Малыша. Он начал отчаянно лаять.

— Жалко, — сказала Надежда Васильевна, села на корточки и стала собирать осколки.

— Это мамин бокал, — вдруг тихо, но внятно произнесла Наташка. И сразу оборвала наш смех.

— Что ты выдумала, — неуверенно возразил дядя Шура.

И всем стало понятно, что это на самом деле был бокал Наташкиной мамы.

— Ты сам говорил, — повторила Наташка. — На нем была царапина.

Надежда Васильевна, подобрав осколки, вышла.

Дядя Шура ничего не ответил Наташке, достал новый бокал и поставил перед Надеждой Васильевной.

Свадьба продолжалась, но это была уже чуть-чуть не та свадьба.

Дядя Шура стал разливать шампанское. При этом он изображал, что ничего особенного не произошло, но по движениям его рук, по суете, по неуверенно-торжественному голосу видно было, что история эта ему неприятна.

Наконец шампанское было разлито, и вновь наступила тишина.

И я услышал «легкий шелест их новой жизни», предчувствие чего-то очень хорошего. «А впереди у вас будет то-то и то-то, то-то и то-то»,— сказала бы тетя Оля и наговорила бы впрок много хорошего и заманчивого, чтобы им захотелось всего этого терпеливо ждать. Именно это она и называла «легким шелестом новой жизни». Правда, тетя Оля никогда не предупреждала о том, что в жизни человека может быть и плохое, и трудное. И это была ее ошибка, но такой она была человек.

Дядя Шура молча посмотрел на Надежду Васильевну, и, кроме радости, у него в глазах была затаенная грусть.

Тогда я этого не понимал, как может быть грустно, когда радость. Но теперь-то я знаю, что все в жизни соединяется: радость по настоящему и грусть по прошедшему. Получается какая-то горьковатая радость.

И вдруг дядя Шура повернулся ко мне и спросил:

— А что по этому случаю сказала бы наша знаменитая тетя Оля?

— Это Борина тетя,— объяснила Наташка Надежде Васильевне.— Она все-все знает.

— Она бы сказала...— От страха перед этой красавицей у меня из головы все вылетело. Я зачем-то встал и от смущения покраснел.— Она бы сказала...

— ...что жизнь все-таки прекрасна,— вдруг сказала Надежда Васильевна.

— Точно! — закричал я и закончил словами тети Оли: — «...и несмотря ни на что, надо идти вперед».

— Ура-а-а тете Оле! — сказал дядя Шура, поднял бокал и «пошел вперед».

И Надежда Васильевна «пошла вперед»: она встала и подняла бокал. Я тоже поднял бокал.

И Наташка, забыв об обиде, сделала первый шаг навстречу неизвестному.

Неизвестному мне, неизвестному ей, но уже тогда известному, как потом оказалось, необыкновенно умной Надежде Васильевне.

Наташка влезла на стул, чтобы быть вровень со всеми, и мы чокнулись.

— Наташа,— сказала Надежда Васильевна,— извини меня.

Каждый раз, когда я вспоминаю эту свадьбу, у меня в ушах раздается звон наших бокалов и слова Надежды Васильевны, обращенные после Наташки ко мне:

— А ты мне веришь, друг мой?

Вначале я даже не понял, что она разговаривает со мной, а догадавшись, ужасно обрадовался: быть другом такой красавицы всякому приятно.

— Верю,— проникновенно и тихо ответил я, хотя мне хотелось вопить: «Верю, верю, верю!»

Было какое-то величие в ее словах «друг мой», и мне захотелось сделать для нее тут же что-нибудь сверхъестественное, и я сказал:

— А я читал, на свадьбах всегда бьют бокалы. Это к счастью.

— Вот именно! — закричал дядя Шура, совсем как мальчишка. — Это к счастью! На свадьбах всегда бьют бокалы!

И дядя Шура выпил свое шампанское, поднял бокал и с силой бросил на пол. И второй бокал разлетелся на куски. Забудьте, еще один замечательный хрустальный бокал с редким звоном!

Представляю, как бы удивились больные дяди Шуры, если бы увидели его сейчас.

И мы, конечно, удивились. У Наташки глаза полезли на лоб, и у меня они тоже бы полезли, но я умею владеть собой. А Надежда Васильевна, я заметил, осуждающе покачала головой.

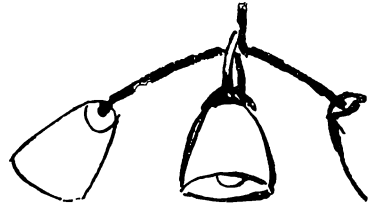
Тогда дядя Шура затих и виновато, немного грустно сказал:

— На свадьбах всегда бьют бокалы.

Он протянул руку Надежде Васильевне, и она в ответ протянула ему свою. Они смотрели друг на друга. У дяди Шуры лицо было строгим, хотя галстук сбился набок и волосы растрепались. А Надежда Васильевна улыбнулась. Эта улыбка сделала ее совсем молодой и еще более красивой.

* * *

Еще тогда, на свадьбе, я поймал себя на том, что все время слежу глазами за Надеждой Васильевной и это доставляет мне радость. И с этого дня я искал малейшую возможность, чтобышний раз увидиться с нею.



Как-то я заскочил к ним, будто за Наташкой, чтобы вместе идти в школу. А Надежда Васильевна мне ответила, что Наташка еще не готова и она сама ее проводит.

Она улыбнулась, а я, дурак, вместо того чтобы прямо сказать, что я их подожду, нелепо поклонился и ушел.

Она захлопнула дверь, а я вернулся домой и стал дежурить у дверного глазка.

Когда они вышли на лестничную площадку, сопровождаемые отчаянным лаем Малыша, я тоже появился, изображая на лице невысшее удивление:

— Как, вы только выходите?

— Меня сегодня провожает Надежда Васильевна,— предупредила Наташка.

Не знаю почему, но идти с нею было радостно. Она всего-то лишь успела сказать, что ей здорово повезло, потому что она теперь каждый день на работу ездит на метро, а это интересно. А раньше она жила в центре, рядом с работой, и ходила пешком.

— А где вы жили? — спросил я.

— На Арбате.

— И я раньше жил на Арбате! — воскликнул я.

— И я жила на Арбате,— сказала Наташка.

— Как жаль, что мы не знали друг друга,— сказала Надежда Васильевна.— Мы бы давно могли стать друзьями.

И мне действительно стало обидно, что я ее не знал.

Я нес ее виолончель. Она была тяжелая и, когда ударялась о мое колено, издавала тонкий гул, и это мне нравилось. А Надежда Васильевна шла рядом, держа за руку счастливую Наташку.

— Когда я выхожу из метро,— сказала Надежда Васильевна,— то еще на эскалаторе думаю, что сейчас увижу небо, деревья, землю. Каждый раз я открываю для себя что-нибудь новое и неожиданное.

И все, и больше она ничего в этот раз не говорила, но мне понравились ее слова о метро.

На следующий день я снова засел за своей дверью и, когда они вышли, выскочил на площадку.

— А-а-а, любитель случайных встреч! — сказала Надежда

Васильевна.— С завтрашнего дня мы будем заходить за тобой сами.

— Хорошо,— согласился я, не притворяясь, что встретил их случайно.

Она умела все делать естественно и серьезно, и поэтому не было стыдно своих признаний, которые с другими людьми мне ни за что не удавались.

И открывалась она свободно и легко. Рассказала нам про то, как изобретала для себя игры, когда была маленькой.

То она придумала, что у нее под кроватью живет рыжая лиса, которая выполняет все ее поручения. То, что на подоконнике в ее комнате разместились две деревни. В одной жили крестьяне в красных шапочках с колокольчиками, а во второй — в зеленых шапочках. И эти крестьяне вечно между собой ссорились: «красные шапочки» были недовольны «зелеными шапочками», потому что те без всякой цели рвали полевые цветы, а «зеленые» — «красными», потому что у них слишком громко звенели колокольчики. Сама Надежда Васильевна была верховным судьей, который по справедливости разрешал их споры.

Все-таки она была странная, вроде дяди Шуры. И вещи говорила неожиданные: то про метро, то про свои детские игры, то без всякой подготовки однажды спросила:

— Борис, а какие у тебя родители?

— Обыкновенные,— ответил я.

— Ну, они добрые, любят тебя, ты их любишь. Это так естественно. А какие они? (Я заметил, что краем глаза она неотступно следит за Наташкой.) Душа нараспашку или скрытные? Например, знаешь ли ты, о чем думает твой отец, когда молчит?

Я ей не ответил, потому что действительно не знал, о чем думает отец, когда молчит, и чем живет мать. Я видел их каждый день. Они вставали. Пока мама готовила завтрак, отец делал что-то вроде зарядки: три подскока, два приседания. Завтракали. Мама подавала на стол, отец мыл посуду. Уходили. Приходили. Они были то веселые, то чем-то озабоченные, то печальные. А вот отчего, я не знал.

— Выходит, весь твой мир крутится вокруг тебя... А жаль! Когда лучше узнаешь своих близких, их недостатки и достоин-

ства, то глубже любишь. Мой отец имел привычку часто что-то обещать, а потом не выполнял... И все друзья за это его осуждали, хотя, может быть, он делал во много раз больше хорошего, чем они. Помню, когда я поняла, что он не выполняет обещаний потому, что просто ему не все удастся, то была счастлива, и он мне стал еще дороже.

У нее, у Надежды Васильевны, получалось все красиво и ловко.

Как-то я сидел у Наташки, когда она вернулась с работы. В руках у нее были цветы.

— Отгадайте, почему я купила розовые астры? — спросила Надежда Васильевна. — Сейчас увидите!

Она любила колдовать. Делала все молча и таинственно, а мы следили за ней.

Сначала Надежда Васильевна постелила на стол розовую скатерть, потом поставила на нее кувшин с цветами.

— Розовое на розовом, — сказала она.

А я раньше вообще не замечал цветов. Есть они или нет, мне было все равно.

И тут она произнесла слова, как будто прочитала мои мысли:

— Как можно не любить цветов! Это все равно, что не любить землю.

Я вздрогнул от этих ее слов: жил в асфальтовом городском мире и никогда не думал о земле, о цветах, о деревьях, которые на ней росли.

Мне стало от этого не по себе, я испугался, что необыкновенно умная Надежда Васильевна обо всем догадалась. На всякий случай в ответ на ее слова я проямлил:

— Да, да...

Но с тех пор каждый раз, выходя из метро, я останавливался у базара цветов. Постепенно это стало моей привычкой.

Однажды там продавали цветы под названием «Перья страуса». Они были белые, а лепестки их скручивались и были похожи на фантастические перья.

«Перья страуса» мне очень понравились, и я даже собирался их купить, но потом почему-то не купил и ушел. Всю дорогу до дома я чувствовал себя обиженным и все думал: зря не ку-

пил эти необыкновенные цветы. «Если у тебя в течение дня,— говорит тетя Оля,— была счастливая минута, вызванная чем угодно, значит, тебе выпал хороший день. Пускай это будет улыбка незнакомого человека, минутная нежность к матери или отцу, письмо от друга, строчка стихов, которая тебя обрадовала. Только смотри не оброни этой минуты, не потеряй ее». И, вспомнив эти слова, я остро почувствовал, что цветок «Перья страуса» мне необходим, что я должен взять его в руки, полюбоваться, а потом поставить в стакан на своем столе, чтобы его видели все.

Я побежал обратно, но опоздал. Цветы расхватили. Вот теперь попробуй не согласишься с тетей Олей: «Только смотри не оброни этой минуты...»

А какой у Надежды Васильевны был вкусный чай, представить невозможно! Мне нравилось, что это у них не наспех. Теперь многие пьют чай и обедают наспех, где-нибудь на кухне, а они всегда устраивались в комнате. И как-то она умела усадить меня сразу, я даже не успевал смутиться, а уже сидел за столом, передо мной был стакан чая, вкусные бутерброды, пирожное, варенье. Но главное было не в еде, а в разговорах. Это был настоящий вечерний чай. Даже дядя Шура, всем известный молчальник, крепкий орешек, и тот открывался. Однажды он рассказал, что разработал такую операцию сердца, которая длится не четыре или пять часов, как раньше, а всего три с половиной — для этого он сконструировал новые инструменты. И дядя Шура начертил нам эти инструменты.

В школу мы теперь ходили каждый день втроем, и я всегда нес виолончель. Мы подходили к школе, я передавал ей виолончель, она вскидывала ее на плечо и уходила.

Весь наш класс просто вываливался из окон. Мальчишки пробовали меня дразнить, называли «оруженосцем», но меня это не смущало. Теперь я жил в другом мире, я узнавал то, что они не знали, я открыл в себе чувства, о которых не подозревал, так что мне их придирки казались наивными и смешными.

Я даже забыл, что совсем недавно мне часто бывало скучно и я мог целыми днями тупо смотреть в потолок, ничего не делая.

Так бы и жить всегда в этом празднике, но он неожиданно пришел к концу.

Утром меня разбудил звонок в дверь. Я открыл: передо мной стоял дядя Шура.

Он был одет по-походному. Я знал этот костюм: полувоенный плащ, крепко перехваченный поясом, за плечом — рюкзак.

В этом костюме он был каким-то другим, более ловким, подвижным, решительным. И невероятно строгим.

Я сразу догадался: он летел на срочную операцию.

— Поручаю тебе своих женщин, — сказал дядя Шура.

Повернулся, хотел вызвать лифт, но, увидев, что кабина занята, махнул рукой и побежал вниз, прыгая через ступени.

В это время на лестничную площадку выбежала Надежда Васильевна. В руке у нее был сверток.

— Шура, — крикнула она, — возьми с собой!

Но дядя Шура не остановился и, может быть, не расслышал ее голоса. Он уже не видел нас, не слышал наших голосов, он был далеко, там, где его ждали.

Недаром он говорил про себя: «Моя жизнь принадлежит людям. И мне это нравится».

— Даже не позавтракал, — сказала Надежда Васильевна. — На юге, где-то в горах, случился обвал. Вот он и полетел.

Она волновалась за дядю Шуру, и я, чтобы успокоить ее, сказал:

— Куда он только не летал. И на Камчатку, и в Мурманск, и в Ташкент... А однажды его сбросили на парашюте в Тихом океане, прямо на пароход. И ничего... А в Африке он заблудился в джунглях и выбирался из них два дня. И ничего...

Разговаривая, мы вошли в их квартиру. И от наших громких голосов, от лая Малыша проснулась Наташка. Она выбежала к нам в пижаме, еще заспанная, лохматая.

— А где папа? — спросила она.

— Он уехал, — ответила Надежда Васильевна.

— Куда? — настойчиво спросила Наташка.

— Иди умойся, — ответила Надежда Васильевна.

Она все еще была возбуждена и не заметила, что Наташка настроена воинственно.

— Нет, сейчас, — требовательно сказала Наташка. — Куда он уехал?

Надежда Васильевна посмотрела на Наташку, чуть помедлила, словно раздумывала, как поступить, и сказала:

— В горы. Там обвал.

— А где эти горы? — не отставала Наташка.

— Иди лучше умойся, друг мой, — ответила Надежда Васильевна. — И я тогда тебе все расскажу.

— А почему вы меня не разбудили? — спросила Наташка. — Раньше папа меня всегда будил, даже если уезжал ночью. — И, не дожидаясь ответных слов, выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Надежда Васильевна сделала вид, что ничего особенного не произошло, но я заметил, как предательски вспыхнули ее глаза.

А у меня тоже испортилось настроение. Это ведь была не первая Наташкина обида на Надежду Васильевну.

Я помню два вечера подряд, когда дядя Шура и Надежда Васильевна так поздно возвратились домой, что мы их не дождались. В первый вечер еще было ничего, мы были вдвоем, а во второй Наташка была одна, и, когда я открывал свою дверь, она, услышав шум лифта, выскочила на лестничную площадку, думая, что вернулись ее родители, а увидела только меня. Она гордая, в этом не создалась, но я сразу догадался.

Мы вошли к ним. В комнате на столе стояли три чашки: Наташка ждала их пить чай.

Чтобы ее развеселить, я стал вспоминать нашу старую жизнь. Мы всегда вспоминали старую жизнь, когда у меня или у нее бывало плохое настроение. А тут я нарочно вспомнил, как она пришла за меня хлопотать к директору школы и какой она большой герой.

И в этот момент в форточку влетел голос Надежды Васильевны... Представьте, она пела!..

Мы с Наташкой подбежали к окну и увидели довольно любопытную картинку: дядя Шура держал Надежду Васильевну на руках, а она пела знаменитую песенку: «Ямщик, не гони лошадей...»

Я подумал, сейчас Наташка что-нибудь выкинет, и точно: она стремительно бросилась к столу, быстро собрала все чашки, чтобы не оставалось никакого следа от ее ожидания, так же стремительно разделась и притворилась спящей.

А я выскользнул из дверей, молчаливой тенью застыл у своего глазка и еще раз увидел Надежду Васильевну и дядю Шуру. Все-таки ему не удалось донести ее на руках до дверей своей квартиры. Надо посоветовать ему заняться тяжелой атлетикой.

А потом была еще одна обида...

Во время нашей обычной утренней прогулки, в которой принимал участие на этот раз и дядя Шура, он выхватил у меня инициативу и нес виолончель Надежды Васильевны. А та, как всегда, шла с Наташкой за руку. И вдруг дядя Шура спросил у Надежды Васильевны, когда она вернется с работы. А Надежда Васильевна ответила, что у нее трудный день: и урок в школе, и репетиция, а вечером концерт.

— Я зайду за тобой,— сказал дядя Шура.

Как только дядя Шура произнес эти слова, Наташка вырвала руку у Надежды Васильевны и, ни на кого не глядя, пошла рядом.

Дядя Шура и Надежда Васильевна переглянулись, но оба промолчали.

А что тут скажешь? Им нравилось заходить друг за другом, поздно возвращаться домой, а Наташку это почему-то не устраивало.

Она шла с гордым, независимым видом, но кончик носа у нее покраснел от обиды. И тут еще, как назло, дядю Шуру остановил знакомый мужчина, и нам пришлось его ждать. А в небольшом пространстве между Надеждой Васильевной и Наташкой сверкали беспрерывные разряды.

— Когда дядя Шура был мальчишкой, мы его звали «ежиком»,— начала разговор Надежда Васильевна,— потому что волосы у него всегда стояли дыбом.

— Значит, вы его давно знаете? — обрадовался я.

— Да,— ответила Надежда Васильевна и бросила взгляд на молчаливую Наташку.

А Наташка ей в ответ подсунула бомбу.

— А маму мою ты тоже знала? — спросила она.

— Нет,— ответила Надежда Васильевна.— Маму твою я не знала.— Она нетерпеливо помахала рукой дяде Шуру.— Чего же он?.. Идемте, а то опоздаем.

Дядя Шура нагнал нас около школы. Он передал Надежде Васильевне виолончель и сказал:

— Чертовски приятно было с вами прогуляться.

Он повернулся ко мне, и тут мы обнаружили, что наши ряды поредели, что среди нас нет Наташки.

Все, как по команде, повернулись в сторону школьного двора и увидели ее маленькую, решительно удаляющуюся фигурку. Она бежала не оглядываясь.

Вспомнив все эти Наташкины обиды на Надежду Васильевну, я почувствовал в себе легкую, едва заметную горечь. Это была первая небольшая потеря. Я знаю, без этого в жизни не бывает. Но лучше бы этих обид не было.

Когда я за ними зашел, чтобы идти в школу, то Наташки в комнате не было, а Надежда Васильевна убирала со стола.

Я сел и стал ждать. И вдруг я услышал, как Наташка быстро прошла по коридору, открыла выходную дверь и захлопнула изо всех сил.

Мы сразу догадались, что она убежала. Наши глаза на секунду встретились, и я вскочил, чтобы бежать за Наташкой.

Но Надежда Васильевна остановила меня.

— Не надо, — сказала она и добавила: — Этому нельзя потакать.

А мне хотелось ее догнать и вернуть, и я еле сдержался, чтобы не убежать.

— Она без дяди Шуры всегда скучает. Ей однажды приснился сон, что он еще не вернулся из Африки, так она хотела бежать к нему в больницу, чтобы убедиться, что он на месте.

Надежда Васильевна ничего не ответила, подошла к окну и осторожно глянула вниз, словно боялась того, что должна была там увидеть, может быть, надеялась, что Наташка вернется, но все-таки, конечно, увидела, потому что отпрянула назад, точно ее ударили по лицу. И сказала тогда знаменитую фразу:

— Знаешь, мне иногда бывает грустно, потому что я наперед знаю, как все будет.

— А что вы такое знали? — спросил я.

— Знала, что Наташа когда-нибудь вот так убежит. Что мне

будет трудно и, может быть, придется...— Она оборвала свою речь, не докончив фразу, внимательно, изучающе посмотрела на меня и неожиданно резко сказала: — А почему я тебе должна это говорить? Я тебя не знаю как человека. Ты вроде добрый и неглупый, но куда повернешь в трудную минуту — направо или налево,— я не знаю. А это главное.

— Я поверну туда, куда надо,— ответил я.

— Куда надо? Ты думаешь, что надо налево, а я думаю — направо...

Тут я неожиданно вспомнил свою прошлогоднюю ошибку, когда нужно было пойти направо, а я пошел налево. Тот самый случай, когда на контрольной в первом классе я подсказал решение примеров. И дело не в том, что я им подсказал, а в том, что я первый научил их этому.

— Ты что замолчал? — спросила Надежда Васильевна.— Сердишься?

— Да так,— промямлил я.

— Не сердись, я ведь правду сказала.

А я и не рассердился, я в этот момент подумал про нее, про то, что необыкновенно умным людям жить на свете труднее, потому что они все знают наперед и заранее переживают.

* * *

Не помню точно, сколько прошло дней, может быть десять, но только моей дружбе с Надеждой Васильевной пришел конец.

Как же это случилось? Души в ней не чаял, каждому встречному-поперечному расхваливал, до того обалдел, что стал ходить на симфонические концерты, и вдруг...

— Ум у тебя не аналитический,— сказала мне Надежда Васильевна.— Ты живешь как получишься.

— Быстро вы меня изучили,— сказал я.

Честно говоря, мне не очень понравились ее слова.

— Это просто. Я присмотрелась к твоим поступкам, прислушалась к твоим словам и поразмыслила на эту тему. Размышления — как математика. Прикинешь так да этак, смотришь — у тебя перед глазами стройный ряд формул,— сказала она и засмеялась: — Ты достойный ученик своей тети Оли.

— А что, разве это плохо?

— Я не говорю, что плохо,— ответила Надежда Васильевна,— но это может привести тебя к ошибкам, о которых ты потом будешь жалеть.

И представьте, она оказалась права.

Но это я узнал и понял потом, а пока, не зная ничего, готовился, подчиняясь своему чувству, совершить все эти «ошибки».

В тот день я встретил Наташку на лестнице. Она сидела на ступеньке и плакала.

— Ты чего реवेशь? — спросил я.

Наташка не ответила.

— Ну, что случилось? — не отставал я.

— Малыш потерялся! — завопила Наташка.— Я пришла, а она говорит, что Малыш убежал в открытую дверь.

— Кто «она»? — не понял я.

— Надежда Васильевна, вот кто! — ответила Наташка.— Приедет папа, я ему все-все расскажу!

Это мне не понравилось, и я сказал:

— Жаловаться нехорошо. Она ведь не нарочно.

— Нарочно, нарочно! — сквозь слезы твердила Наташка.— Зачем она открыла дверь? Зачем?.. Разве так поступают, когда в доме щенок? И мамин бокал она разбила нарочно! Она и ко мне придирается!

Все это было несправедливо, но я промолчал. Нелепо спорить с Наташкой, пока она плакала.

Как это Надежда Васильевна могла к ней придирааться, если она их жизнь сделала прекрасной! Да что там говорить, еще совсем недавно сама Наташка назвала Надежду Васильевну мамой!

Мы шли в школу. Наташка увидела издали свою учительницу, схватила Надежду Васильевну за руку, подвела и сказала: «Инна Петровна, это моя мама!» А я стоял рядом и хорошо все слышал, и видел, и помню, как Надежда Васильевна радостно вспыхнула и улыбнулась. Тогда Наташке показалось мало ее первых слов, и она окончательно представила Надежду Васильевну, сказав, что та «музыкантша». Учительница обрадовалась и пригласила Надежду Васильевну разучить с ребятами ка-

кую-нибудь песенку. И та сразу согласилась, все еще улыбаясь и счастливо обнимая Наташку.

А вечером, когда я зашел к ним, то встретил в комнате уже не одну виолончелистку, а сразу двух. Напротив Надежды Васильевны, в той же позе, с виолончелью сидела Наташка: шел первый урок.

Потом мы все четверо, и дядя Шура тоже, разучивали песенку, которой Надежда Васильевна собиралась научить ребят из Наташкиного класса... Как видите, она очень быстро и охотно вошла в роль мамы.

Надежда Васильевна пощипывала струны виолончели, а мы сидели тесным кружком в полутемной комнате, и очертания наших лиц были едва видны, потому что вовремя свет не зажгли, а потом нам не хотелось прерывать пение, и мы пели замечательную песенку:

По многим странам я бродил,
И мой сурок со мною...

Вспомнив все это, я улыбнулся.

— Ну что ты на нее наговариваешь! — сказал я. — И тебе не стыдно?

— Я не наговариваю, — сказала Наташка. — Она сразу Малыша невзлюбила. Это я заметила. А ты с ней заодно. Подлизал!

Я ей ничего не успел ответить, потому что из лифта вышла женщина, наша соседка по лестничной площадке. Она подошла к нам и с пристрастием расспросила Наташку, чего она плачет. От этого, естественно, Наташка заревела еще сильнее.

Как будто сочувствие выражается только в расспросах! Это ведь не сочувствие, а любопытство. А любопытство, как известно, не порок, но большое свинство.

Я встал, открыл дверь своей квартиры и увел Наташку к себе. При этом нам в спину раздалась сердобольная реплика:

— Мачеха есть мачеха!

Если бы Наташки не было рядом, я бы попытался ей объяснить. Тогда я думал, что все недоразумения между людьми происходят из-за недоговоренности: кто-то что-то не так сказал, недоговорил, и поэтому вышел скандал.

И тетя Оля, наивная душа, все это во мне поддерживала. Она



говорила: «Прежде чем отчаиваться или разочаровываться в ком-то, объясни ему все хорошенько, он и поймет... Обязательно поймет».

А Надежда Васильевна как-то сказала: «Не всем все объяснишь. Есть люди, которые преднамеренно не хотят многое понять».

И она, к сожалению, оказалась права, и я сам пришел в дальнейшем к тому же грустному выводу. Ну что можно объяснить женщине, которая способна сказать при Наташке «мачеха есть мачеха»? Ничего!

* * *

В этот вечер лил дождь, и я здорово промок. Поэтому я бежал трусцой, чтобы согреться. Когда я пробежал троллейбусную остановку возле нашего дома, то, к своему большому удивлению, столкнулся с Наташкой. Она явно ждала троллейбуса.

— Ты куда? — спросил я. От неожиданности я стал в лужу.

— Куда надо, — решительно ответила Наташка.

Она держала под мышкой незастегнутый портфель, набитый доверху. Между прочим, оттуда торчала ее праздничная синяя юбка.

Я сразу сообразил, зная ее характер, что тут дело не шуточное, и стал, несколько не удивляясь этой вечерней встрече, разыгрывать из себя дурачка-бодрячка, которому всегда смешно, даже если идет дождь и маленькая девочка отправляется в какое-то далекое и неизвестное путешествие.

Поплясав около Наташки и рассмотрев ее как следует — лицо у нее сжалось и посинело от холода, мокрые волосы висели сосульками, плечи у пальто были мокрыми, — я понял, что она гуляет под дождем уже не один час. «Пожалуй, собралась бежать в горы к дяде Шуре», — подумал я.

— Может быть, отложишь свое дело до лучшей погоды? — предложил я все еще радостным голосом. — Смотри, ты промокла... Бежим домой...

— Не пойду, — ответила Наташка. — Я уезжаю.

Да, отговорить ее будет нелегко.

— Почему? — крайне удивился я.

— Потому, и все,— упрямо повторила она.

— Из-за Надежды Васильевны? — осторожно спросил я.

Наташка не ответила: лицо ее было сосредоточенно и печально.

— А как же дядя Шура? — не отставал я.— Ведь он не сегодня-завтра вернется, а тебя нет...

— Я ему больше не нужна,— ответила Наташка.— Они в кино вдвоем ходят. А по вечерам разговаривают и разговаривают. Он ей про операции, а она ему про музыку.

«Так,— подумал я.— Значит, она бежит в другом направлении. Это уже легче».

— Вот придумала, дурочка! — возмутился я.— Ну что мне с тобой делать?

Она обрадовалась моим словам, потому что ей сейчас было одиноко, а тут вроде бы дружеское участие, и спросила:

— А ты за нее или за меня?

— Я?.. За тебя,— не очень уверенно ответил я.— Известно, старая дружба не ржавеет.

— Тогда я открою тебе свой секрет,— сказала Наташка.— Я уйду в цирк.— Она подняла на меня глаза.

— В цирк? — переспросил я.— Когда? — Чего только не придумают эти дети!

— Сейчас,— ответила Наташка.

— Сейчас уже поздно,— сказал я.— Пошли домой,— и попробовал взять ее за руку.

Она вырвалась и твердо сказала:

— Ничего... Цирк работает поздно. И туда берут детей.

— Тебя завтра же найдут и вернут домой,— сказал я с некоторой злостью: я замерз и основательно промок.

— Я поменяю имя,— ответила Наташка,— и остригу косу.

— Интересно, какое же ты возьмешь имя? — спросил я.

— Может быть, Золушка,— сказала Наташка.

В это время подъехал троллейбус, и она устремила к его дверям. А я, не зная, что делать, схватил ее за фалды пальто, чтобы задержать, и выкрикнул:

— На арене выступает знаменитая циркачка Золушка!

Тем временем троллейбус ушел. Она уже повернулась ко мне и сказала просто и серьезно:

— Зря смеешься. Я все равно убегу!

И тут я понял, что она действительно убежит, и мне стало стыдно, что я так паясничал и кривлялся. Я стал прыгать, будто бы желая согреться, а на самом деле дал себе передышку, чтобы принять верное решение.

— Ты хорошо придумала с цирком, — сказал я, потому что увидел огни приближающегося троллейбуса. — Только к этому надо подготовиться. По-моему, ты второпях захватила не все вещи. И деньги нужны на первое время.

В это время троллейбус подкатил к остановке, и я быстро проговорил:

— Хочешь, завтра я съезжу к тете Оле и все с ней обговорю? Тетя Оля не даст пропасть. Если кому-нибудь нужна ее помощь, она горы своротит.

Теперь я уже начал волноваться по-настоящему, потому что вдруг испугался этой истории и увидел за ее внешней стороной будущие большие неприятности.

— Потом я заработаю, — сказала Наташка, — и верну ей.

— Вернешь, вернешь. — Я положил руку ей на плечо и почувствовал, что она дрожит. — Ты чего дрожишь?

— З-за-мерзла, — еле разжимая губы, ответила Наташка.

— А знаешь, что об этом говорит тетя Оля? — спросил я.

— Не знаю, — дрожа и заикаясь, ответила Наташка.

— Она говорит, что нет плохой погоды, а есть просто плохо одетые люди.

С этими словами я снял пальто, накинул на плечи Наташке и поднял ее на руки. От тяжести меня качнуло в сторону, я едва удержался на ногах. Пришлось опустить ее на землю.

Когда мы вошли во двор, то я увидел около нашего подъезда Надежду Васильевну. У меня сразу наладилось настроение, и я забыл про дождь и про то, что озяб. «Сейчас, — подумал я, — состоится великое примирение и мы пойдем пить чай».

— Ну, вот и хорошо, — сказал я Наташке. — Видишь, она тебя ждет.

Я хотел окликнуть Надежду Васильевну, но Наташка резко повернулась и выбежала обратно на улицу, уронив мое пальто на мокрый асфальт.

Я посмотрел в сторону Надежды Васильевны. Нет, она не

шелохнулась, по-прежнему стояла около подъезда под раскачивающимся фонарем, который то удлинял ее тень, то укорачивал.

Я выскочил за Наташкой, догнал, схватил за плечи. Она отчаянно била меня ногами, дубасила изо всех сил — я никогда не видел ее в таком состоянии — и вырывалась.

— Не хочу! — кричала она. — Не хочу! Не пойду!

— Перестань сейчас же! — тоже закричал я и волоком потащил ее обратно.

И тогда Наташка — она была, вероятно, в отчаянии — укусила меня в руку. От неожиданности я ее выпустил, и она отбежала в сторону.

— Вот сумасшедшая! — сказал я. — Ты мне прокусила руку!

Она посмотрела на меня исподлобья. Нет, она ни за что не уступит.

Теперь мы стояли на бульваре. И в этом длинном коридоре между тонкими деревьями с мокрыми стволами Наташка показалась мне совсем маленькой. Я почувствовал, как она мне дорога. За одно мгновение передо мной промелькнула вся наша совместная жизнь.

— Ну и сильная ты стала! Я еле с тобой справился, — сказал я. — Тебя обязательно возьмут в цирк.

— А можно, я поживу у тебя до цирка? — вдруг спросила Наташка.

Я уже хотел ей ответить, что можно, потому что действительно это можно. Пусть поживет у меня, пока вернется дядя Шура из командировки и помирит их. И прикусил язык. Заставил себя на минуту задуматься, чтобы выбрать правильную дорогу. Сколько раз я в спешке ошибался. «Нет ничего хуже вралю, который бросает обещания на ветер», — учила меня тетя Оля. Она вдабливала мне эту истину постоянно и упорно не без основания до тех пор, пока я не почувствовал острую потребность в правде, пока у меня не появилось чувство ответственности за свои поступки. Вот почему я задумался. Но если идти дальше за тетей Олей — а я шел в своем пути именно за ней, — то надо было обратиться к ее словам: «В борьбе всегда надо принимать сторону слабого, если ты не уверен, кто прав. И это будет наименьшим злом». Я так и поступил и сказал Наташке:

— Конечно, можно. Будешь спать на диване в большой комнате.

Вот тут-то я поклялся быть верным Наташке до конца и отказался от Надежды Васильевны, хотя это было моим заблуждением.

Хуже нет на свете, чем предательство. Это уж точно. Я не хочу оправдываться и не хочу чистеньким выскочить из этой истории. Я на самом деле так думаю.

Однако жизнь прекрасна, и надо упрямо идти вперед. Надо идти вперед, не задерживаясь на мелочах жизни. Надо уметь быть выше их.

Я пошел дальше своей дорогой, сначала задыхаясь в пыли, то есть путаясь в собственных мыслях и поступках, потом наконец окреп и вернулся к повторному радостному открытию Надежды Васильевны, «замечательного человека неподдельной души». (Последние слова, как видите, взяты в кавычки, ибо они принадлежат тете Оле. Естественно, эти слова высшей похвалы не имели непосредственного отношения к Надежде Васильевне, поскольку тетя Оля в то время ее не знала.)

В этот трудный момент нашей жизни у меня возникла светлая мысль познакомить Надежду Васильевну с тетей Олей.

Я подумал: хоть Надежда Васильевна и необыкновенно умная, а все равно в этой истории с Наташкой тетя Оля сможет ей помочь и словом и делом.

Вот у меня был такой случай в прошлом году. Один из моих первоклашек задумал бросить школу. Он лежал целыми днями в кровати и потерял всякий интерес к жизни. И никто не мог догадаться, в чем дело. Я его потащил к тете Оле, почти волоком тянул: он не хотел идти. Оказалось, он подарил своей соседке по парте будильник, который взял дома без спроса, а его родители взяли будильник у девочки обратно. И он после этого не мог пойти в школу. Стыдился. И никому не говорил это целых три дня! А тете Оле выложил через полчаса после знакомства. Все были удивлены, даже я, который знал, что тетя Оля умеет так заглянуть в душу, что перед нею раскрываются все — и необыкновенно умные, и умные, и даже форменные дураки.

— Пошли? — предложил я Наташке.

По-моему, она была готова пойти за мной.

— А если она не ушла? — неуверенно спросила Наташка.

— Положись на меня,— сказал я.— Мы пройдем через соседний подъезд.

Взял ее за руку — в который раз! — чтобы вести дальше.

«В путь, в путь! Усталым путникам нужен отдых» — так всегда говорила мне в детстве тетя Оля, когда я устал и хныкал и не хотел идти дальше. И каждый раз загадочно звучащие слова «усталым путникам», обращенные ко мне, восстанавливали мои силы.

— В путь, в путь! — крикнул я.— Усталым путникам нужен отдых!

Мы вошли во двор и нырнули в соседний подъезд.

* * *

Я вышел к Надежде Васильевне впервые без всякой радости. Поэтому и на лифте не поехал, а побрел пешком, желая набраться сил для разговора.

Надежда Васильевна стояла на прежнем месте. Она была одета явно не по погоде: в новое прекрасное пальто. Это меня еще больше насторожило, и слова, которые я заранее приготовил о том, что Наташка ушла из дому и теперь временно будет жить у меня, застряли в горле.

— А-а-а, добрый вечер,— обрадовалась мне Надежда Васильевна.— Ты куда в такую погоду?

— Я люблю дождь,— ответил я неестественно хриплым голосом.— А вы такси ждете?

— Нет,— ответила она и смахнула каплю дождя, которая упала на рукав ее прекрасного пальто,— Наташу.

— Наташу? — переспросил я, продолжая прикидываться, что ничего не знаю, хотя мне было это неприятно.

— Я зашла за ней в школу, как мы условились, но она меня не дождалась... И вот куда-то пропала.

— Это с ней бывало и раньше,— сказал я.

— А я что-то волнуюсь,— ответила Надежда Васильевна.

— Зря волнуетесь. У нее здесь подруг полный дом, и все ее любят,— успокоил я.— Зашла к кому-нибудь и заигралась.

Зачем я это говорил, было совершенно непонятно, но говорил, и все.

— Я всех обегала,— сказала Надежда Васильевна.— Никто ее не видел.

После этого разговор наш увял. От дождя и волнения меня стал бить озноб. К тому же я всегда чувствую неловкость, когда люди молчат, хотя хорошо знаю, что неловкость от этого не надо испытывать. Молчи столько, сколько тебе самому хочется, а говори, только когда у тебя есть в этом необходимость. Тетя Оля часто мне напоминала: «Слово надо беречь, ибо оно свято, оно способно выражать мысль. Человек, который говорит,— творец. Поэтому никогда не надо просто болтать. Болтовня унижает слово».

Вспомнив эти слова, я легко промолчал еще минут десять и немного окреп для дальнейшего разговора.

— «Прежде чем отчаиваться или разочаровываться в ком-то, объясни ему все хорошенько, он и поймет». Так говорит тетя Оля.

— Вот как! — многозначительно произнесла Надежда Васильевна.

— Тетя Оля давно бы помирилась с Наташкой,— сказал я.

— А кто тебе сказал, что я с ней поссорилась? — спросила она.— Впрочем, это не имеет значения... Продолжай, я тебя слушаю.

От этих ее слов слегка пахнуло ледяным ветром, но отступить было поздно.

— Да,— сказал я,— у нее свой метод.

— Какой же?

— Она всегда все прощает,— сказал я, незаметно поглядывая на Надежду Васильевну.— С ней легко и просто.

Я опять посмотрел на Надежду Васильевну. По-моему, мои слова произвели на нее благоприятное впечатление, и я отправился в дальнейшее путешествие.

— Хотите, я вас с ней познакомлю?

Я ей давно жужжал про тетю Олю, и она знала все ее привычки, возраст, даже то, как она странно одевается, как она вкусно печет пироги и варит варенье. То, что она по утрам полчаса ни с кем не разговаривает: в эти полчаса она сосредоточивается. О том, как она пьет десять чашек кофе, совсем крохотных, потому что любит его пить, а много ей нельзя.

— Тетя Оля вам понравится. Она веселая, с нею скажешь два слова — и будто давно знаешь, если она только преодолит смущение. Только вы не обращайтесь внимания — она все время прикрывает глаза ладонью. Это от застенчивости. У нас был такой случай. Она заболела, и моя мама вызвала врача. А тетя Оля не хотела: ей казалось, что неудобно, больна она несерьезно. Пришел врач, а она от застенчивости и неловкости по своей привычке все время прикрывала глаза ладонью. Ну, врач как закричал на нее: «Да оставьте вашу руку в покое!» — так тетя Оля еле сдержалась, чтобы от обиды не заплакать. Я-то ее знаю, у нее губы задрожали. Вы не смотрите, что ей стукнуло шестьдесят пять. Она молодец и всем-всем интересуется. Даже хоккей по телевизору смотрит. А русский язык и литературу знаете как знает? Ее можно ночью разбудить и спросить: «Как пишется наречие такое-то?» — и она ответит. А стихов сколько она знает на память — не счесть! «Еду ли ночью по улице темной... Друг беззащитный...» Прочтет эти строчки и скажет: «Таких, как эти строки Некрасова, нет во всей русской литературе. Пронзительные стихи». Она сорок лет в школе работала. Это не каждый сможет. Правда, она странно одевается. Тут у нее своя идея. Моде она не подчиняется. Нет, она ее не презирает, но просто сохранила все свои вещи, которые нравились ее мужу, и носит только их. Муж ее давно умер. Понимаете, вдруг вытаскивает из шкафа платье, которое было сшито в одна тысяча девятьсот двадцать пятом, когда она только вышла замуж, и надевает. Конечно, все вокруг обалдевают. Получается, что она какая-то чудачка, но тут ее не свернешь, тут она не стесняется. Идет, знаете, по улице с ужасно гордым видом. А как она вкусно варит варенье! Вы видели, у нас на кухне висит медный таз. Это ее. В него как в зеркало можно смотреться, такой он начищенный. Мой отец перед ним всегда бреется. Раньше тетя Оля сама его чистила, а теперь это моя забота. Она не взяла его с собой, ей хотелось, чтобы какая-нибудь ее любимая вещь осталась у нас. Позавчера она мне звонит и спрашивает: «Ну, как мой таз?» А я ей ответил: «Чистый, только по вас соскучился». Тут, конечно, совсем дело не в тазе, Просто это причина для частых телефонных разговоров. Она теперь к нам редко ездит, трудно ей, в другом конце города живет...

Я оборвал свой рассказ, потому что заметил, что Надежда Васильевна меня не слушает. Ей было не до тети Оли, но я все-таки спросил:

— Надежда Васильевна, а вы любите пенки от варенья?

— Пенки от варенья? — Она с удивлением посмотрела на меня, как будто только что прилетела с другой планеты.

— А-а-а,— сказал я,— у вас на Марсе давным-давно забыли, как варят варенье.

Она не ответила на мою шутку.

Пожалуй, больше нельзя было тянуть, и я решил, после разговора о тете Оле скажу про Наташку.

— Ну ничего,— сказал я.— Вот поправится тетя Оля, я познакомлю вас с ней, тогда и угоститесь пенками...

А Надежда Васильевна, вижу, опять думает о чем-то своем. Напряженно: наверняка размышляла о Наташке, прикидывала так и этак, строила свои математические формулы и выкладки. И действительно, я не ошибся, ибо ее ответ меня здорово поразил.

— Спасибо,— сказала Надежда Васильевна,— только не думаю, что мы пойдем друг друга.

— Почему?!

— Мы разные люди,— ответила Надежда Васильевна.— Я не люблю добреньких.

— Значит, вам не жалко людей? — спросил я.

Она безмолвствовала.

Я ждал, ждал — вот-вот она скажет, что просто пошутила, что у нее плохое настроение, что она волнуется, но она молчала. И в мою душу упало зерно сомнения, маленькое такое зернышко, а затем оно проросло обильным сорняком: а может, она действительно выпустила Малыша нарочно, как говорила Наташка. Тогда это попахивает предательством.

— А куда, интересно, мог подеваться Малыш? — спросил я с подозрением.

— Если бы не сбежал Малыш,— вместо ответа сказала Надежда Васильевна,— то случилось бы что-нибудь другое... — Она посмотрела на часы: — Все! Больше я ждать не могу. Пойду звонить в милицию. А ты здесь, пожалуйста, постой... А то, если Наташа придет, ей будет страшно.

Она повернулась, чтобы уйти, и тогда я, расхрабившись, бросил ей в спину:

— Наташка давно у меня!

Надежда Васильевна не сразу поняла значение моих слов, хотя была находчивой и, как известно, необыкновенно умной. А тут растерялась, замерла на какое-то тяжкое мгновение, стоя ко мне по-прежнему спиной. Оглянулась через плечо и спросила тихо и внешне спокойно:

— У тебя? — и повернулась лицом, правда это уже было лицо почти другого человека. — А как же вы прошли... мимо меня?..

Для нее мой ответ был очень важен. А может быть, ей так повезет, видно, думала она, и Наташка просто давным-давно забралась ко мне, когда ее еще не было дома, и сидит себе. Но я не стал ее обманывать, а ответил то, что было на самом деле:

— Через соседний подъезд.

— Значит, вы видели меня, — почти прошептала она.

«Да, — без слов, одним горьким молчанием ответил я. — Мы прекрасно все видели и поэтому нырнули в соседний подъезд».

Надежда Васильевна, не произнеся ни слова, с поникшей головой вошла в подъезд, оставив для меня открытую дверь. Затем мы вместе сели в лифт, и она стала нажимать кнопку нашего этажа раньше, чем я закрыл дверь. Ее волнение передавалось мне, и я никак не мог плотно прикрыть кабину лифта: один раз прижал полу пальто, а второй раз прищемил руку.

Наконец мы все же доехали и оказались на нашей лестничной площадке. И тогда, доставая ключ от квартиры, я сказал ей самое главное и страшное:

— Наташка будет у меня жить до приезда дяди Шуры.

— Вот как, — сказала она, но не ушла.

А я нарочно копался с ключом, надеясь, что мои слова дойдут до ее сознания и она уйдет. Напрасные надежды, она не шелохнулась.

— Это не я придумал... Наташка попросила, а я не мог ей отказать. — И зачем-то некстати пошутил: — Старая дружба не ржавеет.

— Открывай! — приказала Надежда Васильевна.

И видя, что я нарочно тяну время, выхватила у меня ключ, ловко вставила в замочную скважину и почти вбежала в комнату.

Наташка, раскинув руки, беззаботно спала, устроившись на диване. Она не слышала ни наших шагов, ни моих воплей.

— Вот видите, — шепотом произнес я, — пусть спит... А потом разберемся.

Надежда Васильевна тем временем подошла к Наташке, подсунула руки под нее, чтобы поднять и унести. Тут у меня мелькнула слабая надежда, что она не сможет ее поднять. Но она ее подняла! И понесла. Конечно, подумал я, натренировалась, таская свою виолончель. А я страшно засуетился и побежал рядом.

— Безобразие! Вы меня делаете предателем! — кричал я. — Я обещал! Я всегда выполняю свои обещания! Это нечестно!

Я был в отчаянии, я кричал изо всех сил, стараясь хотя бы разбудить Наташку, чтобы она поняла, что я ее не предал, что это все сделано вопреки моему желанию, но она крепко спала.

«Бороться всегда надо до конца, пока у тебя есть силы», — учила меня тетя Оля. И это верно. Но как я должен был бороться, ответьте мне! Не мог же я драться с женщиной! Тут я должен признаться, что и тетя Оля, говоря эти слова, робко признавалась, что у нее самой этого качества нет. И у меня не было. Может быть, я в этом не виноват, просто перешло по наследству от тети Оли, все-таки мы родственники, одна кровь, одни гены.

Так мы дошли до дверей. Надежда Васильевна распахнула их и, стоя в проеме, впервые посмотрела на меня.

А я, заглянув ей в глаза, потерял дар слова: цветы, ее прекрасные цветы, которые делали ее умной, необычной, исчезли, и лицо ее стало похоже на осенний лист.

Дверь перед моим носом захлопнулась.

Я почти заплакал: ведь я ее любил.

* * *

В то утро, как всегда, я подошел к окну и увидел дядю Шуру. Значит, он вернулся! Вернее, я увидел его спину и руку, которая держала знакомую мне тросточку и чертила по асфаль-

ту. Он привез эту тросточку из Африки, говорил, что она сделана из бивня слона, и очень гордился ею.

Рядом с ним стоял мужчина в высокой косматой папахе. Дядя Шура что-то ему говорил, не подымая головы, а тот его внимательно слушал. Лицо его было напряженным и испуганным.

Я знал людей с таким выражением лица, они часто появлялись в квартире дяди Шуры. Он их привозил из каких-то своих дальних путешествий вместе с детьми, которым собирался делать операции. Детей отдавали в больницу, а родители их жили у дяди Шуры.

Однажды он привез с собой якутского охотника. Этот охотник целыми днями молча сидел у телефона в ожидании известий из больницы, где лежала его дочь. Он сидел как изваяние, не двигаясь. Когда я увидел его в первый раз, то подумал, что он не живой, а вырезанный из дерева. Если же звонил телефон, он неслышным движением снимал трубку и говорил: «Попов слушает». А потом этот охотник уехал вместе с дочерью и вскоре прислал дяде Шуру в подарок шкуру белого медведя и унты Наташке. Унты Наташке были в самую пору, и непонятно было, как это получилось, — ведь неразговорчивый охотник Попов не спрашивал у Наташки номер ее ноги.

За все время, что он жил у дяди Шуры, он сказал мне только одну фразу: «Надо быть мужчиной. Там все бурлит, — он постукал себя в грудь, — здесь все молчит», — он высунул язык.

Когда же приехал дядя Шура? И почему ко мне не зашел? Что ему стоило протянуть руку и стукнуть в стену, и тут же я оказался бы «у его ног». Ведь после тех печальных событий, когда Надежда Васильевна унесла от меня спящую Наташку, я больше к ним не ходил.

В этот день я встретил Надежду Васильевну у нашего метро. Мы шли навстречу друг другу. Я бы, конечно, поздоровался, я не из тех, кто долго помнит обиды, но она меня не заметила.

Я оглянулся ей вслед и — с ума сойти! — вместо нее увидел мальчишку, который вел на поводке Малыша!

В первый момент это на меня так подействовало, что я оцепенел. А мальчишка тем временем прошел мимо меня и скрылся во дворе большого дома.

Медленно, будто нехотя, я побрел следом. Торопиться было нельзя.

Походка моя приобрела эластичную упругость, сердце билось где-то в горле. Я сдвинул кепку на лоб, чтобы не было видно моих лихорадочно-зорких глаз.

Я еле сдерживал улыбку, представляя фурор, который я произведу, когда появлюсь перед Наташкой с Малышом. Это была большая удача.

Мальчишку я нагнал во дворе и безразличным голосом спросил, кивнув на собаку:

— Кусается?

— Нет, не кусается, — охотно ответил мальчишка.

— Малыш, Малыш! — позвал я собаку и погладил ее по шерсти.

— Рэда, — сказал мальчишка.

— Рэда? — переспросил я. — А по-моему, он откликается на кличку «Малыш».

— Может быть, — ответил мальчишка. — Глупый.

— А какой у него язык? — хитро спросил я.

— Обыкновенный, — ответил мальчишка.

— А у нашего синий, — сказал я.

— Значит, у вас такая же собака?

— Была, да пропала. Вот я теперь ее ищу.

Я внимательно посмотрел на мальчишку. Нет, он держался спокойно, даже виду не подавал.

В это время так называемая Рэда широко и сладко зевнула и показала мне сипий-синий язык. Теперь мальчишка, пожалуй, смутился. Но тетя Оля говорит: «Не убедившись окончательно, не думай про другого плохо». Поэтому я не закричал на мальчишку и не стал у него вырывать поводок, а пошел дальше по дороге расследования.

— Малыш, Малыш! — осторожно позвал я.

— Это моя собака, — утрюмо сказал мальчишка. — Она у меня уже три месяца живет.

— А если она твоя, то почему ты не знал, что у нее синий язык?

Мальчишка не ответил.

— Ну ладно, — схитрил я, надо было как-то выяснить, где

он живет.— Раз собака твоя, то твоя... А в вашем доме у многих собаки?

— У многих,— ответил мальчишка.— В двадцать седьмой — у Карповых, в сорок первой — у Ивановых...

— Постой, постой, я запишу.— Я вытащил ручку и тетрадь и сделал вид, что записываю.

— У Марковых — в шестьдесят второй,— продолжал мальчишка.

— А ты сам в какой квартире живешь? — спросил я как можно небрежней.

— Я?.. А зачем? — Он тоже был парень не простак.

— Надо,— сказал я.— По заданию ветеринарной...

И не успел я закончить этой фразы, как мальчишка ловко подхватил Рэду и пустился наутек.

— Стой! — закричал я.— Стой! — и бросился следом за ним, но у меня слетела с головы кепка, и я вынужден был остановиться.

Пока я ее поднимал, мальчишки и след простыл. Но я не расстроился. Дело было начато, теперь я все равно найду Малыша.

Увлечшись этой идеей, я не заметил, как оказался около Наташкиной двери.

При этом я стал так отчаянно звонить, как будто я уже привел Малыша и он вился около моих ног. Я стал повизгивать и лаять и услышал, как Наташка замерла с той стороны. А затем от волнения долго не могла открыть двери.

Но когда она наконец открыла и я увидел ее, то пожалел о своей шутке. Она стояла передо мной в длинной, до полу, ночной рубашке, с лицом, густо усыпанным маленькими зелеными точками, как веснушками. Это ее прижгли зеленой.

— Что с тобой? — испуганно спросил я.

Наташка не ответила, она шарила глазами по лестнице, надеясь увидеть Малыша.

— Извини,— сказал я.— Это я сам лаял... Неудачно пошутил.

— Я заразная,— ответила Наташка.— У меня ветрянка.

— Ерунда! — успокоил я ее.

— Она передается по ветру,— предупредила Наташка.

— Во-первых, здесь нет ветра,— сказал я.— А во-вторых,—

и соврал,— я уже болел ветрянкой.— Решительно вошел в коридор и скомандовал: — А ну, живо в постель!

Наташка послушно легла под одеяло, и теперь на белом еще больше выделялись ее нелепые зеленые веснушки.

— Ты на меня не обиделась,— спросил я,— за ту историю?

— Нет,— сказала она,— ты же не виноват. Мне все рассказали.

— Я держался, но сама понимаешь, сила на ее стороне. Она почти озверела. И ты тоже хороша, не проснулась... А может быть, вы помирились? — с надеждой спросил я.

— Посиди около меня,— вместо ответа сказала Наташка.— И почитай. Ты ведь ее не боишься?

— Я?! С чего это ты взяла? — спросил я.— Что тебе почитать?

— «Золушку»,— потребовала Наташка.

Я сел около нее и взял «Золушку».

— Боря,— спросила Наташка,— ты еще не ездил к тете Оле?

— Нет,— ответил я,— но обязательно съезжу, не волпуйся.

— Боря, как ты думаешь, кем мне стать в цирке?

— Пойди в акробатки,— сказал я.— Будешь летать под куполом цирка.

— Под куполом я боюсь,— созналась Наташка.

— Ну, в дрессировщики тигров,— предложил я.— Интересно.

— Тигров я тоже боюсь.

— Тогда в ученики к фокуснику.

— Вот хорошо, буду фокусником,— решила она.— Читай...

— «Жил-был один человек,— читал я.— Умерла у него жена, и остался он вдвоем с дочерью... Вскоре он женился во второй раз на самой гордой и сердитой женщине на свете...»

Вот тут-то и произошла неприятность. Только я подумал, что Наташка не случайно выбрала эту сказку, что она думает, что это сказка почти про нее, что поэтому она себе и имя для цирка выбрала Золушка, как в дверях комнаты появилась Надежда Васильевна.

Я не слышал, как она вошла. В руках у нее был громадный резиновый крокодил.

Мы поздоровались, оба испытывая неловкость. Я ей сказал, что читаю Наташке сказку, хотя это и так было понятно.

— А ведь Наташа заразная,— сказала Надежда Васильевна и строго добавила, обращаясь к ней: — Хорошо ли это будет, друг мой, если ты заразишь ветрянкой Бору?

Теперь обращение «друг мой» совсем мне не понравилось. Она определенно не умела обращаться с детьми. Ну кто им так говорит: «друг мой»?

В ответ на эти слова Наташка вызывающе повернулась к стене и не пожелала объяснить действительное положение дел.

— А я болен ветрянкой,— сказал я.

— Тогда не страшно,— обрадовалась Надежда Васильевна,— тогда все в порядке. Посмотрите, что я принесла.— Она показала нам крокодила.

Никто не удивлялся, ни я, ни Наташка, хотя Надежда Васильевна явно хотела нас потрясти. В воздухе все еще висели ее слова «друг мой», холодные, как ледяной ветер.

Но Надежда Васильевна не сдалась. Отчаянный человек, она присела на корточки, опустила свое ценное приобретение на пол, и крокодил начал лениво и смешно открывать и закрывать крокодилову пасть.

Смех Надежды Васильевны одиноко и коротко прозвучал в комнате.

— Это самый веселый в мире крокодил,— сказала Надежда Васильевна.— Он умеет лечить ветрянку.

— Ничего крокодил,— уныло сказал я.

Наступила неловкая пауза, которая затягивалась и затягивалась, и молчание уже было бесконечным. Я сидел скорчившись на стуле, Наташка лежала лицом к стене, показывая нам спину, а Надежда Васильевна так и осталась стоять на корточках около крокодила.

А крокодил по-прежнему нелепо и ненужно открывал и закрывал пасть: у крокодила были зеленые глаза, красный язык и много-много белых пластмассовых зубов.

Наконец Надежда Васильевна встала и безразличным голосом объявила:

— Раз тебе не нравится крокодил, то будем пить чай. Я принесла свежие булочки.

— Не хочу чаю,— капризничала Наташка.— Хочу, чтобы Боря дочитал про Золушку.

— Хорошо, друг мой,— согласилась Надежда Васильевна.— Пока Боря тебе дочитает, вскипит чайник, и ты как раз захочешь чаю.

Она вышла из комнаты, а Наташка показала ей в спину язык, потом, передразнивая, сказала:

— «Друг мой...»

— «Жил-был один человек...» — начал я читать.

— Читай погромче,— потребовала Наташка.

— «Умерла у него жена, и остался он вдвоем с дочерью. Вскоре он женился во второй раз, на самой гордой и сердитой женщине на свете... С первых же дней мачеха стала обижать девушку. Она плохо кормила ее и заставляла делать самую тяжелую работу...»

В это время в комнату с самым решительным видом вошла Надежда Васильевна.

— Боря,— перебила она меня,— ты читаешь без выражения. Дай-ка мне книгу.— Она забрала книгу, но, вместо того чтобы дочитать «Золушку», стала листать страницы.— Лучше я тебе почитаю новую сказку. «Золушку» ты уже знаешь на память... Вот. Хорошая сказка.— И начала читать: — «Жил да был солдат, и было у него трое детей, а жены не было. Но солдат не тужил с детьми, он был настоящий солдат: умел стирать и штопать белье, топить печь, рубить дрова, варить щи и кашу. Но тут началась война, и солдат собрался в поход. Перед этим он женился на молодой женщине, чтобы не оставлять детей одних. Женщина оказалась на редкость доброй и внимательной к детям. Но только солдат ушел из дому, как она тут же переменилась...»

Вдруг она прекратила чтение, но я, сидя с нею рядом, успел заглянуть в книгу и дочитал строку, которую она не прочла: «...и стала пастоящей злой мачехой».

— Вот так надо читать,— сказала она,— четко и выразительно.— И захлопнула книгу.— А сейчас я принесу вам все-таки чай.— Она стремительно вышла из комнаты, ее уход был похож на бегство.

При этом она задела ногой крокодила, и он снова стал «рабо-

тать» пастью. Я рассмеялся: пу и автомат! Потом посмотрел на Наташку и увидел, что она тихо плачет и по щекам у нее текут зеленые слезы.

— Ты чего? — возмутился я.

— А я знаю эту сказку, — сказала Наташка. — Она тоже про злую мачеху.

И ей стало совсем себя жалко, и слезы у нее полились еще сильнее.

— А ну перестань! — сказал я. — Если в цирке узнают, что ты плачешь от каждой сказки, хорошо ли это будет, «друг мой»?

* * *

Через несколько дней после этого Надежда Васильевна собрала вещи и уехала. Представляете, уехала! Совсем, навсегда, подхватив свою виолончель и чемодан.

Головы наших кумушек торчали в окнах, их взгляды сопровождали ее от дверей подъезда до такси. И откуда они пронюхали все в одну секунду?

Но расскажу по порядку.

Незадолго до ее отъезда у нас произошел тяжелый разговор. Может быть, если бы не было этого разговора, все сложилось бы по-другому.

Мы шли вместе: я — в школу, она — на репетицию. Я знал, что Надежда Васильевна опаздывает, но она не обращала на это внимания. Видно, ей нестерпимо нужно было поговорить со мной. Я, чтобы ускорить дело, сообщил ей сногсшибательную новость о том, что Наташка собирается уйти в цирк.

Она сначала смутилась и стала судорожно переключать виолончель из одной руки в другую, будто виолончель потяжелела и нести ее стало неловко. Этим она занималась несколько минут, потом рассмеялась, кстати довольно неуверенно, и сказала:

— Ну, это детские забавы. Кто из нас в трудную минуту не собирался куда-нибудь бежать.

— Может быть, она никуда и не убежит, но она собирается, — произнес я с расстановкой, подчеркивая слово «собирается».

Я не рассчитывал на то, что Надежда Васильевна после этого уедет, просто хотел, чтобы она была внимательнее с Наташкой и хотя бы перестала называть ее «друг мой», раз Наташке это не нравится. А она уехала.

Правда, впоследствии выяснилось, что она это сделала совсем не из-за моих слов. Здесь было дело посерьезнее. Надежда Васильевна считала, что уступками любовь не завоеешь. Она была человеком сильных страстей. Ей надо было все или ничего.

Но это я уже потом понял, а пока плыл в бурном потоке событий и радовался тому, что к Наташке пришло избавление, раз Надежда Васильевна ушла от них. Наивный человек! Как я мог ничего не понять, как мог решить, что все кончилось благополучно и теперь вновь наступит райская жизнь?

Разве я подумал при этом о дяде Шуре? О Надежде Васильевне? И о том, что, может быть, именно Наташка самый неправый человек в этой истории? Потом, когда я пересказал все это тете Оле, она мне сказала: «Ты действовал, прости меня, глупо... Тебе надо было достучаться до сердца Надежды Васильевны, и она бы тебе открылась».

Да, так вот как это было.

Когда я возвращался из школы, то увидел возле нашего подъезда такси.

— Эй, парень, двадцать седьмая квартира на каком этаже? — крикнул мне шофер.

— На седьмом, — ответил я. — Это мои соседи.

— Передай, что прибыл, — попросил шофер.

Я вбежал в подъезд, вскочил в лифт, размышляя, кому понадобилось такси в такое время, когда Надежда Васильевна и дядя Шура на работе.

Дверь открыла Наташка. Она была чем-то сильно взволнована, это сразу было заметно, потому что тут же выпалила:

— Надежда Васильевна уезжает. Совсем.

Вот тут я ахнул. Все-таки этого я не ожидал.

А в комнате был настоящий кавардак: дверцы шкафа распахнуты настежь, на полу валялись стопки нот и несколько пар женских туфель.

На стуле стоял открытый чемодан, и Надежда Васильевна, не разбирая, торопливо бросала туда свои вещи.

Мы поздоровались, и я сказал ей про такси.

— Уже? — переспросила она и добавила спокойным, ровным голосом: — Хорошо, спасибо.

А я боялся встречи с нею, думал: начнет что-нибудь говорить о своем отъезде, о том, какая она несчастная, и еще, чего доброго, расплатится. Но ничего этого не произошло.

Я увидел в комнате почти незнакомую женщину: лицо непривычно худое, с чуть выступающими скулами и полузакрытые глаза, точно ей было лень открыть их совсем, точно это была для нее непосильная и ненужная работа. К тому же она была в новом костюме. Когда я встречаю хорошо знакомого человека в новой, непривычной для меня одежде, я всегда чувствую перед ним робость, как перед незнакомым. Поэтому она мне и показалась совсем чужой, и я перестал волноваться и смотрел на ее поспешные сборы, напоминающие бегство, равнодушным взглядом. Сам же думал в это время, как дядя Шура с Наташкой заживут старой, привычной жизнью.

Надежда Васильевна закрыла и подняла чемодан. Он оказался для нее тяжелым, и она уронила его на пол.

Чемодан глухо стукнулся об пол и раскрылся. Оттуда стали выпадать какие-то платья, кофты, ноты, а Надежда Васильевна в ужасе опустилась на колени, собрала оброненные вещи, затем быстро запихнула их обратно и закрыла чемодан.

— А где же дядя Шура? — спросил я.

— На работе, — ответила она.

Значит, я не ошибся, это действительно было настоящее бегство с желанием скрыться до возвращения главного обвинителя. Значит, она все же чувствует себя виноватой во всей этой истории с Малышом, раз так стремительно замечает следы.

Надежда Васильевна выпрямилась, взяла виолончель, повесила через плечо и посмотрела на Наташку, потом на меня. Провела взглядом по стенам комнаты, словно прощаясь... Ее взгляд остановился на открытом шкафе, она подошла и плотно прикрыла его. Потом на букете цветов... Она сняла виолончель, взяла цветы и пошла на кухню. Пока она меняла воду для цветов, Наташка тоже выскочила из комнаты, и они, возвращаясь, столкнулись на пороге и остановились.

Наташка несла под мышкой крокодила!

— Вы забыли,— сказала она, протягивая крокодила.

— Это твой,— ответила Надежда Васильевна.— Я же тебе его подарила.— И впервые добавила слова, не имеющие прямого отношения к отъезду: — Ведь это самый веселый крокодил в мире, пусть он живет с тобой.— Вновь вскинула виолончель на плечо и подняла чемодан.— Ну, не поминайте лихом...— И снова замолчала, она явно ждала от нас каких-то слов.

— Давайте я вам помогу,— сказал я и, не дожидаясь ее согласия, подхватил чемодан и выволок на лестничную площадку.

Я решил их оставить вдвоем — может быть, им надо о чем-нибудь поговорить в последний раз. Вызвал лифт. Стою, жду.

Наконец она вышла.

Ничего у них, видно, не получилось: лицо у нее было по-прежнему строгое, губы крепко сжаты, а глаза совсем почти закрыты, словно ей не мил был белый свет.

— Дальше не провожай,— сказала Надежда Васильевна,— я сама,— и захлопнула дверь лифта.

Я ворвался обратно в пустую комнату и сделал вид, что мне ужасно нравится все то, что сейчас произошло, что случилось нечто веселое. Я стал прыгать, дурачиться, схватил Наташку за руки, кружил ее и кричал.

Потом мы оба с хохотом упали на пол.

— А Малыша все равно не будет,— вдруг сказала Наташка.

— Будет,— уверенно ответил я и таинственно добавил: — Я его найду.

— А как?

— Это секрет.

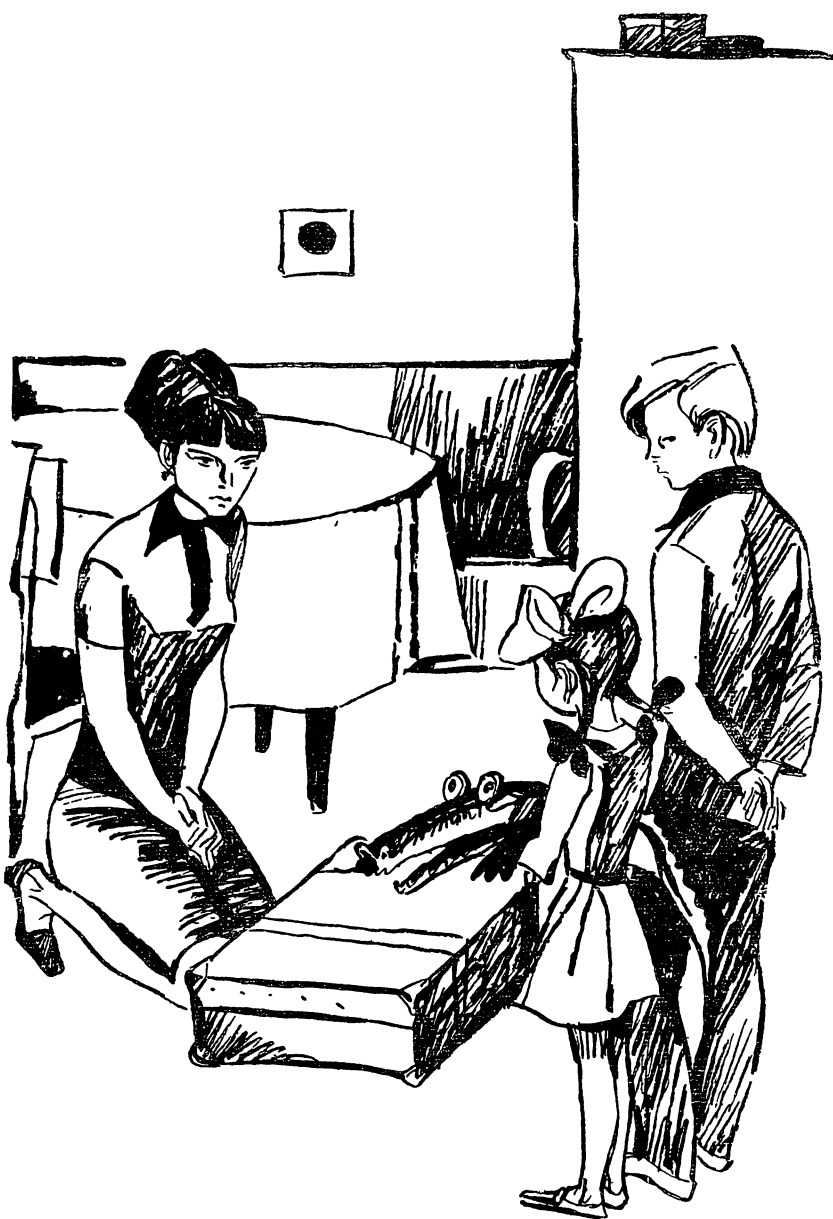
— Смотри,— сказала Наташка,— я буду ждать.

Она встала, подошла к крокодилу, наступила на него ногой и выпустила воздух. И прекрасный, веселый крокодил превратился просто в кусок резины. После этого его жалкие останки она запихнула под шкаф.

Теперь от Надежды Васильевны в комнате ничего не осталось.

Нет, остались еще цветы. Свежие, вымытые, вновь ожившие, они стояли в большом стеклянном кувшине.

«Как можно не любить цветы! Это все равно, что не любить



землю», — услышал я глубокий и ровный голос Надежды Васильевны. И готов был оглянуться — мне почудилось, что она стоит в дверях. Но я знал, конечно, что ее там нет. И мне стало горько оттого, что я должен был разочароваться в ней. Лучше бы я ее не знал...

И тут вбежал дядя Шура! Он, видимо, невероятно торопился, потому что вошел в комнату в необычном виде: пальто нараспашку и шарф торчит из кармана... Но, как видите, не успел.

Дядя Шура быстро обошел все комнаты, не снимая пальто, словно надеялся еще настигнуть Надежду Васильевну. Даже заглянул в непривычно пустой шкаф. Постоял, помолчал. И пошел к выходу, к двери, на улицу, не взглянув на нас.

Я еще ни разу не видел у него таких испуганных глаз и такого выражения лица.

— А ты не будешь обедать? — успела крикнуть вдогонку Наташка. — У нас есть суп и котлеты.

— Спасибо, — ответил дядя Шура. — Мне не хочется. — И, заглушая свои слова, хлопнул дверью.

Хлопнула дверь лифта.

Фигура дяди Шуры пересекла двор и скрылась.

Наташка вопросительно уставилась на меня.

— Ничего, — успокоил я ее, — у нас, у взрослых, так бывает.

* * *

Именно в тот день, когда я рассказал Кольке-графологу историю дяди Шуры и Надежды Васильевны, мы их встретили около метро.

Мы возвращались после неудачных поисков Малыша. Обошли, можно сказать, всех собаководов дома, в котором должен был жить Малыш со своим новым хозяином, но успеха не добились.

Сначала мы попали в квартиру, которая была не заперта, и легкомысленно вошли в нее, а вышли... только через час. Потому что, когда мы обнаружили, что в ней нет людей и хотели выйти, то нам загородила дорогу овчарка и не давала двинуться целый час. Непонятно, зачем только люди держат в домах таких злых собак!

Мы сидели смирно, сложив руки на коленях, и Колька излагал мне свой план нашего освобождения. Он предлагал рывком броситься к тахте, сдернуть с нее одеяло и набросить собаке на голову.

Как видите, план был прост, но Колька предлагал, чтобы выполнил его я, а я ответил, что уступаю ему, поскольку это его план. А он процедил, не разжимая губ, чтобы не злить овчарку раньше времени, что не может один человек и придумывать и выполнять, что должно быть разделение умственного и физического труда.

Так мы спорили до тех пор, пока не вернулась хозяйка квартиры.

А потом мы попали к старику. У него были две собачонки, и он держал их на руках. Когда он узнал всю нашу историю и то, что пропал Малыш, и то, что Наташка от переживания заболела ветрянкой, то страшно беспокоился, что его собаки могут заразиться ветрянкой.

И вот после этого, когда мы с Колькой, усталые и злые, покупали бублики около метро, чтобы немного утешить себя, я увидел дядю Шуру. Я хотел к нему подлететь, но в последний момент узнал его собеседницу и поспешно затормозил. От неожиданности я подавился бубликом и закашлялся: ведь дядя Шура беседовал не с кем-нибудь, а с Надеждой Васильевной!

Колька-графолог, чтобы остановить кашель, ударил меня изо всех сил по спине. После этого я снова обрел дар речи и прошептал:

— Вон стоит дядя Шура.

— И она? — догадался Колька.

Я кивнул:

— А я-то думал, что дядя Шура успокоился и она навсегда исчезла из нашей жизни!

— Простак, — ответил Колька-графолог.

Они стояли друг против друга, и между ними возвышалась ее виолончель. Они попеременно, а иногда и одновременно поддерживали ее: то Надежда Васильевна, то дядя Шура, то вместе, и тогда их руки сталкивались.

Прохладный ветерок трепал полы ее расстегнутого пальто и также трепал волосы на непокрытой голове. Но она ничего это-

го не замечала, внимательно слушала дядю Шуру и показывала всем своим видом необычайную нежность к нему. Он заботливо застегнул ей пальто и поднял воротник. Когда он подымал ей воротник, она успела прижаться щекой к его ладони.

— Ловка! — Колька-графолог жевал бублик и ехидно поглядывал на меня. — А твой хирург расквасился.

Наконец Надежда Васильевна нехотя вскинула виолончель на плечо, и они разошлись.

Дядя Шура прошел мимо меня, не заметив. До меня ли ему: он не видел никого и ничего. Наскочил на какую-то женщину, извинился. Радостная улыбка не сходила у него с лица.

— Ну, — Колька-графолог подтолкнул меня, — надо действовать.

— Хорошо, — послушно согласился я. — Сейчас я ей все объясню. — Я угрожающе сунул бублик в карман, как будто это пистолет, и устремился в погоню за Надеждой Васильевной.

Я обогнал ее и преградил дорогу.

Нет, она не изменилась. Она была такая же прекрасная, как раньше, а может быть, даже лучше, потому что похудела и глаза у нее от этого увеличились. Это было самое обидное.

— А, Боря, здравствуй! — весело сказала она. — Откуда свалился?

— Из метро вышел и увидел вас, — многозначительно ответил я и стал ждать, как она начнет передо мной оправдываться.

Но нет, она и не думала оправдываться, опустила руку на мое плечо и радостно предложила:

— Проводи меня немного, а то я, как всегда, опаздываю.

И я вдруг чему-то обрадовался и незаметно для себя пошел рядом с нею.

— Понеси виолончель, — попросила она.

И ее виолончель оказалась у меня в руках, и блаженная улыбочка, какая только что озаряла лицо дяди Шуры, поползла по моим губам.

Тут я увидел Кольку-графолога, который почему-то шел к нам навстречу, хотя мы расстались около метро. Он усиленно вращал глазами, но, честно говоря, я узнал его только в тот момент, когда он сильно толкнул меня в бок.

Виолончель испуганно звякнула, и я остановился.

— Ты чего? — спросила Надежда Васильевна.

«Ну и подлец! — подумал я про себя. — Ну и дамский угодник! Из-за каких-то лучистых глаз готов был предать идею! Хорошо, что графолог меня вовремя остановил. Молодец!»

Я отвернулся, чтобы не видеть лица и гипнотических глаз Надежды Васильевны, и процедил:

— И дядю Шуру, между прочим, я тоже видел, — и протянул ей виолончель.

— А-а-а, — неопределенно ответила она, еще не понимая, в чем дело, и взяла виолончель.

Похоже было, что мой выпад никак на нее не подействовал. Ну что ж, пойдем дальше, расхрабрился я, это нам не трудно, наша дорога не дальняя. Я достал из кармана недоеденный бублик, вгрызся в него зубами и спросил:

— Правда, он очень изменился, похудел?

— Жизнь наладится, он и поправится, — ответила она.

— А когда она наладится? — не отставал я и ехидно, на манер Кольки-графолога, добавил: — Вы ведь знаете все наперед.

— Месяца через два, — сказала Надежда Васильевна.

— Через два? — переспросил я. — А по-моему, гораздо раньше, если им никто не будет мешать.

— Вот как, — сказала Надежда Васильевна, точно хотела спросить: «Что с тобой случилось, друг мой?»

Она так грустно и странно посмотрела на меня, словно открыла во мне что-то неприятное.

Я потом часто вспоминал ее взгляд.

Какой-то прохожий толкнул ее, зацепившись за виолончель. Она резко сняла ее, оторвала ремнем пуговицу у пальто, не обратив на это никакого внимания. Ее длинные волосы, торопливо завернутые в пучок — вероятно, она спешила на свидание к дяде Шуре и не успела аккуратно причесаться, — от резких жестов рассыпались и упали ей на лицо. Отбросив их, она, не глядя на меня, покинула поле боя.

Она убегала от меня в который раз, на ходу занимаясь своим любимым делом: перебрасывая виолончель из одной руки в другую.

Тут ко мне подошел Колька-графолог и одобрительно хмыкнул.

— По-моему, я ее победил,— неуверенно сказал я.

— Ну конечно,— поддержал Колька.— Видел, как она рванула!

— Может, я слишком сурово? — спросил я.

— Ситуация требовала решительных поступков,— сказал Колька.

— Все же ее жалко,— признался я.

— Ты выполнил свой долг,— сказал Колька.

Его маленькое подвижное лицо приобрело окаменелость: он явно презирал меня за нерешительность.

Необдуманная лихость овладела мной, и я, чтобы не отставать от Кольки-графолога, сказал:

— Мавр сделал свое дело, мавр может уйти!

— Тоже тетя Оля? — догадался Колька.— Это надо запомнить.

Я кивнул: она, моя учительница. Правда, тетя Оля всегда произносила эти слова горьким, недовольным голосом, и они ей служили присказкой к какому-нибудь высказыванию, вроде: «Нет ничего горше самовлюбленной юности. Все-то они знают, все-то понимают, во все лезут, все решают и поэтому бьют очень сильно». Я же, как видите, ограничился только первой ее фразой.

— Даже пуговицу не успела поднять,— хихикнул я.

Но тут мне почему-то стало стыдно: собственно, над чем я так усердно хихикал? Я наклонился, поднял пуговицу и опустил в карман.

* * *

Наша жизнь потихоньку, не без моего участия, налаживалась. Я старался и, казалось, действовал успешно. Только вчера, например, я отвел дядю Шуру и Наташку в Зоопарк. Они ведь не были там с тех пор, как у них в доме появилась Надежда Васильевна. И все это я сделал ловко и тонко, никто из них даже не догадался, что их случайная встреча была мною подготовлена. Я крепко усвоил слова тети Оли: «Если хочешь сделать что-нибудь кому-нибудь приятное, делай это незаметно, без усилий, невзначай».

Тетя Оля сама тоже любила поступать «невзначай». Бывало,

придет к нам, а в сумке у нее при этом с десяток пирожных. Или билеты в кино. Она выбрасывала их в последнюю минуту, когда уже уходила.

И я тоже, действуя ее методом, привел Наташку невзначай к больнице дяди Шуры.

— Смотри, куда мы попали,— сказал я.

— Папина больница,— удивилась Наташка.

— Может, зайдём? — предложил я. — Сделаем ему приятное.

И мы зашли и дождались его, и все было просто замечательно, потому что мы попали в Зоопарк, как когда-то. Правда, в Зоопарке нам не очень понравилось: всех зверей из летних вольеров перевели в зимние помещения и звери были не такие веселые. Конечно, без солнца и неба.

* * *

Как-то я сидел дома, и вдруг до меня долетела откуда-то музыка. Я прижался ухом к стене. Не было никакого сомнения: в квартире у дяди Шуры играла виолончель.

Значит, все же вернулась Надежда Васильевна?! Вернулась, несмотря на мою просьбу. Теперь Наташка наверняка что-нибудь выкинет. Сбежит в цирк или уйдет к цыганам...

Дверь мне открыл сам дядя Шура, и звуки виолончели обрушились на меня.

— А, это ты, мыслитель! — равнодушно произнес дядя Шура, хотя вид у него был явно возбужденный.

И «мыслителем» он меня почему-то обругал, и в комнату не приглашал. Неужто она наябедничала? Ну что ж, ничего не поделаешь, оказался лишним, хотя почему-то было чертовски обидно. Всегда обидно, когда тебя не понимают.

— Скажите Наташке, пусть зайдет ко мне.

Я человек гордый и никогда никому навязываться не собирался.

— А ты не зайдешь? — спросил дядя Шура. Он обнял меня за плечи: — Всем мыслителям трудно живется. Они вечно размышляют, размышляют... А по мне, надо жить проще и естественней. Если что-то непонятно, возьми и скажи. — Он остановился: — Послушай. Как играет!.. А ты думаешь, я не прав?

— Словами всего не выскажешь,— сказал я.— Я вам не помешаю? — Я боялся встречи с Надеждой Васильевной.

— Не мешаешь,— резко сказал дядя Шура и первый вошел в комнату.

Я остановился на пороге и огляделся.

Никакой Надежды Васильевны в комнате не было, но около дивана стоял магнитофон. Его динамики были включены на полную силу. И более того: я почему-то впервые заметил, что комната дяди Шуры приняла прежний вид, какой она была еще до Надежды Васильевны.

Дядя Шура с размаху плюхнулся на диван.

— Что-то вы мне не нравитесь,— сказал я, стараясь перекричать магнитофон.

— Я сам себе не нравлюсь,— ответил дядя Шура.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Ничего,— ответил дядя Шура.— Или, точнее, случилось все, что могло случиться.

В это время появилась из своей комнаты ее светлость Наталья Александровна, наклонилась к магнитофону и убрала звук.

Дядя Шура протянул руку к магнитофону и снова усилил звук. Он устало закрыл глаза.

Наташка обиженно повернулась и ушла.

Да, подумал я, в этом доме явно не хватает тети Оли с ее нежностью и добротой и неожиданными точными словами, против которых нечего возразить. А у меня пока, хотя я и старательный ее ученик, толком ничего не получается.

Я подумал, что, может быть, Наташка и я далеко не во всем правы...

Теперь, когда вся эта история канула в Лету, я часто вспоминаю ее, но никак не могу понять, как я мог совершить столько необдуманных, неблагородных поступков. Честно, меня до сих пор это пугает. А вдруг со мной случится снова что-нибудь в этом роде? Или еще хуже.

Ведь назвал я благородного Петьку, хозяина Рэды, вором!

Я его встретил совершенно неожиданно в школьном коридоре. Искал-искал, бегал-бегал, а нашел у себя под носом.

Когда я его увидел, то не сразу понял, что это он. Прошел несколько шагов вперед и оглянулся.

И он оглянулся, и наши глаза встретились. А в следующий момент мы одновременно перешли на стремительный бег по школьным коридорам, лестницам, закоулкам, сбивая на ходу встречаемых ребят. И когда я его схватил, то некоторое время не мог произнести ни слова, так задохнулся от быстрого бега. Он оказался вертким и сильным.

— Теперь ты,— сказал я, отдышавшись,— от меня не убежишь.

— А я,— сказал он нагло,— и не собираюсь.

— «Не собираюсь»! — передразнил я его.

— Не собираюсь,— повторил Петька.

— Может быть, скажешь, что ты от меня и не убегал?

— Убегал.

— Почему? — спросил я, угрожающе сжимая Петькино плечо.

— Потому что ты за мной гонялся,— ответил он.

— Ну вот, а теперь я тебя поймал,— сказал я тоном победителя.— Когда отдашь собаку?

— Никогда! — ответил Петька.

— Никогда?! — возмутился я и сильно тряхнул Петьку.

— Это моя собака,— упрямо сказал он.

— А ну, пошли в класс! — Я почти волоком протащил его по коридору.— Там ты у меня попляшешь... на виду у всех.

Так мы пришли в его класс, где и произошел этот ужасный случай, о котором я никак не могу забыть.

Значит, втащил я его в класс и громовым голосом, полным упоенного самодовольства, крикнул:

— Ребята,— и толкнул вперед Петьку,— он украл нашу собаку!

Поднялся, конечно, невообразимый шум, потому что никто из них еще никогда в жизни живого вора не видел!

— Где вор, кто вор?! — понеслось со всех сторон.— Петька?!

А Петька, не обращая внимания на все эти шумы и крики, подошел к своей парте, достал из портфеля аккуратно сложенный лист и протянул мне.

Я развернул лист и прочел: «Паспорт собаки по кличке «Рэда». Хозяин — П. Я. Смирнов. Породы чау-чау».

Пока я это читал и передо мной вырисовывалась действи-

тельная картина событий, нас окружили плотным кольцом Петькины одноклассники, стараясь заглянуть в бумагу.

— А кто же это П. Я. Смирнов? — спросил я.

— Это я, — ответил Петька. — Петр Яковлевич Смирнов.

— Точно! — крикнул кто-то из ребят. — Это он!

— А может, ты переименовал Малыша в Рэду, — противно не сдавался я, — чтобы замести следы.

— Чудак, — без всякой злости сказал Петька. — Малыш — мальчик, а Рэда ведь девочка!

И тогда все стали почему-то хохотать, а я повернулся, чтобы скрыться.

— А кто будет извиняться за оскорбление? — настиг меня мальчишеский голос.

— Извини, если можешь, — сказал я и исчез не оглядываясь.

Народ теперь пошел! Спуска не даст!

Петьку я познакомил с Наташкой, он теперь ее лучший друг. И дядя Шура проникся к нему таким расположением, что научил своим фокусам. А Надежда Васильевна вошла с ним в тайный сговор. Оказывается, они ждут от Рэды потомства, но тщательно это скрывают, чтобы сделать Наташке сюрприз. И тетя Оля сразу распознала в нем благородного человека.

Только Кольке-графологу он не понравился. Тот заставил его написать на бумажке несколько слов, потом выхватил ее, долго изучал, можно сказать, проел глазами, повернулся ко мне, будто Петьки здесь не было, и снисходительно поставил диагноз: «Слишком прост и наивен. Не сильная личность».

Зато тетя Оля, когда услышала про графолога, сказала: «Он Наполеон какой-то... Бонапарт. Приведи его ко мне. Я камня на камне не оставлю от этой сильной личности».

Правда, на этот раз у тети Оли ничего не вышло. Во время их единственной беседы она пыталась, как она говорит, проникнуть во внутренний мир Кольки-графолога, чтобы понять, зачем ему необходимо стать сильной личностью. Она в течение двух часов рассказывала нам про свою жизнь, надеясь вызвать Кольку на ответную откровенность, угощала чаем с вареньем, жареной хрустящей картошкой. Она так старалась, что ей стало плохо с сердцем, и она украдкой пила в соседней комнате капли.

Но Колька-графолог остался непроницаем. Он только после

этого изменил свою тактику. Вместо молчаливого одиночества он «изобрел» систему завоевания авторитета.

«Людей надо покорять и завоевывать, чтобы стать первым среди них,— сказал он как-то мне.— Скоро весь класс будет у моих ног».

Для этого он научился играть на гитаре и петь, стал усиленно заниматься математикой и физикой. Однажды даже вступил в математический спор с учительницей и победил ее. Его милое птичье лицо неизвестно каким образом приобрело жесткость. Он усох еще больше и вытянулся (у него есть своя система вытягивания роста, но он ее скрывает). Снял очки и сказал, что тренировкой и силой воли вернул себе зрение. Он уже близок к достижению своей цели, потому что успешно покорил пол-класса...

Но вернемся вновь к нашей истории, а то я никогда ее не закончу. Учительница литературы предупредила, что у меня нет стройности мысли при изложении, что я люблю отвлекаться по каждому незначительному поводу. И это большой недостаток. А мне нравится отвлекаться.

* * *

Благородный Петька посоветовал мне пойти на Птичий рынок. Он сказал, что там иногда продают случайно найденных собак.

И представьте, на Птичьем рынке я действительно нашел... только не Малыша, а Надежду Васильевну! Это была не простая встреча.

Я присел на корточки около выводка овчарок: их было целых шесть штук, симпатичных щенков. Они ползали по коврику возле своей гордой громадной матери.

— Мне нужен щенок породы чау-чау,— раздался надо мной женский голос.— Вы здесь таких не встречали?

В первый момент я ее не узнал, но слово «чау-чау» привлекло мое внимание.

— Чау-чау? — переспросил хозяин овчарки.— Не знаю.

— Они такие лохматые,— объяснила Надежда Васильевна.

И вот тут-то я ее узнал по голосу и насторожился.

— А вы возьмите моего щенка,— предложил хозяин овчарки.— Умная порода.

— Спасибо,— ответила Надежда Васильевна.— Мне надо именно чау-чау... У моей дочери был такой щенок... и пропал. Вот я и ищу нового.

Я чуть не упал от ее слов, прямо готов был плюхнуться на грязную мостовую.

«У моей дочери»,— сказала она. «У моей дочери... у моей дочери»,— как дурак, твердил я про себя.

Я здорово обрадовался, когда наконец почувствовал значение ее слов. Выходило, что она любит Наташку, раз называет своей дочерью.

«В конце концов,— как говорит тетя Оля,— все истории когда-нибудь заканчиваются, и, как правило, благополучно».

Я встал и сказал:

— Здравствуйте, Надежда Васильевна.

Улыбнулся и подумал, сейчас она ответит мне прежними словами: «Привет... Видел ли ты сегодня цветные сны?..» Но она ничего такого не ответила, а безразлично, без тени удивления оглядела меня:

— А-а-а, и ты...

Ее слова больно хлестнули меня. Это было как раз на тему о предательстве. Может быть, она об этом и не подумала, может, это вышло случайно, но у меня в голове эта фраза приобрела сразу свой знаменитый законченный смысл: «И ты, Брут...»

«Ну что ж,— подумал я,— пойдем дальше по этой дороге, поглощаем горькой пыли. Что заслужили, то и получили».

Я посмотрел на нее — неужели она на самом деле так думала обо мне,— но ни о чем не догадался, а только увидел, что лепестки цветов у нее в глазах расцвели невероятно.

— Добрый день,— спокойно произнесла Надежда Васильевна.

— «...любитель случайных встреч»,— подхватил я, произнеся фразу, которую мне когда-то сказала она сама.

Надежда Васильевна мгновенно посмотрела на меня. Я снова ей улыбнулся — по-моему, это была самая жалкая, заискивающая улыбочка за всю мою жизнь,— но успеха не добился. Она не приняла моей протянутой руки даже ценой унижения.



Постояли. Помолчали.

— Вот решил зайти,— выдал я.— Может, чего куплю.

Мы поболтали еще несколько минут о разных пустяках, о том, чего только не продают на этом рынке. Она сказала:

— Все, кроме лунной породы.

А я добавил, стараясь ее развеселить:

— И виолончели...

Она не развеселилась.

О Малыше и собаках породы чау-чау мы не сказали ни слова. О дяде Шуре и Наташке тоже ничего.

Но в конце концов я все же не выдержал и спросил:

— Надежда Васильевна, вы на меня сердитесь?

— Да,— сказала она.— Сержусь.

— Я подумал,— в отчаянии признался я,— может, вы Наташу не любите. Хотел как лучше... для всех.

Все. Точка. Баста. Мы готовы были разойтись навсегда, но она продолжала смотреть на меня изучающе. Что-то, видно, увидела жалостливое, потому что жестко добавила:

— Так ты ничего и не понял. Остался верным учеником своей тети Оли.

Действительно, по моему лицу всегда можно догадаться, что у меня на душе. Это мой большой недостаток, я никак не научусь скрывать свои чувства. Недаром тетя Оля говорит: «Твое лицо как букварь. Его всегда легко и просто прочесть. Впрочем, не расстраивайся, со мной всю жизнь творится то же самое».

Обиднее всего, что я не нашелся, как заступиться за тетю Олю. Надежда Васильевна ведь была несправедлива к ней. Разве тетя Оля просто добренькая?

Так Надежда Васильевна и ушла. Когда она была уже довольно далеко, я все же крикнул ей в спину:

— Вы неправы!

Не знаю, слыхала она мои слова или нет, только не оглянулась. А я почувствовал, что надежная дорога ведет куда-то в другую сторону, а моя петляет среди кочек и болот.

Затем я почувствовал острый голод. У меня всегда появляется ощущение голода, когда я сильно волнуюсь. Мне бы что угодно пожевать, это меня отвлекает. Некоторые люди, как известно, теряют всякий аппетит, когда волнуются, я же наоборот.

Я купил в палатке бублик и автоматически, все еще думая о Надежде Васильевне, вонзил в него зубы. И вдруг, вы не поверите, чудесный бублик, пахнувший свежим тестом и маком, показался мне горьким-прегорьким. Я даже в удивлении посмотрел на него. Нет, тесто обыкновенное: белое и мягкое. А дело было в том, что этот бублик напомнил мне тот день, когда я случайно около нашего метро встретил Надежду Васильевну с дядей Шурой и сказал ей про то, что она мешает хорошо и мирно жить дяде Шуре и Наташке.

Я ведь тогда тоже ел бублик; нахально так жевал перед ее носом этот вездесущий проклятый бублик и цедил сквозь зубы жестокие слова.

Вспомнить страшно, что я ей тогда наговорил! «Правда, он (дядя Шура) очень изменился, похудел?»

«Жизнь наладится, он и поправится», — ответила она.

«А когда она наладится? — не отставал я и ехидно, на манер Кольки-графолога, добавил: — Вы ведь знаете все наперед».

Вспомнил, как она бежала от меня, как лихорадочно перебрасывала виолончель из одной руки в другую, как ветер растрепал ее торопливо собранную прическу и бросил ей волосы на лицо.

Все это предстало передо мной с такой невероятной точностью, что мне показалось — стоит протянуть руку, и я коснусь морской металлической пуговицы на ее пальто.

От этих воспоминаний мне стало нестерпимо стыдно, и хотя тетя Оля говорит: «Стыдно — это хорошо, это, знаешь ли, благородно, это значит, что ты такого больше не сотворишь», — мне это ничуть не помогло, ибо то, что было сделано, было достаточно гнусным.

Тут я вам должен честно признаться, что тетя Оля, когда я навещал ее, предостерегала меня, что я веду себя неправильно.

«Поверь моему педагогическому чутью, — сказала она. — Они обязательно помирятся, потому что любят друг друга».

Тогда в ответ ей я только нервно хихикнул и презрел ее педагогическое чутье. А напрасно. Но что теперь об этом говорить, все мы умны задним числом!

Я попробовал снова хихикнуть, на этот раз над собой. Иногда, говорят, смех выручает. Но сейчас он меня не выручил:

скулы свело чем-то вроде судороги. А ведь совсем недавно она прислала мне открытку из Ленинграда и называла «друг мой». Помню, как я радовался ее обращению. «Друг мой,— писала она.— Посмотри, какой красивый дворец...» Я перевернул открытку и увидел фотографию двухэтажного каменного дома, мельком взглянул, но так как меня интересовал не этот дворец, а ее письмо, то я снова перевернул открытку и прочел до конца.

«...Посмотри, какой красивый дворец,— писала Надежда Васильевна.— Кажется — его строили не люди, а он вырос сам, вернее, родился из земли, на которой стоит. Как деревья и цветы. Ты лучше поймешь меня, если отложишь сейчас открытку в сторону, а потом возьмешь ее словно случайно. И так сделай много раз, и тогда ты станешь думать об этом дворце и к тебе придет удивление перед ним, как ко мне».

И действительно, так оно и получилось.

Первый раз, когда я взглянул на этот дом, то заметил лишь его желтый цвет и автоматически отметил количество этажей. Красота же его осталась для меня незамеченной. Тогда я не знал, что прекрасное понимаешь не сразу, что нужно много времени, чтобы научиться этому... Посмотрев на открытку во второй раз, я увидел, что окна в доме имеют какой-то особенный четкий и легкий рисунок, а арка кажется узкой и такой таинственной, что появлялось непреодолимое желание войти в нее; потому что там, так мне казалось, спрятано какое-то невероятное чудо.

Однажды, возвращаясь домой, я вспомнил про открытку, и мне захотелось немедленно ее увидеть. И от этого мне стало радостно, хотя ведь ничего особенного не произошло. Просто у меня дома на столе лежала открытка с изображением дворца времен царствования Екатерины Второй, и все.

А чего стоили ее слова (как я мог их забыть!): «Знаешь, внутри каждого из нас заложен огромный разнообразный мир. Человек — это целая Вселенная. И ты тоже Вселенная. Только надо научиться открывать себя. Если ты будешь всегда помнить об этом, то твои поступки станут значительными и важными и тебе не захочется заниматься чем-то случайным. Будет жалко и обидно терять свое время».

А теперь она, то есть Надежда Васильевна, все удалялась и удалялась от меня и превращалась из обыкновенного человека в недосягаемую горную вершину, которая без конца манит к себе, но которую тебе никогда не дано покорить. Так я ее снова сильно полюбил, может быть, больше, чем раньше, и понял, что виноват перед нею и безвозвратно ее потерял. И этот мой поступок навечно будет на моей совести, как клеймо на плече древнего раба.

* * *

Итак, заклеянный и уничтоженный, я припелся к Наташке. А та занималась каким-то странным, непривычным делом. Она подметала пол. Веник для нее был велик, и она держала его двумя руками. Ей было явно не до меня.

Я сел в любимое кресло дяди Шуры и стал думать.

Жалко, что не заступился за тетю Олю. Крик в удаляющуюся спину Надежды Васильевны: «Вы неправы!» — это не защита друга. И я вспомнил еще одну историю.

Это случилось после скандала с Колькой-графологом. Правда, я не хотел про это рассказывать, потому что история с Колькой пока имеет только начало и в ней нет конца, а я, как известно, люблю рассказывать только законченные истории. Тогда в них есть и смысл. Но уж раз пришлось к слову...

Дело дошло до того, что я решил уйти из школы. В последнее время я стал избегать Кольку-графолога. А его это ущемляло: все «у его ног», а я нет. И он повел на меня атаку. Как-то пристал ко мне с расспросами, что нового слышно о Надежде Васильевне. А когда я ему ответил, что ничего, он от меня отвязался, отошел к своим друзьям и громко, чтобы я слышал, начал рассказывать про то, какая Надежда Васильевна роковая женщина, как в нее влюблен «некто», подстерегает ее, носит вилончель и прочее, и прочее, и прочее...

Тогда я ему сказал, что это низко — выдавать чужие секреты, и что он вообще подлец! И добавил, что, если он сейчас не прекратит, я его ударю. Так и сказал. Грубо, конечно. А ведь нельзя еще забывать, что в этом классе я новичок и все, можно сказать, против меня.

«Ну попробуй», — ответил он и гордо сложил руки на груди.

Мы переругивались через весь класс и, когда он произнес: «Ну, попробуй», — то был, конечно, уверен, что я своей угрозы не выполню. А я прошел к нему, при этом я двигался необыкновенно легкой походкой, как будто шел на приятное свидание, посмотрел в его бывшее милое птичье лицо, поднял руку для удара и... не ударил! Вместо этого я улыбнулся и похлопал его по плечу. А он не ожидал этого и вздрогнул, как от удара.

Если бы я его ударил, он бы, вероятно, не так разозлился, а тут просто обезумел. Он приказал: «Ребята, хватай его!» — и вместе с друзьями набросился на меня, когда я стоял к ним уже спиной.

Они скрутили мне руки, повалили на пол и сели на ноги. Но этого ему показалось мало, и он крикнул: «Давайте его разденем!» Ему тоже хотелось меня унижить.

Они стянули с меня рубашку, брюки и ботинки. А в это время в класс вошла литераторша. Она чуть не упала от возмущения. Я ее понимаю, я бы сам на ее месте упал. Она же не знала, как все произошло.

«Вон, — закричала она. — Сейчас же!..»

Я подхватил свои вещички и как был, в трусах, в майке и в одном носке, бросился к дверям.

«Дневник!» — остановила она меня.

Тогда я забился в угол и хотел быстро одеться, прежде чем принести ей дневник, но она не дала мне этого сделать.

«Нет, — сказала она. — Так и стой перед девочками!..»

Когда я в уборной одевался, то меня колотила дрожь.

После этого я и решил не ходить больше в школу и провалялся около телевизора три дня.

Первые два дня Наташка старалась прорваться ко мне, но я ее не пускал. Но на третий день она, видно, не выдержала, и передо мной появился дядя Шура. Он спросил, как мои дела, что это меня не видно и не заболел ли я. Между прочим спросил о школе. Конечно, это была Наташкина работа: видно, принесла из школы на хвосте. Я ему честно ответил, что эта школа мне не по душе. Он, как всегда, был лаконичен, он только сказал: «Обидно» — и больше ничего. А на следующий день мне позвонил Сашка и зазвал меня в старую школу. И я пошел, и все мне были рады. А бывшие первоклашки чуть с ума не

сошли от радости. Я обошел все школьные закоулки, паговорился со старыми знакомыми, был совсем счастлив. Но странное дело: я чувствовал, что это уже не мое и возвращаться сюда мне не хотелось, и это привело меня в такое состояние, что на следующее утро я отправился в свою новую школу.

И только совсем недавно я узнал, что звонок Сашки устроил дядя Шура. Вот это друг! Не кричал, не бил себя кулаком в грудь, а помог. Не то что я.

Тут в моей голове вдруг сложилась простейшая формула для действия. Раз Надежда Васильевна любит Наташку, почему бы Наташке не полюбить Надежду Васильевну?

Наташка кончила подметать пол, достала из шкафа старую, забытую скатерть и сказала:

— Боря, помоги мне постелить скатерть.

От этих ее слов, от того, что она достала скатерть, которую так любила Надежда Васильевна, меня просто выбросило из кресла, как из катапульты. «Ого! — подумал я. — Кажется, можно действовать!»

Мы расстелили скатерть и теперь стояли с разных сторон стола друг против друга.

Почти одновременно мы подняли головы от розовой поверхности скатерти, и наши глаза столкнулись, и Наташка догадалась, о ком я думаю. Потому что она сама думала о Надежде Васильевне!

— Ты изменилась за последнее время, — сказал я. — Глаза у тебя усталые.

— Уроков много задают, — ответила Наташка и отвернулась.

— Конечно, — сказал я. — Это тебе не первый класс. — И решил: — Слушай, я давно хотел с тобой посоветоваться... — Небрежно так произнес, а у самого все внутри напряглось. — Вот жили три человека... А потом разъехались. Двум от этого плохо, а одному хорошо... Что в этом случае делать?.. Как поступить?

Я повернулся к ней спиной, чтобы сесть в кресло, а когда обернулся, ее в комнате не было. Скоро она вернулась, неся в руках кувшин с цветами. Поставила его на стол, и в комнате стало совсем как прежде.

— Розовые цветы на розовом,— сказал я, как когда-то говорила Надежда Васильевна.

— Вот придет папа,— сказала Наташка, не обращая внимания на мои слова,— а у меня чистота.

— Наташка,— сказал я,— а почему ты мне ничего не ответила?

Наташка промолчала.

Я тяжело вздохнул.

— «Нет ничего горше самовлюбленной юности,— сказал я словами тети Оли.— Все-то они знают, все понимают, во все лезут, все решают и поэтому бьют очень сильно».

Наташка ничего не успела ответить, потому что хлопнула входная дверь и раздался голос дяди Шуры:

— На-та-ша!

Наташка, не отзываясь, схватила меня за руку и втащила в свою комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Это была ее любимая игра: она пряталась от дяди Шуры, а тот долго ее искал. Но на этот раз из этого ничего не вышло.

Мы услышали, как дядя Шура вошел в первую комнату, на секунду остановился, а потом стремительно ее пересек, резко открыл дверь, увидел нас... и улыбка сползла с его лица.

— Здравствуйте, дядя Шура,— сказал я.

Он был так чем-то раздосадован, что даже не ответил мне.

— Ты одна... все убрала? — спросил он у Наташки.

— Да,— ответила Наташка.

И тогда я догадался, что ему пришло в голову, когда он увидел убранную комнату.

— Папа, правда красивые цветы? — спросила Наташка.

— Очень,— ответил дядя Шура и снова, конечно, подумал о Надежде Васильевне.

Все здесь напоминало о ней: скатерть, цветы, Наташкина виолончель, заброшенная на шкаф. А у меня в голове совершенно некстати зазвучала песенка, которую мы вчетвером распевали, и я еле сдержался, чтобы ее не запеть.

— Мне кто-нибудь звонил? — спросил дядя Шура, снял трубку телефона и нетерпеливо постучал по рычагу: — Телефон, что ли, испортился?

И тут я решил, что неплохо было бы побеседовать с дядей

Шурой без свидетелей и кое-что ему сообщить, чтобы поднять настроение.

— Сейчас я вам позвоню, чтобы проверить,— сказал я.

Выскочил из комнаты, вбежал в свою квартиру, набрал номер телефона и, когда услышал голос дяди Шуры, сказал:

— Дядя Шура, вам привет...

— От кого? — автоматически спросил он.

— От Надежды Васильевны,— выпалил я.— Я ее встретил на Птичьем рынке. А знаете, что она там делала? — Я сделал длинную паузу, чтобы окончательно поразить дядю Шуру.— Она искала собаку... породы чау-чау для своей дочери!

Тут я замолчал и молчал долго-долго, но все-таки перемолчать дядю Шуру не смог. Известно, у него редкая выдержка.

— Алло, дядя Шура! — крикнул я.— Вы слышите меня?

— Да, да,— ответил дядя Шура.

— По-моему, Надежде Васильевне пора возвращаться,— сказал я.

— Ты думаешь? — очень серьезно спросил дядя Шура.

— Конечно,— ответил я воодушевленно.— И это я беру на себя.

— Спасибо,— сказал дядя Шура и повесил трубку.

Когда же я вернулся к ним, они сидели на кухне и пили чай. Я услышал их разговор и замедлил шаг.

— А мы пойдем гулять? — спросила Наташка.

— Пойдем,— раздался в ответ голос дяди Шуры.

— А когда? — не отставала Наташка.

— Когда мне позвонят.

— А если тебе никогда не позвонят? — сказала Наташка.

В этот момент я появился в дверях, и дядя Шура, не ответив Наташке, пригласил меня к чаю. А я весь был в напряжении, у меня так бывает. В такие минуты мне все удается и на ум приходят самые правильные решения.

Я бросился в комнату, достал из-под шкафа давно забытого резинового крокодила и, надувая его на ходу, помчался на кухню. Я появился перед ними с крокодилом, как когда-то Надежда Васильевна. Они оба почти одновременно поперхнулись чаем, несмотря на их хваленую фамильную выдержку. Я чуть не упал от смеха.

— Зачем ты его достал?—недружелюбно спросила Наташка.

— Это же самый веселый крокодил в мире,— находчиво ответил я, продолжая надувать крокодила.

Я весь по-прежнему дрожал от возбуждения, потому что дядя Шура мог бы и не принять вмешательства в их внутренние дела. Он мог резко бросить: «Отнеси его на место!»

Но он промолчал, налил мне чаю и, как всегда, положил передо мной на тарелку несколько бутербродов. Он знал, что я «бутербродная душа», хотя он меня иногда заставлял есть и суп, который сам готовил Наташке два раза в неделю.

— Садись,— сказал дядя Шура и незаметно подмигнул мне.

Значит, он мои действия одобрил и безоговорочно принял в союзники!

А я завел крокодила и пустил его гулять по полу, и он стал открывать и закрывать свою крокодиловую пасть.

Дурацкая игрушка, а почему-то когда смотришь на нее, то смешно. Я первый не выдержал и засмеялся, потом засмеялся дядя Шура. И вдруг Наташка, сама неумолимая Наташка, тоже улыбнулась, но тут же, чтобы скрыть это, наклонилась к чашке.

— Если он тебе не нравится,— сказал дядя Шура,— пусть Борис его кому-нибудь подарит.

Наташка не ответила: она увлеченно пила чай.

— Так я возьму его,— сказал я.

— Дареного не дарят,— вдруг тихо произнесла Наташка.

Это была уже какая-то победа. Теперь можно было двинуться дальше.

— Подумаешь, крокодил,— небрежно сказал я.— Это ведь не собака.

Дядя Шура посмотрел на меня осуждающе. Но я не отказался от своих слов, ибо у меня в голове созрел моментально новый план действий. Я решил отвести Наташку к Петьке. Тот отдаст ей свою Рэду. Дядя Шура сообщит об этом Надежде Васильевне, и та вернется. Они помирятся с Наташкой. А тогда я все расскажу Наташке, и она вернет этому разнесчастному влюбленному собаководу обратно Рэду.

— Если бы была собака...— вздохнула Наташка.

И тут я бросил им главный, победный козырь,

— А она есть,— сказал я.— Я ее нашел.

— Нет, правда? — закричала Наташка.

Дядю Шуру словно подбросило. Он подбежал ко мне, зачем-то хлопнул сильно по плечу. Признаться, я еле удержался на ногах. Затем он стал радостно кружить Наташку.

Он был счастлив и весел. Он прыгал, как мальчишка, как бывший счастливый дядя Шура.

— Ну, Расскажи, Расскажи, как это произошло? — спросил дядя Шура, когда немного успокоился.

— Как?.. «Кто ищет, тот всегда найдет», — ответил я. — Вот я и нашел. Только у Малыша теперь другое имя. Его зовут Рэд. И он привык к этому имени. — Я нарочно переделал женское имя «Рэда» в мужское «Рэд».

→ А они его отдадут? — испуганно спросила Наташка.

— Конечно, — сказал дядя Шура. — Обязательно отдадут. Пойдемте за ним немедленно.

Я испугался: ведь надо было обо всем этом еще предупредить Петьку.

— Сегодня нельзя, — сказал я. — Их нет дома. Мы пойдем завтра, я договорился.

— А завтра я не могу, — сказал дядя Шура. — У меня срочная работа.

— Ничего, — успокоил я его, — мы сходим с Наташкой. Можете на меня положиться.

Но тут зазвонил телефон, дядя Шура стремительно схватил трубку и начал восторженно кричать:

— Здесь такие события!.. Нам надо немедленно встретиться! — Повесил трубку, выскочил в коридор и вернулся в пальто. — Я скоро... Через полчаса!

Как он торопился! Едва попал в рукава пальто.

Он был так рад моему сообщению, он был так рад этому звонку! Если бы на самом деле было так, как я рассказал... Мне захотелось побыстрее убежать от Наташки.

— И я с вами, — сказал я. — Мне надо в город.

— Пошли, — сказал дядя Шура.

Он уже был на ходу, он готов был сбежать, чтобы «кому-то» (известно, кому!) сообщить сверхрадостную новость о том, что нашелся Малыш.

Но Наташка остановила его на этом пути.

— И я тоже с тобой,— сказала она.

— Как... со мной? — Дядя Шура смутился.— Я же вернусь через полчаса.— Несмотря на свою выдержку, он часто смущался.

— Ты обещал,— упрямо сказала Наташка.

А я, вдохновленный своим озарением, чувствуя, что именно надо делать, находчиво вставил:

— Пойдем все вместе.

— Ну что ж,— решительно произнес дядя Шура,— в самом деле, почему бы нам не пойти вместе?.. Одевайся! — А сам вышел на лестничную площадку и вызвал лифт.

И я вышел следом за ним, и мы стояли у лифта и ждали Наташку.

Один раз он в нетерпении открыл дверь и попросил Наташку поторопиться. А она уже была в пальто и натягивала ботинки.

Пришел лифт, и дядя Шура крикнул:

— Наташа, быстрее!.. Что ты копаешься...

Он не успел закончить фразу, потому что на лестничную площадку вышла Наташка... без пальто и без ботинок.

— Чего же ты? — удивился дядя Шура.

— Я не пойду,— сказала Наташка.— Я передумала. Я буду ждать тебя дома,— и закрыла дверь квартиры.

Я чуть не заревел в голос. Мой план был так близок к осуществлению! И снова рухнул.

* * *

Сначала Петька ни за что не соглашался отдать Рэду. Я ему и про Надежду Васильевну все рассказал, и про дядю Шуру, и про Наташку, и про их семейную жизнь, и про то, что счастье этих троих в его руках.

А он мне на эту откровенность ответил:

— А если они будут не так ее кормить?.. Погубят собаку.

Тут я возмутился, даже хотел треснуть его по башке и уйти. Я снова сказал, что он не знает дяди Шуры, что тот известный детский хирург. Сердце оперирует. А он со своей жалкой собачонкой совсем потерял голову.

— Дети — это дети, — не сдавался Петька. — А собака — это собака.

Я бы давно ушел, плюнул на него и ушел, но положение было безвыходное. От волнения у меня закружилась голова, это у меня часто бывало и раньше. Дядя Шура сказал, что в медицине этот факт широко изучен и не представляет никакой опасности.

— Конечно, собака — это друг человека, — примирительно сказал я, — но ты в этом не знаешь меры.

— Может, ей что-нибудь другое отдать? — предложил Петька. — Железную дорогу. Ценная вещь. Ее можно разбирать и собирать.

— Послушай, — закричал я, — неужели ты не понимаешь — нам нужна собака!

И я снова стал ему выкладывать подробности нашей истории.

Так мы беседовали битых два часа. Он и плакал, и стонал, и жаловался, что Рэда пропадет без него, а он без Рэды... Потом повел меня к себе домой, чтобы познакомить поближе с Рэдой, показывал, где она спит, из какой миски ест. Я совершенно осатанел от него.

В довершение он пожелал, чтобы я дождался его родителей, а когда они пришли, то он, представляя меня, сказал, что я тот самый «типс», который обозвал его вором. При этом он стал хохотать. И его родители не ругались, а тоже поддержали его в этом хохоте. Только в конце, провожая меня к двери, он еле слышно выдавил:

— Согласен, — и быстро добавил: — Если, конечно, Рэда не откажется.

* * *

Наташка вооружилась полностью: в руке у нее были поводок и ошейник.

Мы были молчаливы и сосредоточенны. Наташка волновалась перед встречей с Малышом. А я дрожал от сложности собственного плана. Что, если Петька передумал, если он куда-нибудь скрылся? И прочее, и прочее, и прочее.

— Как ты думаешь, он меня не забыл? — спросила Наташка.

Она имела в виду, конечно, Малыша. «Ох, уж эти разнесчастные собаколюбители, Петька да Наташка! — подумал я. — Здесь голова лопается в поисках правильного выхода, а им бы только увидеть свою собаку!»

— Забыл! — ответил я с некоторой злостью. — Забыл, забыл,

Она была поражена, видно, моим резким тоном и некоторое время шла молча. Затем все же сказала:

— Нет, не забыл. Собаки никогда не забывают. А ты не знаешь.

— А люди? — спросил я.

— И люди тоже, — ответила Наташка.

— Замечательно! — закричал я — Значит, люди такие же умные, как собаки.

И вдруг я остановился как вкопанный. Даже не я сам, а что-то во мне остановилось. Я замер и прислушался к себе: все внутри у меня затрепетало.

— Ты что? — с подозрением спросила Наташка.

— Подожди, — сказал я. Пирава была тетя Оля, когда мне, дураку, вдолбливала: «Обдумай все возможные пути к цели, но выбирай всегда самый бесхитростный. В закоулках легко заблудиться». — Мы, кажется, ошиблись дорогой. — Я ударил себя по лбу: — Он же просил нас зайти за ним в музыкальную школу. Он музыкант, — соврал я. — Играет на этой... на флейте.

И вот тут-то произошло самое неожиданное: это было открытие, которое привело эту историю к доброму концу, и в этом открытии весь мой предыдущий план, вся моя хорошо выстроенная математическая формула полетела в тартарары.

Ибо, вместо того чтобы идти к Петьке добывать несуществующего Малыша, я повел Наташку совсем в другом направлении. Этот путь был простой и привел в музыкальный класс Надежды Васильевны.

Не раздумывая, я постучался в двери класса, из-за которой, конечно, доносилась игра на виолончели.

Музыка тут же оборвалась, и я услышал ее торопливые шаги. Дверь открылась...

Я увидел ее лицо: в первый момент оно было строгим. Потом стало испуганным. Наконёц губы ее, которые за секунду до этого были крепко сжаты, опомнились первыми и улыбнулись.

Я в ответ тоже улыбнулся ей и даже легкомысленно, неизвестно почему, видно от волнения, подмигнул, но она этого не заметила. Это было видно по ее глазам. Они меня не видели, они смотрели мимо. И только тут я вспомнил, что пришел к Надежде Васильевне не один, что рядом со мной Наташка.

Робко я оглянулся на нее. Она стояла низко опустив голову, сжав в руке собачий ошейник и поводок.

Но вот она посмотрела на меня — зрачки ее глаз буравчиками сверлили меня,— перевела взгляд на Надежду Васильевну и попятилась.

— Зачем вы обманули меня? — спросила Наташка.

Только тут я понял: Наташка решила, что мы с Надеждой Васильевной в сговоре.

— Это я один,— сказал я.— Ты потом поймешь.

Я не сделал за Наташкой ни полшага, как стоял, так и остался стоять: решил, что если она вздумает убежать, то все равно ее не уговоришь.

Наташка болталась где-то за моей спиной и вот-вот должна была броситься в бегство по длинному школьному коридору. Это я понял по глазам Надежды Васильевны, которые не отрываясь следили за Наташкой.

Вот это были глаза!

Я никогда в жизни не видел таких говорящих, зовущих глаз. Даже не знал, что могут быть глаза, когда не надо слов, просьб, когда и так все понятно. Веки у Надежды Васильевны чуть-чуть дрожали.

Может быть, я не имел права так поступать. Может быть, я не должен был приводить сюда Наташку и тем самым распоряжаться ее судьбой. Ведь никто никому не давал права распоряжаться чужой судьбой, это я знал, знал, а все равно распоряжался! Вот тебе и прямой и короткий путь, без закоулков.

Но мне хотелось им помочь!

И вдруг лицо Надежды Васильевны радостно изменилось, и в следующий момент произошло то, что должно было произойти. Мимо меня стремительно пролетела Наташка и упала на руки своей мачехи.

А? Каково? Выходит, не такой уж я хвастун! Нет, скажите честно, я потушил этот пожар или не я? Если бы со мной была

рядом тетя Оля, она бы по справедливости ответила на мой вопрос.

Но мне, между прочим, пора было уходить, ибо на меня никто не обращал внимания. Неблагодарные люди? Нет, нет, так я не думал. Чего во мне нет, так нет: благодарности я не выношу. Меня тошнит, когда благодарят.

В этот момент Надежда Васильевна посмотрела на меня и покачала головой, так медленно, понимающе и всепрощающе покачала головой. И это была самая высшая похвала, которая была мне нужна. Но ей этого, видно, показалось мало, и она произнесла первые слова за всю нашу встречу, и они оказались необыкновенными, хотя внешне были самые обычные.

— Боря,— сказала она,— а ты вырос.

Я улыбнулся ее сообразительности. Как я сам не догадался! Вот, оказалось, почему и она, и дядя Шура стали в последнее время меньше ростом. Это я вытянулся! Значит, я сделал еще шаг вперед, значит, вскарабкался по этой трудной, но чистой лесенке еще на одну ступень.

А Наташка не оглянулась. Она как уткнулась в Надежду Васильевну лицом, так и стояла, не шелохнувшись. Может быть, складывала сказку, в которой мачеха была не злой, а доброй. Красивой, доброй и необыкновенно умной, как Надежда Васильевна.

Я опустил руку в карман, захватил там одну вещицу, надежно спрятал ее в кулак, протянул Надежде Васильевне и разжал пальцы. На моей ладони лежала, тускло поблескивая, та самая морская золоченая пуговица, которую Надежда Васильевна оторвала от своего пальто во время нашего разговора у метро.

Она взяла ее, снова улыбнулась и уголки ее губ поднялись чуть выше, и улыбка приобрела таинственно-счастливое выражение.

— Ну ладно, друг мой,— сказала она Наташке.— Давай успокоимся. А то у меня урок.

— А можно, я посижу у тебя на уроке? — спросила Наташка.

— Конечно,— ответила Надежда Васильевна.

Да, действительно, мне здесь больше делать было нечего.

Но мне все равно было весело, я был рад, потому что снова отвоевал себе право быть другом Надежды Васильевны.

А что может быть лучше в жизни, чем хороший, необыкновенно умный друг?

Я медленно, не торопясь, спускался по широкой школьной лестнице под звуки разных музыкальных инструментов, которые возникали и исчезали, как голоса в лесу.

Так я достиг первого этажа, остановился около телефона-автомата, позвонил дяде Шуре на работу и сказал, вспоминая неразговорчивого охотника Попова:

— Збандуто говорит. Все в порядке.

— Что «в порядке»? — не понял дядя Шура.— Привели Малыша?

— Нет. Я отвел Наташку к Надежде Васильевне,— и замолчал.

— Алло, алло! — закричал дядя Шура.— Борис, ты куда пропал?

— Я здесь,— ответил я.

Пожалуй, это была моя первая и последняя победа над выдержкой дяди Шуры, но он тут же взял себя в руки, и наш разговор закончился внешне спокойно. Если бы я не был «Поповым», то я бы произнес еще сто слов о том, как вел Наташку к Надежде Васильевне, как умирал от страха и как они бросились друг другу в объятия. Но я был сдержанным, молчаливым охотником Поповым.

— Передай моим, что я немного задержусь,— сказал дядя Шура.

Я повесил трубку, открыл парадную дверь и вышел на крыльцо.

Весь мир предстал передо мной в новом, совершенном виде, ибо он совершенен для человека только в тот момент, сказала бы тетя Оля, когда он сам приближается к совершенности. Но тетя Оля этого не говорила, это придумал я, ее не самый удачный ученик.

И вдруг меня понесло. Помимо собственной воли, я побежал... Словно у меня было какое-то новое спешное дело. Я бежал, бежал, минуя дома, пересекаясь со встречными машинами, пока не увидел прохожего.

— Здравствуйте,— сказал я ему, поискал рукой на голове кепочку и приподнял ее в знак высочайшего уважения к незнакомцу. И, успокоенный, пошел дальше своей дорогой.

Какая-то она будет?

«В ухабах, в ухабах,— как говорит моя дорогая тетя Оля, всемирно известная прорицательница, не лишенная педагогического чутья.— В ухабах, но жизнь все-таки прекрасна, и надо идти вперед».

В. ГОЛЯВКИН

Ты приходи к нам,
приходи
Рисунки
на асфальте

ПОВЕСТИ

ТЫ ПРИХОДИ К НАМ, ПРИХОДИ

ВЕЧЕР

Блестит озеро.

Солнце ушло за деревья.

Спокойно стоят камыши.

Все озеро в черных черточках. Это лодки, а в них рыбаки.

Бегут к дороге телята, становятся в ряд и смотрят на нас.

Сидят две собаки и смотрят на нас.

Бегут к нам вприпрыжку мальчишки.

Грузовик наш поднял много пыли, и она оседает постепенно.

Я вижу деревню, лес, озеро.

Из дома выходит хозяин с бородкой, в старой морской фуражке.

— Здравия желаем жильцам,— говорит он,— вечерок что надо, рыбка ловится, ветра нет, понюхайте-ка воздух, понюхайте...— Он громко нюхает воздух. Трясет всем нам руки.

- Пыли много,— говорит мама,— ужасно много пыли.
— Так это ваша пыль и есть,— говорит хозяин.
— Дорога у вас пыльная,— говорит мама.
— А воздух-то какой!
Все больше и больше темнеет.
Наш дом — верхние комнаты.
Мы с мамой несем наши вещи.
Я поднимаюсь по лестнице и все время нюхаю воздух.
— Жаль, что отцу не дали отпуск,— говорит мама.
— Такой воздух! — говорю я.
Мы с мамой стоим в новой комнате.
— Вот здесь мы будем жить лето,— говорит мама.

УТРО

Я умывался под лестницей из умывальника, а хозяин Матвей Савельич стоял рядом со мной:

— Лей, лей! Всем хватит воды, а не хватит — вон из колодца еще возьмите, в чем дело!

Я вовсю лил.

— Ну, как? Хорошо? Мойся, мойся! Вода хороша! У меня колодец очень хороший. Сам рыл. Сам копал. Только у Ямщиковых такой колодец да у меня. А у других это разве колодцы?

— А что у других?

— А ты погляди.

— Схожу погляжу...

— И сходи. И мамашу возьми.

...А какое было утро!

Солнце поднималось из-за озера. И опять все озеро было в черточках. А посреди озера серебристая полоса. От солнца. Деревья слегка покачивались, и полоса на озере становилась извилистой. Совсем рядом заиграл пионерский горн.

— У кого вода, а у кого бурда,— сказал Матвей Савельич.

Я вышел за калитку.

ЗА КАЛИТКОЙ

За калиткой стоял малыш и плакал. А рядом с ним стояла бабушка.

Малыш повторял:

— Я хочу черпалку!

— Нету черпалки,— отвечала бабушка.

— Давай черпалку! — орал малыш.

— Что это за черпалка такая? — спросил я.

Малыш посмотрел на меня и сказал:

— Давай черпалку!

— Неужели ты не видишь, Мишенька, что у него нет черпалки? — сказала бабушка.

Он опять посмотрел на меня.

Я показал ему руки — вот, мол, нет у меня черпалки.

Он замолчал. Потом крикнул:

— Давай черпалку!

— Господи,— вздохнула бабушка,— чуть свет вставать зарядил. Возьми я ему раз да скажи: «Куплю я тебе, Мишенька, черпалку, если ты курицу съешь». А что это за черпалка такая, и сама не знаю. Просто так сказала ему, чтоб он курицу съел. Вроде бы в какой-то сказке я ему про эту черпалку читала. Ну, он курицу съел и сейчас же говорит: «Давай теперь черпалку!» А откуда я ее возьму? И что это за оказия такая, и что это за диковина такая, эта самая черпалка... И лодки ему показываю, и дровишки, и шишки, и чего только я ему не показываю, а он знай «черпалку» твердит...

Я говорю:

— Где-то видел я, продавали в магазине игрушечную землечерпалку. Шесть рублей, кажется, стоит. Вот бы такую землечерпалку купить ему за то, что он курицу съел...

Бабушка обрадовалась и говорит:

— Нужно отцу сказать, чтобы он купил ему черпалку, спасибо тебе большое, не знаю даже, как и благодарить...

— Да что вы,— говорю,— пустяки какие, я просто видел эту черпалку, если не ошибаюсь, на Литейном проспекте, в одной витрине какого-то детского магазина; любопытная, думаю, штука была бы для малышей. Я-то из этого возраста вышел...

— Непременно отцу скажу,— говорит бабушка,— непременно отцу доложу про это мое спасение... сыну-то он своему не пожалеет, а меня спасет от этого форменного мучения. Заходи к нам, мы вон напротив, спасибо тебе, сынок...

Она ушла довольная, а я стал думать, с кем бы мне еще познакомиться. С каким-нибудь мальчишкой бы познакомиться. Вот ведь сейчас с ними познакомился...

Походил по деревне.

Ходил, ходил, зашел домой, позавтракал и опять за калитку вышел.

НА ОЗЕРЕ

Орал малыш. Просил черпалку.

Если он так все время будет черпалку просить, с ума сойти можно. Как они терпят, купили бы ему какую-нибудь черпалку или вовсе бы ему не обещали...

Я спускался к озеру, и малыша уже не было слышно.

Пили воду коровы.

Мне стало скучно.

Неужели вот так я и буду ходить каждый день по деревне да вдоль озера, а дальше что? Конечно, я могу купаться, кто-нибудь меня на лодке покатает, и рыбу лови себе, пожалуйста, сколько хочешь, все это так. Но должны же ведь быть у меня какие-то друзья, приятели, не могу же я без них...

Но где их взять?

Не могу же я их вот так, сразу, взять и найти.

Вдруг я этого мальчишку увидел и ужасно обрадовался. Он стоял в камышах, и сначала я не понял, чего он там стоит, а потом понял: он там рыбу ловит. Удочка у него была длиннючая, я сначала удочку увидел, а потом его.

Я сел на траву и смотрю. При мне он две рыбы поймал. Никак я сначала не мог понять, куда он их кладет, а потом понял: он их за пазуху кладет!

Он поймал третью рыбу и тоже — за пазуху. Я сейчас же представил себе, сколько у него там за пазухой этих рыб, как они там прыгают и щекочут ему живот.

Вот почему он все время ежился и корчился!

Я сидел и ждал, когда он кончит ловить, выйдет из своих камышей и покажет мне рыб.

Но он все ловил.

Я окликнул его.

Нет, он не слышал меня, или он не хотел меня слышать. Он стоял ко мне боком, и я видел его оттопыренную майку с рыбками, его какое-то суровое лицо в веснушках, и опять стало мне скучно.

Он так был занят своей рыбой!

Он, наверное, весь день может так стоять в воде со своей удочкой, не видя ничего, не слыша...

Пробежали ребята с мячом.

Я бы за ними с удовольствием побежал, да только что они подумают, если я вдруг за ними побегу?

Я встал. Пошел вдоль берега.

А этот! Тоже мне! Рыбак! Я бы никогда не стал за пазуху рыб запихивать. Разве настоящий рыбак за пазуху рыб запихивает? А еще не отвечает!

В ЛЕСУ

Я свернул в лес.

Как вдруг из-за дерева выскакивает мальчишка, хватается меня за рукав и кричит:

— Все!

Я сначала немножко испугался, странно все-таки. А потом — ничего, вижу — стоит он и дышит тяжело, словно бежал долго.

— Ты чего,— говорю,— до меня дотрагиваешься?

— А кто ты такой? — говорит. — Что, до тебя дотрагиваться нельзя?

— А ты кто такой? — спрашиваю.

— Да ты кто, сумасшедший или кто? — Это он мне говорит.

— Это ты,— говорю,— сумасшедший, по всему видно, ни с того ни с сего вдруг выскакивает, дотрагивается...

— Ишь ты какой! — говорит. — А как же я с тебя погоню буду срывать? Или у тебя их уже сорвали?

— Какие погонны? — Если и вправду он из какого-нибудь сумасшедшего дома сбежал? Возьмет да укусит, да мало ли что...

А он орет:

— Да ты что, с луны свалился?

— Кто из нас с луны свалился, это еще неизвестно, скорей всего, это ты с луны свалился...

Он хлопнул в ладоши, подпрыгнул и как заорет:

— Ха! Вот фрукт!

Ну, думаю, не иначе. Вылитый сумасшедший. Вижу, у него на плечах по листику. Нормальный человек, сами понимаете, ни с того ни с сего не будет себе на плечи листики цеплять... Как бы от него спокойненько уйти...

А он:

— Ты скажи, я тебя запятнал? Не будешь потом говорить, что я тебя не запятнал?

— Чего? — говорю.

Он опять хлопнул в ладоши, подпрыгнул и как заорет:

— Ха! Вот фрукт!

Я хотел убежать. Я все время от него отодвигался, а он ко мне придвигался. Мне даже страшно стало. Тем более, он повторял:

— Не говори потом, что я тебя не запятнал...

Я все думал, как бы сбежать, но тут вдруг выскакивают еще несколько таких же сумасшедших, а этот сумасшедший орет:

— Хватай его, ребята!

Эти новые сумасшедшие остановились, и один говорит:

— Да это не наш, ребята!

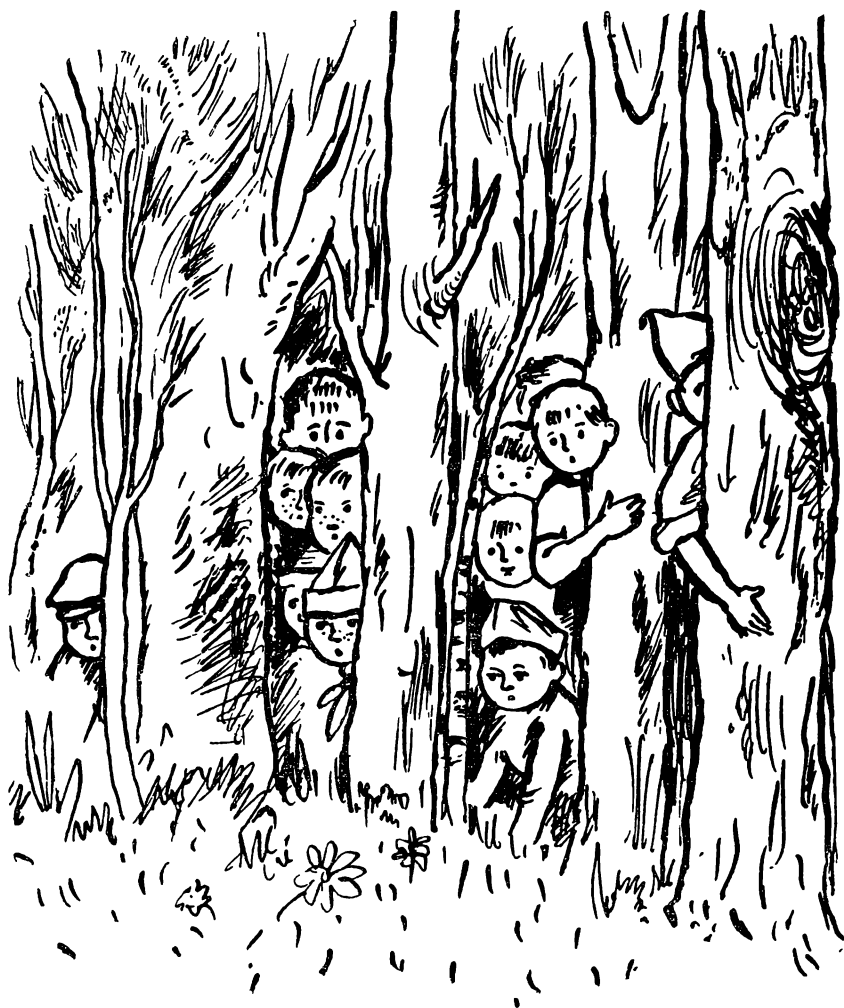
Не хватает, думаю, еще вашим быть. Этого еще не доставало! Но в то же время, если они меня не своим признают, мало ли что им в голову придет... Хотели же они меня хватать...

Один говорит:

— В том-то и дело, что не наш. Наш был бы, так незачем было бы его и хватать!

Я перепугался и говорю:

— Я ваш, ребята...



Одип из сумасшедших говорит:

— Смотрите, ребята, чтобы не сбежал, вон он как дурака валяет...

Тот первый сумасшедший говорит:

— А если ты наш, так чего же ты тогда сразу не сказал?

— А вы,— говорю,— меня не спрашивали, я и не сказал. Я никогда ничего не говорю, если меня не спрашивают. У меня привычка такая... Когда меня в классе не спрашивают...

Один из них говорит:

— Ты брось нам тут про свой класс рассказывать, ты нам лучше скажи, белый ты или синий?

Другой говорит:

— Да что вы, ребята, не видите, он не из нашего лагеря, у него погон даже нету!

Тот первый сумасшедший говорит:

— Как не из нашего? Ты не из лагеря?

— Из какого лагеря?

— Из пионерского,— говорят,— из какого же еще!

Тут только я догадался, что это игра у них идет и они меня за противника приняли. Они тоже поняли, что недоразумение произошло, и мы стали смеяться.

Мой первый знакомый говорит:

— Я его запятнал, а он огрызается, чего бы это, думаю, он огрызается, нечестно играет... а он, оказывается, вовсе не играет...

— А я-то думал, вы сумасшедшие,— говорю.

Им это не понравилось, они и смеяться перестали.

— Сейчас-то я не думаю,— говорю,— это я сначала подумал.

Опять стали смеяться, рассуждать по этому поводу, какие сумасшедшие бывают и прочее, а мой первый знакомый говорит:

— Ты извини меня, что так все получилось, давай-ка познакомимся: меня Санькой звать.

— Давай,— говорю,— познакомимся, меня Лялькой звать...

— Это ты правда или шутишь?

— Имя это, конечно, девчоночье,— говорю,— я знаю, и ты тоже знаешь, да и все знают, только не я же виноват, что родители меня Лялькой зовут...

Они все сочувственно молчали и кивали головами, будто со мной какое несчастье произошло, а я продолжал:

— ...мама моя пошла и назвала меня Русланом, а отец как услышал, стал скандалить, он меня Сашей хотел назвать, в честь своего брата, героя гражданской войны. Не потерплю, говорит, чтобы моего сына таким именем звали, не хватает еще, чтобы его Рогдаем называли... Мама ему говорит, что это имя старинное, былинное, так отец совсем разошелся: какие-то допотопные имена, говорит, никакой современности и далеки от революции; в таком случае как звали мы его Лялькой, так и будем звать.

Санька говорит:

— Ерунда, подумаешь! Ничего в этом страшного, я считаю, нет. Хуже, когда вырастешь. К примеру, станешь маршалом... Как же тут можно Лялькой называться — ума не приложу...

— Да я, может, маршалом и не буду... — говорю. — А если буду маршалом — Русланом будут звать...

— Да ты не расстраивайся, — говорят ребята, — нервы не трепли из-за этого.

Один говорит:

— Если каждый будет маршалом, тогда у нас одни только маршалы будут по улицам ходить... не так-то это просто...

Но, в общем, они все ко мне очень сочувственно отнеслись.

Только один, с таким длиннющим носом, говорит:

— Здорово он все-таки треплется, этот парнишка, язык у него как мельница, даже родственника своего, героя, успел приплести...

В это время в лесу раздались звуки какой-то дудочки, и все побежали на этот звук, только Санька остался.

— Да ну ее к черту, — говорит, — эту войну, если бы настоящая война была, а то игра...

Мы с ним медленно пошли, и он сказал:

— Давай я тебя Валькой буду звать. Две буквы отбросим. И все. А на место их другие поставим. Совершенно другое имя будет. Какое имеют значение какие-то две буквы!

Я согласился, что две буквы действительно никакого значения не имеют, и даже обрадовался, что так все вышло. У меня с моим именем всегда какие-то насмешки и неприятности

получались. Каждому на свете нужно было рассказывать и объяснять, как это меня девчоночьим именем назвали. Вот вам, пожалуйста, трепачом меня назвали — совершенно ни за что ни про что!.. И как это никто не догадался раньше меня Валькой звать. Отпали бы сразу все эти громадные сложности. Не нужно было бы никому ничего объяснять и рассказывать. Всего ведь только нужно было две первые буквы отнять и две другие приставить... Какая у него все-таки замечательная голова, честное слово!

Конечно, и я бы мог придумать такое, и мои родители, но ни я, ни мои родители ведь этого не придумали!

Мы немного пропшли, Санька засмеялся и говорит:

— С этими именами много всякой чепухи происходит. Помню такую историю. Ох и история! Представь себе, в нашем дворе рыжий Санька, я — Санька и Копылов. Три Саньки. А двор один. Например, я зову Саньку рыжего, а Копылов отзывается. Или меня зовет Санька рыжий, а я думаю, Копылова зовут. Один раз я назвал Саньку рыжего Рыжим. Чтоб он знал, что его зовут, а не другого. Так рыжий Санька обиделся. И Копылова нельзя Копыловым звать. Обижается тоже. Для чего же тогда, говорит, я Санька? Не для того, чтобы меня Копыловым звали. А для того, чтоб меня Санькой звали...

— Ну и чего же вы сделали? — спрашиваю.

— А ничего не сделали, — говорит Санька, — так и жили.

КОЧЕРЫЖКИ

— Мы только недавно прибыли, — рассказывал Санька по дороге, — так что не всех пока знаем, вот я тебя и поймал...

— Вот и хорошо, что поймал, — говорю.

Я был рад, что он меня поймал, как-никак все-таки нашел себе приятеля, а что он сначала напугал меня, так это неважно.

Мы подошли с ним к воротам лагеря, и он меня слегка подтолкнул, чтобы я, значит, не стеснялся, он мне перед этим сказал, что начальник лагеря «на войне», и старшая пионервожатая тоже, так что бояться некого.

Я хотел пройти в ворота, но часовые своими палками, на концах которых были флажки, загородили дорогу.

Санька как закричит на них:

— Да вы что, своего не признали? Зачем вас сюда поставили — непонятно!

Они только руками развели и посторонились.

Вот это Санька! Ловко нашелся, ничего не скажешь!

— Я же тебе говорил, — сказал Санька, — что тут никто еще толком друг друга не знает. Так что ты можешь быть спокоен на этот счет. Денька через два, конечно, дело сложнее будет. А сейчас... — он присвистнул, — шагай за мной!

— И обедать можно, никто не узнает? — спросил я.

— Тут сложнее, — сказал он, — а ты есть, что ли, захотел?

— Да нет. Я просто так...

— Да брось ты стесняться, шагай за мной!

Я все его уверял, что ел недавно, а он меня и слушать не хотел.

Я возле кухни остался, а он прямо в кухню пошел. Выходит вместе с поваром, а в руке у него капустная кочерыжка.

— Погрызи, — говорит, — чтоб голодным не ходить.

— Да вовсе я не голодный, — говорю.

— Да ты грызи, чего ты ломаешься, — и сует мне эту кочерыжку. Да я ее и вправду не хотел.

— Грызи, грызи, — говорит повар, — а мало будет, за новой кочерыжкой приходи.

Санька радостно говорит:

— У них там кочерыжек видимо-невидимо!

И к повару обращается:

— Новенький, понимаете, только что прибыл, запоздал маленько, а есть хочется ребенку, — и мне моргает, чтобы я молчал.

— Ишь ты, — говорит повар, — может, котлету тебе вынести?

Повар пошел за котлетой, а я ему вслед закричал, что никакой котлеты мне не надо, но он все-таки вынес мне хлеб с котлетой и ушел, потому что у него каша могла подгореть.

— Знакомый? — спросил я.

— А как же! Знакомый! Котлету ведь дал. Ты мне-то дай половину.

Я ему хотел все отдать, а он взял половину, откусил и говорит:

— Вкусная котлета!

Я тоже стал есть, и котлета мне тоже понравилась.

Он себе полный рот котлетой набил и говорит:

— Не наешься... пойдём... ещё котлету попросим... нас двое, скажем, а котлету нам одну дали... Знаешь, я какую пословицу придумал? Тот, кто много ест, никогда не пойдет на тот свет.

— Да ну тебя, не надо мне никаких котлет!

— Как это так не надо? Два человека одну котлету едят — это же форменное безобразие!

Я и оглянуться не успел, как он ещё одну котлету притащил. Я никак не хотел у него половину брать, так он мне ее просто насильно всучил и все свою пословицу повторял.

— А за кочерыжками ты можешь всегда приходить, — сказал Санька, дожевывая котлету.

— Не надо мне кочерыжек, — сказал я. — Терпеть я не могу эти кочерыжки!

— Ну, не надо так не надо, — сказал Санька. Он вздохнул. — Я, понимаешь, никогда не знаю, когда я наелся, все ем, ем, пока живот, как мяч, не надуется.

Вышел повар с ведром кочерыжек.

— Может, вы стесняетесь, ребята, так вы, ребята, пожалуйста, не стесняйтесь, берите-ка, берите кочерыжки!

Я назад отступил и говорю:

— Нет, нет, мы не стесняемся...

— Вы там ребят созовите, пусть они за кочерыжками приходят, — сказал он.

— Война окончится, — сказал Санька, — они и заберут.

— Скорей бы она окончилась, — сказал повар, — а то кочерыжки тут зря пропадают.

Он ушел со своими кочерыжками, а мы пошли по лагерю. Саньке как хозяину хотелось мне весь лагерь показать.

— Если тебе кочерыжки нужны будут, так ты завсегда можешь за ними приходить, — сказал Санька.

— Не очень-то я люблю их, — сказал я.

— А я их люблю, — сказал Санька.

- Чего же ты у него все ведро не съел?
- Как же я столько съем?
- Зато никогда на тот свет не пошел бы,— сказал я.
- Я и так не пойду,— сказал он.

В ЛАГЕРЕ

Мы шли по лагерю, а Санька говорил:

— Как с людьми беседовать — я знаю. У меня на это есть талант, мне все говорят, что у меня есть талант с людьми беседовать. А у тебя этого таланта, по всей видимости, нет, так ты лучше помолчи, когда я с людьми беседую.

С людьми он действительно здорово беседовал.

— ...Лагерь у нас хороший, зря ты все-таки частным образом живешь...

— Это все родители придумали,— сказал я.

— А ты что, слова не имеешь? Взял бы и сказал: мол, так и так, пошлите, мол, меня в пионерский лагерь, не желаю, мол, я частным образом жить, а хочу с коллективом... Они бы тебя с удовольствием послали, ты-то им, наверное, надоед со своими штучками...

— Какими штучками?

— Откуда я знаю, какими? Каждый ребенок разные штучки вытворяет, ты что, скажешь, ничего не вытворяешь?

Я не знал, что ему на это ответить, потому что я действительно кое-что вытворял.

— И родителям хорошо, и тебе хорошо.

— Если так хорошо, чего же тогда они меня не отправили?

— Да ты сам не видишь, что хорошо?

— Вижу.

— Голову надо иметь.

— Что же, мои родители головы не имеют?

— Да ты родителей не трогай! — сказал он. — Чего это ты своих родителей трогаешь? Это ведь твои родители!

— Это ты трогаешь, а не я!

Он подпрыгнул, хлопнул в ладоши и заорал:



— Ха! Вот фрукт!

— Чего это ты так со мной разговариваешь? — говорю.

— Это ты так со мной разговариваешь, это ты не умеешь с людьми разговаривать!

Я вспомнил, как он здорово с людьми разговаривал, и мне показалось, что это я во всем виноват.

— Да брось ты, Валька,— сказал он,— имя у тебя теперь новое, нервы тебе трепать теперь нечего и спорить со мной на эту тему тоже нечего, раз у меня на это есть самый настоящий талант...

— Ты просто моего отца не знаешь,— сказал я,— у него замечательная голова.

— А у меня нет отца,— сказал вдруг Санька.

— А мать?

— Тоже нет.

— С кем же ты тогда живешь?

— Я с тетей живу,— сказал он.

Мне как-то стало неловко, что я весь этот разговор об отце и матери затеял, тем более он мою голову, наверное, в виду имел, а не отцовскую.

Мы зашли в пионерскую комнату, и Санька показал мне дневник отряда, где он написал:

«С десятого числа началась наша замечательная жизнь в лагере. Мы долго ждали, когда начнется эта замечательная жизнь, и вот нас привезли в автобусах, и она началась. Ура! Наступил этот день!..»

— Да хватит тебе читать,— сказал Санька,— пойдем, лучше я тебе другое покажу...

Он водил меня и все показывал.

В кружке «Умелые руки» стояли яхты, швертботы, игрушки, сделанные ребятами. Разные вышивки, сделанные девочками, разные полочки, выпиленные лобзиком. Там было много замечательных рисунков. И был круглый шарик, сделанный из дерева. Санька сказал, что этот шарик выточили из громадного куска дерева, и именно этим он интересен. Трудней всего, наверно, было сделать этот шарик. Такой гладкий, круглый, только вот никто не знает, что он из такого громадного куска дерева. Если бы Санька мне не сказал, я бы и не знал об этом. Какую-нибудь дощечку рядом с шариком прибили бы, а на дощечке написали, что этот шарик выточен из громадного куска дерева...

Там были: стамески, лобзики, сверла, клещи, пилки — все эти инструменты были прикреплены к большим щитам, а под каждым инструментом табличка с названием. У меня прямо глаза разбежались, глядя на эти инструменты.

Было там еще много разных диковинных вещей, даже куклы для кукольного театра. Этих кукол, оказалось, тоже сделали сами ребята.

— Чего это меня в лагерь не послали — понять не могу! — сказал я.

И сразу испугался, что он опять про мою голову начнет распространяться, что во всем голова виновата, и говорю:

— Я не знал, а они не послали...

— А где твоя голова была? — говорит Санька.

— Нигде, — говорю, — не была, какое твое дело!

Он засмеялся, и больше про мою голову не стал распространяться.

Мы с ним пошли в клуб. Он влез на сцену и крикнул:

— Представление начинается! — И начал так кривляться, прыгать и такие строить рожи, что я даже захлопал. Он поднял много пыли, но все продолжал плясать и строить рожи, пока не устал, а потом спрыгнул вниз и сказал:

— Наверное, я все-таки артистом буду...

Мы вышли на воздух.

В лагерь входили «войска». Бил барабан. А впереди несли знамя.

Кто-то крикнул:

— Глядите! Хе-хе! Болтун-то в нашем лагере объявился!

И я увидел длинноносого. Который там, в лесу, сказал, что язык мой как мельница треплется...

Все разбежались по лагерю, а этот мальчишка ко мне подбежал.

— Болтун, — говорит, — опять здесь!

Недолго думая схватил я его за рубашку, и он меня за рубашку схватил. И мы вместе покатались по траве.

Санька кинулся нас разнимать, но мы крепко друг другу в рубашки вцепились.

Кое-как нас разняли.

И вот мы стоим друг перед другом в своих разорванных рубашках, а вокруг нас почти весь лагерь стоит.

Какая-то девушка говорит:

— Чей это ребенок?

Все молчат.

Выясняется, что я тут совершенно ничей, и тогда она кричит:

— Как мог попасть сюда этот мальчик?

Все опять молчат, и тогда она уже тише говорит:

— Каким образом этот ребенок здесь?

Выходит вперед мой друг Санька, имеющий талант разговаривать с людьми, и говорит:

— Товарищ старшая пионервожатая! Это Валька. Это я привел его в наш лагерь. Что ж здесь такого?

— Как что такого? — возмущается вожатая. — По-твоему, здесь нет ничего такого? Пришел с улицы и еще дерется?!

Санька (здорово он все-таки умеет разговаривать с людьми!) спокойно ей отвечает:

— По-моему, ничего такого в этом нет. Тем более, его дразнили.

— А может быть, у него инфекция? — говорит вожатая.

— Нету у него инфекции, — говорит Санька.

— Откуда ты можешь знать, есть у него инфекция или нет?

— Я вижу, — говорит Санька.

— Ты ничего не видишь, — говорит вожатая, — у любого постороннего может быть инфекция!

Тогда я сказал:

— У меня нет никакой инфекции!

— Это еще неизвестно!

— А ты, — сказала вожатая Саньке, — всего лишь только отдыхающий пионер, а ведешь себя так, как будто ты начальник лагеря.

И тут Санька, так здорово умеющий разговаривать с людьми, вдруг заплакал.

Появился начальник лагеря. Он посмотрел на мой вид, взял меня за руку и, ни слова не говоря, только хмурясь, вывел меня за ворота.

— Не пускайте сюда посторонних! — сказал он часовым.

НА БРЕВНАХ

Матвей Савельич увидел, что у меня такое неважное настроение, предложил мне на бревна сесть. И сам тоже сел на бревна, закурил и говорит:

— Место у нас хорошее... природа... воздух... озеро под боком...

— У вас в лагерь никого не пускают, что ли? — спрашиваю.

— Кого пускают, а кого нет,— говорит.

— Никого не пускают,— сказал я.

Он, видимо, плохо слышал, часто переспрашивал. А тут он совсем не услышал.

— Лодка у меня была,— говорит,— так я ее продал... все думаю новую лодку сделать, да время никак не найду для этой лодки...

— Чего ж у вас лодки-то нет? У всех лодки есть, а у вас нет...

Я думал, у него лодка есть, думал, он меня на лодке покачает, рыбу, думал, половим, а у него нет...

— Так была же лодка, однажды ее ребяташки у меня украли, так я ее по всему озеру искал...

— И нашли?

— Нашел, да ну ее к лешему...

— Значит, вы рыбу теперь не ловите?

— Да ну ее к лешему...

— А раньше ловили?

— Раньше ловил.

— А теперь почему не ловите?

— А на кой леший рыба нужна, кто ее чистить-то будет, коли хозяйки нет?

— Почему нет?

— Не женат.

— Почему?

— А войны?

— Чего войны?

— Чудак! Все ж войны: первая немецкая, столыпинская, так? Революционная — два? А после финская, а после Отечественная...

— На войне убили?

— Кого?

— Жену.

— Фу-ты! Как же ее убить-то могли, коли ее сроду не было. Поскольку войны были.



— А перерывы-то были?

— Перерывы-то? Ну, были. А можно сказать, и не было. Не перерывы это, скажу я тебе, чтобы человек спокойно, обстоятельно жениться мог. Это, может, по книжкам там вашим были перерывы. А на самом-то деле не было.

— А как же другие женились?

— Кто другие?

— Отец мой, например, соседи...

— Соседи-то? А бог их знает...

— Да и не только они,— сказал я.

— Да много больно ты знаешь! — сказал он.

— Как же мне не знать! — сказал я.

— Умные все больно стали...

Он замолчал, все курил.

Наверх мне не хотелось подниматься. Есть тоже не хотелось. Я сидел.

— ...начал я себе помещение строить. Лес-то надо рубить? А рядом-то рубить не разрешалось? Сам рубил. Сам возил. А пни ломом корчевал... А потом, значит, ягоды: крыжовник, сморода, а теперь, значит, яблоки собираю... смороду собираю... крыжовник собираю...

— А вас в лагерь не пускают? — спросил я.

— ...если участок в культуру привести, в божеский вид привести, можно тебе все что угодно посадить, ведь так?

— Отчего же вы в то время не женились?

— Когда?

— Войны-то ведь не было.

— А участок-то надо было в божеский вид приводить? А был лес. Ничего и не было. А лес-то, он шишки одни дает. Вот теперь сколько я крыжовника снимаю? А? Много снимаю! А смороды сколько снимаю? Много! И яблоки, сам понимаешь, с каждого дерева снимаю... Мамаша-то твоя небось собирается у меня яблочек купить?

— А чего же вы сейчас не женитесь?

Он не слышал меня.

— ...некоторые сами не сажают, придет в сад колхозный, сучья обламает, аж до ульев доберется, это ж куда годится! Это кража, это хулиганство... это баловство! Почему каждому сад не

посадить? Можно. А сучья ломать? Нет. Хулиганстве! Дяденька посадил, а он знай — ломай, бей! В культуру ведь надо приводить хозяйство свое! А он — нет, не надо. Нет, надо! Все надо! — Он хлопнул кулаком по бревнам.

Я сказал ему про пионерский лагерь, почему все-таки так строго, туда никого не пускают, и насчет инфекции сказал, как меня вожатая обидела.

Он все головой кивал, да только про свое думал, потому что опять свое стал говорить:

— Я тебе вот что открою... я бы, конечно, сейчас, может быть, и женился, да только помирать мне уже пора.

— Да что вы,— говорю,— что вы!

— Сколько мне лет-то, знаешь? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.

— Больно все умные стали,— сказал он, встал, пошел в сад проверять свои яблоки.

...Ни лодки у него нет, ни жены... одни только яблоки да ягоды. Скучно ему, наверно, одному в таком большом саду... А у Саньки отца нет и матери... Взять бы сейчас пробраться в лагерь, Саньку встретить — вот он обрадуется! Смелый все-таки поступок будет: человека выгнали, а он незаметно пробрался, как разведчик, своего друга навестил. А дальше что будет? Поймают меня и больше ничего! Скандал будет — вот и все... Опять, скажут, этот инфекционный пришел. Какое они все-таки имеют право мне такие вещи говорить?! Вот сейчас возьму и пойду...

Но я никуда не пошел.

О КОРОВАХ

В этот день я возле лагеря даже не появлялся.

Оскорбили человека, так нечего туда и ходить!

После обеда опять к озеру пошел.

Смотрю, тот же мальчишка в камышах стоит как ни в чем не бывало.

Неужели с тех пор стоит?



Он сворачивал удочку, собирался уходить.

Когда он повернулся, я увидел, сколько у него за пазухой рыбы набито. Как будто огромный такой живот, он еле-еле шел. Одной рукой он майку возле трусов поддерживал, а в другой руке у него удочки были.

Когда он на берег вышел, тут он и споткнулся. Вся рыба у него из майки выскочила и на траве прыгает. Я сразу бросился эту рыбу ловить.

Собрали рыбу, он майку снял, и мы всю рыбу в эту майку положили, как в мешок.

Я его спросил, неужели он так все время стоял, никуда не уходил?

— Так и стоял,— сказал он.

— И обедать не ходил?

— Чего ж я без рыбы обедать пойду?

— Неужели нельзя без рыбы обедать идти? — удивился я.

— Разве же это рыбак, который обедать ходит, а рыбу не приносит? Это ж ушехлоп получается!

— Кто получается?

— Ушехлоп — сказано тебе? Ушами знай хлопает, а рыба от него топает.

— Где это ты такое слово только выкопал? — говорю.

— А чего его копать, если тот человек, который ушами хлопает, ушехлопом и называется. Как же его еще назовешь?

— Хлопухом,— говорю,— еще можно назвать. Ухохлопом можно...

— Да ты что, мне учитель, что ли, какой? Чего это ты меня учишь?

Очень уж он серьезный человек был, я таких серьезных еще не видел.

— Поймал ты много! — сказал я.

— То все коровы.

— Чего коровы?

— Коровы их шугают.

— Кого шугают?

— Рыб.

— Как?

— Вон в плесе пасутся...

— Ну?

— И рыбу ко мне шугают. Куда коровы идут, туда и я иду. Они, значит, ходят и рыбу ко мне гонят. Ты только знай удочку закидывай да вытягивать успевай. Своим собственным соображением до этого дошел! — Он тряхнул мешок. — Ишь сколько напугали!

— Здорово напугали,— сказал я, пораженный.

— Вот так-то!

Неужели коровы ему столько рыбы напугали?

Кто бы мог подумать!

НАХИМОВЦЫ

На другой день я сразу, как встал, к лагерному забору отправился. Ждал, когда у них завтрак кончится, возле забора прогуливался. Никто не имеет права мне запретить возле забора прогуливаться!

Я руки за спину заложил и так ходил, поглядывая на лагерную территорию.

Спрашиваю часовых про Саньку. А они фамилию спрашивают.

Один говорит:

— Меня тоже Санькой зовут. (Врет, наверное!)

А другой говорит:

— Ты подальше отойди, нечего возле ворот торчать...

Перешел я на ту сторону, сел на траву и сижу. И на часовых уничтожающим взглядом смотрю. Мог бы и не отойти, стоял бы себе, и все! Да я отошел, чтобы разных там неприятностей не было.

А прямо ко мне идет из ворот Санька, а под мышкой у него футбольный мяч. Молодец он все-таки, меня увидел!

— Ты чего здесь стоишь? — говорит. — Проходи в лагерь, очень хорошо, что ты пришел! Как раз к футбольному матчу с нахимовцами поспел!

— Да ты что! — говорю. — Как же я туда пойду, если меня вчера выгнали!

— Так это вчера, а не сегодня, тем более к нам сегодня нахимовцы с того берега приезжают. Если тебя спросят, скажи, что ты нахимовец, — и все!

Санька подкинул вверх мяч, поймал его и говорит:

— Напрасно ты думаешь, что все только о тебе и думают. Ох и покажем мы этим нахимовцам!

Я решил почему-то, что с нахимовцами драка предстоит, не хватает еще, чтобы меня как нахимовца избили!

— Нет, нет, я туда не пойду...

Санька очень спешил, ему нужно было нахимовцев встретить, и он меня к воротам потащил, а я упирался. А на часовых он даже внимания не обращал, как будто бы их нет.

Он меня к самым воротам притащил, а часовые зачем-то

в сторону отошли, непонятные какие-то часовые! Или они его боялись, но они от ворот совсем отошли.

Раз так, я в ворота вошел, тем более они меня раньше не пускали.

Как только мы на лагерной территории очутились, Санька сразу убежал, а мне крикнул, чтобы я на стадион отправлялся.

МАТЧ

Со мной рядом сели девчонки. Они все время на меня смотрели и смеялись. Девчонки ведь часто смеются просто так.

Они смеялись, смеялись, а потом одна девчонка спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, вы не из нашего лагеря?

Я вздрогнул и говорю:

— Я нахимовец.

Она говорит:

— Ой! Я же чувствую, что вы не из нашего лагеря!

— А вы, наверное, отдельно приехали? — спрашивает.

— Совершенно отдельно, — говорю.

— А форма у вас какая? — спрашивает.

— Форма, — говорю, — у нас футбольная...

— А почему у вас форма не морская?

— А мне в ней жарко!

— Правильно! И я так думала!

— А вы можете это озеро в длину переплыть?

— А у вас есть подводные лодки?

— А ленточки от бескозырки во рту держат, когда ветер?

— А если ураган, можно ленточки во рту удержать?

— А бывает так, что ныряют, а потом не выныривают?

— А когда торпеду пускают, барабанные перепонки не лопаются?

— А когда качка, можно устоять, чтобы ни за что не держаться?

Скорей бы футбол начался!

Я им отвечал, отвечал, а потом чувствую — больше уже не могу отвечать! Спросят меня что-нибудь, а я им говорю:

— Это военная тайна.

Тем более, я себя чувствовал все время напряженно на лагерной территории.

Я им несколько раз ответил, что это военная тайна, и они от меня отстали.

Тут как раз выбежали на поле футболисты, а впереди своей команды бежал Санька-капитан.

Зрители стали свистеть и хлопать, а девчонки шептались.

И вот начался этот знаменитый матч, который потом сам Санька описал в дневнике своего отряда:

«На совете дружины мы решили пригласить к себе на товарищескую встречу по футболу нахимовцев. Учитывая то, что они находятся как раз напротив, на другой стороне озера, и как бы являются нашими соседями. Итак, мы их пригласили и с нетерпением ждали их. Вот вдаль показалась одна лодка, вторая и третья. И скоро эти лодки вместе с нахимовцами причалили к берегам нашего лагеря. И вот нахимовцы взойшли на мостки и пошли в лагерь. И вот обе команды выходят на поле. Проходит несколько минут, и вратарь нашей команды вынимает из ворот первый мяч. Но это была случайность. Разыграв мяч, наша команда переходит в наступление, но нахимовцы перехватывают мяч и забивают гол. Мы опять переходим в наступление, но нахимовцы опять забивают нам гол. Когда мы в третий раз перешли в наступление, они каким-то образом забili нам третий мяч. Четвертый гол был забит, когда мы собирались в четвертый раз перейти в наступление. Как только мы собрались в пятый раз перейти в наступление, свисток судьи напомнил нам о том, что первый тайм окончен. Начался второй тайм. Мы переменили тактику. Мы все ушли в оборону, и нам сразу же забili мяч. Когда мы собрались опять переменить тактику, нам забili уже двенадцать мячей. Мы ни одного не забili, хотя всю старались. Наш вратарь дрался как лев, но он ничего не смог сделать. Он метался во все стороны и рисковал, но мячи поймать не мог. Несмотря на это, он проявил себя отважно. От имени совета дружины мы объявили ему благодарность, хотя начальник лагеря и старшая пионервожатая считали, что этого делать было не нужно, раз он пропустил

двенадцать мячей. Но он ведь старался! Потом мы повели нахимовцев на обед, и они остались довольны. После ужина были танцы. Но вот танцы кончаются, нахимовцы садятся в лодки. «До-сви-да-ния!» — кричат пионеры нашего лагеря. На прощание мы пели песню «Бескозырка» до тех пор, пока они не скрылись из глаз. Только нам было обидно, что нам забили столько мячей. Мы этого ни в коем случае не ожидали. Мы ожидали, что будет наоборот. Но вышло наоборот. Надо сказать, игра была очень живая, но в другой раз мы будем лучше защищать свои ворота. Хотя вратарь тут ни при чем.

*Капитан футбольной команды
пионерлагеря «Синее озеро»
С а н я Б у р т и к о в.*

ВМЕСТО МАТЧА

Все это Саня мне потом прочел, а футбола этого я так и не увидел. Как только начался матч, подходит вдруг ко мне длинноносый и, представьте себе, просит меня подвинуться. Я подвинулся, и он сел рядом. Он на девчонок смотрел и поэтому на меня никакого внимания не обратил. Вдруг слышу, девчонка ему на ухо говорит:

— С нами рядом нахимовец сидит.

Он сразу узнал меня и сразу меня за рубашку схватил. Мне ничего и делать не оставалось, как тоже его за рубашку схватить. Девчонки завизжали, чуть даже футбол не прекратился.

Меня сразу вывели. А на прощание сказали, что если я еще раз на лагерной территории окажусь, они будут вынуждены за помощью в милицию обратиться.

У забора как раз бабушка с малышом стояла. Бабушка футбол смотрела, а малыш к ней с черпалкой приставал.

Схватил он меня за штанину.

— Давай черпалку! — кричит.

— Заберите, — говорю, — пожалуйста, своего ребенка, он меня за ногу тянет!

До сих пор не могут ему черпалки купить!

Малыш так мне в штанину вцепился, что его не оторвать. Один за рубашку меня хватает, другой за штанину...

— Давай черпалку! — орет, и все.

Нагнулся, поднял я с земли палку и говорю:

— Вот тебе черпалка!

А он говорит:

— Это палка!

Я на его глазах копнул этой палкой землю и говорю:

— Это, конечно, палка, да не простая. Поэтому она не просто палка, а ЧЕРпалка. Раз она землю копает,— и еще раз как следует копнул, чтобы он убедился.

Малыш эту палку схватил, растерянно на меня посмотрел и улыбнулся.

ТЫ ПРИХОДИ К НАМ, ПРИХОДИ

«Если ты еще раз явишься на лагерную территорию, мы будем вынуждены обратиться за помощью в милицию».

Вот так мне и сказали.

А Санька сказал:

— Приходи-ка завтра на художественную самодеятельность. За что это тебя в милицию будут отправлять? За то, что ты художественную самодеятельность пришел посмотреть? Да где это видано, чтобы за это в милицию забирали?

Мне очень хотелось художественную самодеятельность посмотреть. Тем более, Санька будет плясать, петь и читать какое-то стихотворение. А если останется время, он еще будет показывать очень редкий фокус с носовыми платками. А если ему после всего этого зрители будут как следует аплодировать, он им прочтет две новые сказки писателей Козлова и Сергуненкова. Если же и после этого зрители не будут расходиться, а будут вызывать его на бис, он продемонстрирует небольшой акробатический этюд, где самым сложным является стойка на голове, не держась за пол руками.

Мне все больше и больше хотелось посмотреть художественную самодеятельность, и все более странным казалось мне, как это смеют меня не пускать в лагерь и даже выгонять, когда на

плечах моего друга, можно сказать, лежит вся тяжесть художественной самодеятельности.

— Единственное, чего я не люблю,— сказал Санька,— это «спасительный монтаж». В этом деле я никогда не участвую — отказываюсь наотрез!

— А что это такое? — спросил я.

— Ты что, Барто не читал? Об этом у Барто очень хорошо сказано: «Спасительная вещь». Ну, это когда все выстраиваются и первый говорит: «Нам песня строить и жить помогает». А второй говорит: «Она нас в бой и зовет и ведет». А третий говорит: «И тот, кто с песней по жизни шагает...» А четвертый говорит: «Тот никогда и нигде не пропадет!» Потом пятый, шестой и так далее, пока всю песню не прочтут. Это когда выступать некому. Но раз я есть...

— А я? — спросил я.

— Что ты?

— Как же я?

— Вот фрукт! Да кто же тебя в воскресенье не пустит в лагерь, когда в воскресенье всех родителей пускают! Ходи себе по лагерю, гуляй, в песке сиди, под деревьями сиди, художественную самодеятельность смотри. И что это тебе в голову пришло, что в наш пионерский лагерь ходить нельзя? Кто это тебе мог сказать такое, прямо смешно! Да приходи ты в лагерь, приходи!

Он ушел на ужин, а я рассуждал про себя о том, что никто не имеет права в воскресенье не пускать меня в лагерь в родительский день. Потому что я, может быть, чей-то брат или дядя, может быть, я вместе с родителями пришел к своему брату или к сестре, и никто не может меня выгнать в такой день!

Не имеют права!

КОНЦЕРТ

«Если ты еще раз явишься на лагерную территорию, мы будем вынуждены обратиться в милицию...»

Эти слова у меня все-таки вертелись в голове, когда я с многочисленными родителями вошел в лагерь и стал ходить по лагерной территории.

Длинноносый теперь не будет меня за рубашку хватать. Санька его как следует предупредил, что если он меня будет хватать за рубашку, то Санька от его рубашки ничего не оставит.

На художественную самодеятельность все родители пришли. Народу было! Тьма!

Открылся занавес, и на сцене стоял Санька.

— Дорогие товарищи! Дорогие родители и ребята! Позвольте мне от лица... позвольте мне начать самодеятельность в своем лице...— сказал Санька и запел:

Хотят ли русские войнцы,
Спросите вы у тишины...

Он изо всех сил старался, и лицо у него было совершенно красное.

....Спросите у жены моей!..—

орал он.

Когда он кончил, все захлопали, и Санька радостно спросил:

— Еще выступить?

— Еще! — закричали зрители. — Давай!

— Сейчас, сейчас! — Он поднял кверху голову, а руку выставил вперед. Видно было, что любит он выступать. — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!» — заорал он.

На сцену выбежал вожатый, взял Саню за руку и увел. Вожатый сейчас же вернулся и сказал:

— Дорогие гости, наш конференсье несколько превысил свои полномочия: вместо того чтобы объявить номер «Танец матрешек» в исполнении сестер Трендафиловых, он спел песню...

Но тут зрители закричали, засмеялись, не дали вожатому говорить, требуя на сцену Саньку.

— Пусть прочтет! — кричали зрители.

Вожатый ушел, и опять вышел Санька.

— «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!» — заорал он сразу. — К нему не зарастет народная тропа!..»

Он прочел все стихотворение с вытаращенными глазами, и все остались довольны. Все просили еще что-нибудь исполнить, а когда появился вожатый, некоторые зрители даже



засвистели. Они ни за что не хотели Саньку отпускать, и он рассказал сказку писателя Козлова в своем изложении. Опять все захлопали и не хотели его отпускать. Но тут опять на сцене появился вожатый и, не обращая внимания на недовольство зрителей, все-таки Саньку увел.

На сцену выбежали девочки в костюмах матрешек.

Сзади шмыгали носом. Я обернулся и увидел того самого мальчишку-рыболова. Он меня тоже узнал и к губам палец приложил, чтоб тише. А рыбой от него пахло — жуть! Он ведь ее все время за пазуху пихал. Может, и сейчас у него там кой-какая рыба есть...

Матрешки подняли клубы пыли, но, несмотря на это, еще сильнее застучали ногами, как будто хотели всю пыль выбить окончательно.

После номера матрешек зрители опять стали вызывать Саньку, а матрешки думали, их вызывают, радостные, выбежали на сцену и еще раз сплясали. Третий раз они уже не стали плясать, наверное, поняли, что это не им аплодируют. Видно было из-за занавеса в глубине сцены, как вожатый спрашивает Саньку выступить, а он ломается. Наверное, обиделся, что ему вначале не дали выступить. Но в конце концов Санька вышел, оглядел всех, подмигнул кому-то (наверное, мне) и крикнул:

— Концерт пляски!

И стал плясать так, что первые ряды встали со своих мест и отошли в стороны к стенам, — он поднял столько пыли, что даже двадцать сестер Трендафиловых не смогли бы этого сделать. Некоторые стали чихать и каплять. Способный все-таки Санька человек, ничего не скажешь! Кончив плясать, он сразу, даже не отдышавшись, запел новую песню. Он, видимо, боялся, что ему не дадут еще раз спеть. Песня была о том, как любимая провожала на войну солдата, и когда доходило до слов «руку жала, провожала...» — Санька подбегал к самому краю сцены, даже казалось, он может свалиться вниз, и протягивал зрителям обе руки в крепком пожатии. В этом месте некоторые почему-то смеялись, но Санька на таких людей никакого внимания не обращал (не такой он был человек!) и спел до конца всю песню.

Когда он кончил, раздался прямо гром аплодисментов, Санька подождал, когда все успокоится, и сказал:

— А сейчас я вам прочту стихи собственного сочинения, которые называются «Да здравствует лето».

Да здравствует лето,
Да скроется тьма!
Да здравствует это,
Но не зима!
Нет, лучше я буду купаться,
Чем с горки на лыжах кататься!
В траве лучше буду валяться,
Чем на морозе болтаться!
Послушайте, люди, меня,
Послушайте лучше поэта.
Своими стихами звеня,
Я славлю не зиму, а лето!
Но если попросят меня,
Прославить не лето, а зиму,
То я, ничего не тая,
Своими стихами звеня...

В этом месте Санька остановился и сказал:

— Тут у меня как бы обрывается...

Все засмеялись, захлопали, а Санька сказал:

— Я вам могу прочесть другое свое стихотворение, если вы не устали...

Зрители опять захлопали, давая этим понять, что они ни-сколько не устали, и Санька сказал:

— Тогда — пожалуйста! Только названия у меня пока нету, и я буду без названия, если можно...

— Можно! Можно! Мы не устали! — закричали зрители.

— Тогда я начну:

Метет метель за окном,
Мать веником пол метет...
А я сижу за столом,
Пишу, что на ум придет...

Санька вдруг тяжело вздохнул и сказал:

— В этом месте у меня тоже обрывается...

К нему шел вожатый.

А Санька вытащил из кармана два платка и стал ими мах-хоть в воздухе. Я сразу понял, что он собирается фокус пока-зать, но другие, наверное, не поняли и продолжали хлопать.

Божатый подскочил к Саньке и стал ему что-то на ухо говорить. А Санька махал платками и не хотел слушать. В конце концов он спрятал свои платки в карман и совершенно жутким, печальным голосом объявил следующий номер. После этого ушел со сцены, вызываяще покачиваясь. Больше Санька со своими номерами не выступал, только выходил объявлять другие номера. Как только он появлялся, зрители оживлялись, смеялись и хлопали. Они его очень тепло, с большой радостью встречали.

После окончания зрители только и говорили о Саньке, какой он замечательный парнишка, забавный парнишка, симпатичный парнишка, удивительный парнишка, редчайший парнишка и еще какой-то там парнишка. Хотя я бы такие стихи тоже мог бы сочинить, и спеть мог бы (и не хуже), и Пушкина мог бы прочесть даже лучше, и сказку писателя Козлова я тоже читал и мог бы ее пересказать. Я все это мог сделать не хуже, но я этого не сделал, а он взял да и сделал, вот и получается, что самое главное — сделать, а не подумать. Если ты ничего не сделал, никому не показал, то никто и знать не будет, что ты мог. Я твердо решил на каком-нибудь вечере в школе выступить с разными номерами, мне тоже захотелось стать замечательным, забавным, удивительным, редчайшим, симпатичным парнишкой... Только вот смогу ли я сплясать? Вот это неизвестно... но если потренироваться как следует перед зеркалом, то непременно смогу, а если не смогу, заменю пляску художественным свистом — слух у меня неплохой и свистеть умею...

Зрители долго еще хлопали, не уходили, а рыбак сзади мне в ухо носом шмыгал. Мы с ним вместе вышли.

— Пошли Саньку искать,— сказал я.

— Мне рыбу надо ловить,— сказал он.

— Ты уже простудился,— сказал я.

Он шмыгнул носом.

— А ты откуда знаешь?

Я шмыгнул носом, как он.

— Теперь-то я в лодке ловлю,— сказал он.

Он все хотел уйти от меня, быстро шел, а я вижу такое дело, лодка у человека есть, ни на шаг не отстаю.

Потом он побежал, а я за ним, тем более мне показалось, начальник лагеря в нашу сторону направлялся...

В ЛОДКЕ

Он остановился на дороге:

— Ну, чего ты бежишь за мной?

Мы с ним запыхались, стоим, друг на друга смотрим и дышим тяжело.

— Слушай, долго ты так за мной бежать будешь?

Я молчу.

— Если ты так за мной бежать будешь, я не знаю, что тебе сделаю!

Он повернулся и пошел. А я за ним. На таком расстоянии, чтобы он мне ничего не сделал. Он опять остановился.

— Послушай,— кричит,— у меня там удочки спрятаны, не желаю я, чтобы все знали, где у меня удочки спрятаны!

— Я на твои удочки смотреть не буду, ты меня только в лодку возьми, зачем мне твои удочки!

— А ты отвернись, раз тебе мои удочки не нужны!

— А ты в лодке меня покатаешь? — спрашиваю.

— Да черт с тобой, садись в лодку, только не гляди, куда я удочки прячу!

Я отвернулся, он свои удочки достал и говорит:

— Смотри, чтобы в лодке шум не производить!

Я ему обещал, что шум производить не буду, и мы в лодку влезли.

Как только немного отъехали, я говорю:

— А что, если на тот берег к нахимовцам катануть? Посмотрим, как там нахимовцы живут, и обратно.

— Больше мне делать нечего, как к нахимовцам ехать, чего это я там не видел! Ты сиди да шум не производи!

— А что, если,— говорю,— я за лодку уцеплюсь и буду плыть, а ты меня будешь везти?

— Да ты что,— говорит,— шутишь, что ли? Как же я тогда рыбу буду ловить? Ты лучше гляди, нет ли коров поблизости, они нам рыбу напугают...

Коров не было видно, и я сказал:

— Неплохо все-таки к нахимовцам катануть...

В это время он якорь бросил и мне не ответил. Я все смотрел на тот берег, а он удочку разматывал.

Он удочку забросил, а я хотел воду рукой зачерпнуть и чуть лодку не перевернул.

— Не производи шум! — заорал он.

Я встал, чтобы шум не производить, а лодка так закачалась, что я чуть в воду не свалился.

— Ну-ка сядь! — орал он. — Ну-ка сядь! Вот чурбан! Не смей мне шум производить!

Он стал вытаскивать якорь и все повторял, что в этом месте теперь нет смысла рыбу ловить, она вся ушла.

Мы уплыли в другое место, а я все думал, как бы на тот берег к нахимовцам попасть.

Он снова бросил якорь.

Я старался шума не производить и сидел не двигаясь.

Но рыба не ловилась.

— Чего же это такое, — сказал я, — никакого шума нет, и рыбы нет...

Он во все глаза на свой поплавок глазел, а мне надоело на него глазеть, раз ничего с ним не случается.

— Никакой тут рыбы нету, — сказал я, — все ясно...

Он глаз с поплавка не спускал и молчал.

— Да где же рыба! — говорю. — Нету никакой рыбы!

Он на меня посмотрел и спрашивает:

— А?

— Хорошо бы на тот берег, — говорю, — поехать, раз рыбы нет.

В это время его поплавок под воду ушел, а он как раз со мной разговаривал. Он дернул, да поздно. Весь червяк рыба съела и ушла.

Он как закричит:

— Если ты мне еще про тот берег скажешь, я не знаю, что тебе сделаю!

Насадил он нового червяка, забросил и сидит, опять на свой поплавок смотрит. Только он в другую сторону забросил, и мне не видно стало поплавок, и я осторожно пополз, чтобы поплавок увидеть. И тут я рукой банку с червями задел, и она в воду бултыхнулась. Я не знал, что это за банка такая, и ползу себе дальше как ни в чем не бывало.

Он ко мне спиной сидел.

Повернулся и как заорет:

— Что ты наделал!

А я сразу не понял, что это банка с червями, и говорю:

— Какая-то коробочка упала...

— Немедленно,— кричит,— убирайся от меня! Уходи сейчас же! Тут же уходи! Сматывайся сию минуту! Сию секунду проваливай!

— Да как же я сию секунду уйду, если вокруг вода...

Он стал грести изо всех сил к берегу, и все ругался, ругался, и кулаком мне грозил, и себя ругал за то, что взял меня, а я только делал виноватое лицо — чего же я мог еще сделать!

Я ему даже «до свидания» не сказал, выпрыгнул из лодки и пошел.

А он мне вдогонку крикнул:

— Дурень несчастный, тунейдец, балбес!

Я повернулся и кулаком ему погрозил. Какое он имеет право меня разными словами обзывать!

РАЗГОВОР

Я и говорю Матвею Савельичу:

— Плохо все-таки, что у вас нет лодки.

— Плохо, что жены нет,— говорит Матвей Савельич.

— Возьмите да женитесь,— говорю.

— Возьми лодку себе да и сколоти,— говорит Матвей Савельич.

— Как же я сколочу?

— Ты лодку себе сколотить не можешь, а я жизнь свою сколотить не умею. Вот и выходит, что мы с тобой никудышные в жизни люди...

— Да ну,— говорю,— подумаешь — лодка! Это вовсе не значит, что я никудышный.

— А я, по-твоему, никудышный? Если бы никудышный был, такого сада у меня не было бы. Никудышный человек, он куста посадить не может. А колодец? Видал мой колодец? Только с ямщицким колодцем сравниться может! Сам рыл. Сам ко-

пал. А землю на тележке отвозил. А это ж работа. Это ж труд! Да если еще орден Славы заслуженный во внимание взять, то даже получается, что человек я славный, а не никудышный... Нет, брат, боевой я человек да работающий...

— А я в этом году все пятерки получил,— сказал я.

— Вот и получается,— сказал Матвей Савельич,— что мы с тобой люди достойные, славные. Только нам маленько не везет...

— Мне ужасно не везет,— сказал я.

— А если вникнуть,— сказал Матвей Савельич очень задумчиво,— то каждому человеку, по моему мнению, в чем-то не везет. Это если подумать. А кому больше везет, а кому меньше, это и понять-то невозможно. А те, кому кажется, будто им везет особенно, так они в этом ошибаются, потому что не подумали...

— Вот у нас в классе один мальчишка был,— говорю,— вот ему здорово везло! Что знает, то его учительница и спрашивает. Всегда пятерки получал. Только он в прошлом году в речке утонул...

Матвей Савельич так на меня посмотрел — я сразу понял, что глупость сказал.

— Да он не совсем утонул,— говорю,— его потом откачали...

— Повезло человеку...— сказал Матвей Савельич.

Почесал он свою бороду и говорит:

— Вот оно что значит — везенье, вещь такая спорная...

Еще бороду почесал и говорит:

— Вот погоди, управлюсь, сработаю тебе лодчонку, да такую, что сама без весел и паруса плыть будет...

СОБИРАЙСЯ, СКОРЕЙ СОБИРАЙСЯ!

Смотрю утром в окно, а у ворот наших Санька стоит и мне рукой машет. Я сразу во двор бегом, такая радость меня взяла!

— Вот это замечательно,— говорю,— что пришел! Как раз о тебе вспоминал!

— Погоди болтать,— говорит Санька,— времени осталось мало.

— Какого времени? — спрашиваю.

— Немедленно собирайся, если тебе интересно, и отправляйся с нами.

— Куда отправляться?

— Если ты узнаешь, куда отправляться, ты прямо до неба подпрыгнешь. Если тебе только интересно!

— Вот это красота! — говорю. — Только ты сначала скажи, куда мне отправляться, откуда я знаю, что мне интересно, а что не интересно, если я ничего не знаю.

— Узнаешь, — говорит Санька, — узнаешь, только ты скорее собирайся, ты еще до неба подпрыгнешь!

— А чего мне собирать? — спрашиваю.

— Да ничего не надо собирать, — говорит Санька, — ты только сам собирайся.

— Как мне собираться? — спрашиваю.

— Фуфайку, — говорит, — возьми, и все.

— Фуфайку?

— Возьми, возьми, — говорит Санька, — фуфайку обязательно возьми!

— А еще чего взять?

Санька подумал и говорит:

— Фуфайку, пожалуй, брат не надо, ничего брат не надо...

— А чего брат?

— Чего-нибудь возьми.

Я уже хотел бежать чего-нибудь взять, но тут же понял, что никак не могу этого сделать, ведь для этого надо знать, что брат.

Странная у него все-таки привычка все недосказывать!

— Еды у нас навалом, — говорит.

— Какой еды?

— В крайнем случае товарищи тебя выручат!

— Какие товарищи?

— Да ты что, не проснулся? Что, я тебе не товарищ, что ли?

— Ты-то? Конечно, товарищ, как же ты не товарищ!

— А раз я товарищ, значит, и другие товарищи, там-то тебя не посмеют гнать! Кто может гнать из леса? Лес общий. Если тебя из леса погонят, вот потеха будет!

- Из какого леса?
- Да ты не рассуждай, а собирайся. Неужели ты понять не можешь (ну и голова у тебя!), что отправляемся мы сейчас всем отрядом в поход с ночевкой...
- А мать?
- Что мать?
- А как же мать?
- Вот фрунт! Если тебя мама в поход не пускает, тогда нам с тобой не о чем разговаривать...
- Кто сказал, что не пускает?
- Ты сказал.
- Когда?
- Сейчас.
- Никто не имеет права меня в поход не пускать! — крикнул я.

ПОХОД

Мы с Санькой договорились: сначала я сзади буду идти, на почтительном расстоянии, чтобы меня не видели. А потом, когда в лес углубимся, я могу на глаза появиться. Тогда уже никто меня обратно не пошлет и я могу вместе со всеми дальше идти. Правда, мы с ним не договорились, сколько времени мне на почтительном расстоянии идти. Один раз я их из виду потерял, побежал вперед и чуть на вожатого не налетел. Хорошо, он меня не заметил. Он обернулся, а я за куст спрятался. Потом Санька специально отстал, и мы с ним переговорили. Он советовал мне пока держаться на почтительном расстоянии, а мне надоело. Он стал уговаривать еще некоторое время не показываться, но в это время его позвали, и он убежал, чтобы не вызывать подозрений. Я еще немного продержался на почтительном расстоянии, а когда отряд на полянку вышел, я тоже к ним вышел. Санька стал мне знаками показывать, чтобы я обратно в лес уходил, а я и не подумал.

Как ни в чем не бывало прошелся по полянке и в стороне сел.

Вожатый ко мне спиной стоял и дирижировал, а они пели:

Летний денек,
Речка, песок,
Тихий лесной ручеек, ок, ок, ок!
Светлый лужок,
Синий дымок
И над костром пионерский котелок, ок, ок, ок!

Так дружно пели! Особенно это «ок, ок, ок!» у них здорово получалось. Раз десять эту песню спели. Припев я запомнил и с ними пел. Никто на меня никакого внимания не обращал, не считая Саньку. Он все продолжал мне разные знаки делать, что-то на пальцах показывать — надоел ужасно! Не для того я в поход собрался, чтобы на почтительном расстоянии плестись. Никто не может мне запретить на полянке сидеть!

Все встали и пошли, а я за ними. Иду себе сзади, и никто меня даже не спрашивает, зачем и куда я иду. Вожатый обернулся и на меня посмотрел, а потом еще раз обернулся и говорит:

— Что это ты, мальчик, за нами увязался? Не вздумай с нами идти, мне за тебя отвечать нет никакого желания.

Я остановился и говорю:

— Да что вы! За меня отвечать совершенно не нужно!

— Гуляй сам по себе, — говорит вожатый, — а к нам не пристаивайся.

Я обиделся и говорю:

— Если я с вами песню спел, это не значит, что к вам пристаиваюсь.

Санька говорит:

— Пусть он с нами идет, он хороший парень.

И ребята говорят:

— Да пусть идет, нам жалко, что ли.

Вожатый говорит:

— Никаких хороших парней! Чтобы я больше не слышал этих слов! Пока не поздно, возвращайся к своей маме!

Санька говорит:

— С ним теперь уже ничего не сделаешь, он никуда не пойдет...

— Как это не пойдет? — говорит вожатый.

— Никуда я не пойду, — говорю.

Вожатый мне пальцем погрозил:

— Отстань от нас, я тебя предупреждаю.

— Не отстану,— говорю.

— Неужели ты не понимаешь, мальчик, что ты нам нежелателен? Ну, что ты пристал к нам, зачем? Разве можно так поступать? Тебе ведь не разрешают с нами идти, а ты идешь. Ну, разве это хорошо?

Санька говорит:

— Ему одному скучно живется. Он на все пойдет.

— Как это на все пойдет? — спрашивает вожатый. Вид даже какой-то испуганный у него стал.

— Я все равно за вами пойду,— говорю.

Ребята говорят:

— Он теперь дорогу обратно не найдет,

Санька говорит:

— Он, наверное, дорогу обратно забыл, как же он теперь вернется?

Вожатый так разнервничался!

— Не валяйте дурака! — кричит. — Мы совсем мало прошли! Кого вы из меня хотите сделать?!

Санька ко мне подскочил и на ухо мне шепчет:

— Ему все кажется, из него хотят простофилю сделать...

Я сразу задом к лесу попятился.

— Не смей за нами идти! — крикнул мне вслед вожатый.

Я за дерево спрятался. Они постояли, в мою сторону посмотрели и пошли.

Я подождал, пока они подальше отойдут, и за ними пополз. Потом их потерял.

Вскочил, за ними побежал.

Бежал, бежал, а они мне навстречу идут. Выходит, я вперед их забежал.

Я обратно бежать. Ребята смеются, а вожатый вслед мне кричит, чтобы я домой возвращался.

Некоторое расстояние пробежал, остановился, чтобы дух перевести.

Постоял, отдышался и забыл, откуда я бежал. И в какую сторону мне теперь бежать. Я, значит, на месте крутился и все стороны перепутал.



Стал бегать по лесу, их звать.

То в одну сторону побегу, то в другую, то в третью, а то в четвертую.

— Кто здесь!! — кричу.— Кто здесь!!!

Сел на пенек, а слезы у меня из глаз каплют.

А если я дорогу обратно не найду, только одни кости мои в лесу найдут?

Поплачут родители над моими костями... Простят, что школу пропускал... Если бы они знали, что от меня одни кости останутся, они бы меня ни за что на свете, никогда, ни за что не ругали бы...

Вдруг слышу:

— ...ок, ок, ок!..

Они!

Ура!

Куда теперь бежать? К ним или от них?

Если я к ним побегу, вожатый опять меня гнать начнет, но в то же время, если я от них все время бегать буду,— тоже не дело. Не для того я, в конце концов, в поход собрался, чтобы вокруг них по лесу бегать!

Отряд приближался.

А я назад.

Вдруг песня прекратилась. Опять их потерял.

Тогда я слезы вытер и пошел вперед наперекор всему. И чего это вожатому кажется, будто из него хотят простофилю сделать? С чего это он взял! У меня такой мысли вовсе не было, как бы ему объяснить, что у меня такой мысли никогда в жизни не было.

Я их издали увидел.

Вдруг испугался идти наперекор всему и за куст лег. Из-за своего укрытия наблюдаю, как они рассаживаются, вынимают бутерброды из рюкзаков и едят.

Мне так есть захотелось! Хоть ложись да помирай. Вовсю себя ругаю за то, что утром поесть не успел, а теперь после этой бестолковой беготни в желудке, наверное, совсем ничего не осталось.

Я к ним направился из-за своего укрытия. Вид у меня был что надо! Заплаканный и весь в земле.

Навстречу мне Санька выбежал. Он меня первый заметил. Я на него умоляюще посмотрел и говорю:

— Дай мне кусок бутерброда, тогда я опять в лес уйду...

А ребята кричат:

— Смотрите, смотрите, он опять идет!

Санька говорит:

— Пусть человек идет с нами, куда он теперь обратно пойдет, вы посмотрите, какой он голодный и усталый...

Он дает мне бутерброд, и я его моментально весь целиком в рот запихиваю.

Вожатый говорит:

— Я никакого морального права не имею брать тебя с собой.

Санька говорит:

— Человек ведь пропадет, голодный и заблудший...

Ребята говорят:

— Дайте ему бутерброд съесть, а потом ругайте...

Вожатый говорит:

— Дайте ему еще бутерброд в таком случае...

Ребята вокруг меня столпились и сразу мне несколько бутербродов дали.

— Пусть он ест! — кричат. — Дайте ему поесть! Не мешайте ему есть!

Вожатый подождал, пока я наемся, и говорит:

— Почему ты все время за нами шел, негодный мальчишка?

— Это я его позвал, — говорит Санька.

— Твои выходки ни с чем не сравнимы, — говорит вожатый, — никто нам права не давал брать с собой посторонних.

— Какой же он посторонний, — говорит Санька, — если он наш сосед.

— Сосед — это еще не значит, что не посторонний, — говорит вожатый.

— Соседи должны быть друзьями, — говорит Санька.

— Ты все-таки, может быть, найдешь обратно дорогу, мальчик? — спрашивает вожатый.

— Да как же я ее найду? — говорю. — Вы что!

— Неужели не найдешь?

Я с радостью говорю:

— Ни за что не найду, честное пионерское!

После бутербродов мне как-то легче на душе стало.

— А ты, Саня, будешь держать ответ перед начальником лагеря,— говорит вожатый.

Ребята кричат:

— Пусть, пусть идет! Тем более, он наш сосед!

Вожатый вздохнул и говорит:

— Иди сюда.

— А вы меня не ударите? — спрашиваю.

— Да ты с ума сошел! — говорит вожатый.— Откуда у тебя такие представления о воспитателях! Не хватает мне еще с тобой драться! Этого мне еще не хватает! Кого вы из меня хотите сделать?

Ребята говорят:

— Ты не бойся, он никогда никого не бьет.

Тогда я к нему подошел.

— Будешь вести себя образцово? — спрашивает.

Санька говорит:

— Если хотите, я за него поручиться могу.

— Кому надо твое поручительство,— говорит вожатый,— когда ты сам за себя поручиться не можешь.

Вожатый взял меня за плечи и так, стоя предо мной и глядя мне в глаза, сказал:

— Коллектив — это большая сила. Что значишь ты без коллектива? Без друзей? Вне общества? Ты ноль! Да, да. И я понимаю тебя. Хотя я не имею права брать тебя с собой, но мы все-таки тебя возьмем, тем более тебя уже обратно не пошлешь. Но ты, дорогой, от нас не отставай и, пожалуйста, не теряйся, я тебя очень прошу, потому что с этой минуты я несу за тебя полную ответственность, представь себе...

Он улыбался, когда все это говорил, и таким хорошим человеком мне показался — дальше ехать некуда!

— Теперь-то уж я не потеряюсь,— сказал я.

— Это будет очень благородно с твоей стороны.

— И с вашей стороны благородно, что вы меня с собой берете,— сказал я.

— Вперед,— сказал вожатый,— а то мы так до реки еще не скоро доберемся.

Все стали надевать рюкзаки и отправились дальше.

Сапья со мной рядом шел и про вожатого рассказывал:

— Его однажды ребята подвели. Он с нами договорился, что мы будем спать на тихом часе, а он в соседний лагерь сходит по делу. Мы ему обещали, что будем спать, и он может спокойно уходить. А когда он ушел, мы говорим: «Айда на озеро, ребята, искупнемся и обратно, пока Виктора Александровича нет». Мы с кроватей повскакали и на озеро со всех ног. Вода еще холодная была, но мы все равно разделись и купнулись. Тут нас начальник лагеря и поймал. После этого Виктор Александрович нам все время говорит, что мы из него простофилю хотим сделать, а мы, ты же сам понимаешь, никакого простофилю из него делать не собирались... Мы хотели быстро возвратиться, откуда мы знали, что нас начальник лагеря поймают... Так что ты на него не особенно-то обижайся...

— Да я и не обижаюсь... Вот только нечестно вы с ним поступили...

— А я говорю — честно, что ли? Факт, нечестно...

— Зачем же вы так поступили?

— Да мы же нечаянно поступили, вот чудак! Откуда мы знали, что нас начальник лагеря поймают...

— Но вы же знали, что нечестно поступаете?

— Вот пристал! — сказал Санька. — Откуда мы знали, ничего мы не знали!

— Как же не знали?

— Не знали, и все!

Хороший у него был характер, веселый такой, он так и не мог понять, что все-таки он нечестно поступил. Он к этому так просто относился, как будто ничего и не было. Удивительный у него все-таки характер! Я бы сказал: нет, ребята, не надо, что вы, зачем и всякое такое. А ему, наверное, даже и в голову не пришло, когда он отправился купаться на это озеро. Он ведь не один пошел купаться, вот что странно...

— Не растягивайтесь! Подтягивайтесь! — кричал вожатый.

Мы с Санькой немного отстали и побежали догонять.

— Мы на тихом часе вообще всегда духаримся, — рассказывал Санька на бегу, — веселимся, подушками кидаемся, а Виктор Александрович из-за этого себе нервы треплет, а по-моему, не

стоит, подумаешь там, подушками лупим друг друга — и все. Ужасно ведь весело, правда?

Я согласился с Санькой, что действительно это весело.

Наш поход Санька потом описал в дневнике замечательно:

«Привал у нас был через полтора километра. Это был первый привал. Мы все хором спели нашу любимую песню «Ок, ок, ок!» Мы с таким удовольствием ее спели, что решили еще спеть десять раз. После этого мы прошли еще километр, сели на привал и стали есть бутерброды. В это время оказалось, что нас преследует Валька-дачник, которому я сказал, чтобы он нас преследовал. Он к нам присоединился, и дальше мы уже отправились в гораздо большем количестве. К следующему привалу мы подходили со следующими вопросами: «Скоро мы придем?» и «Скоро ли обед?» Но нам не пришлось мирно отдохнуть. Заметили лесной пожар и стали тушить. Но вот пожар потушен. Надо сказать, что перед тем, как тушить пожар, мы по приказу Виктора Александровича залезли на деревья, чтобы выяснить, откуда дым. Правда, Виктор Александрович сказал, чтобы кто-нибудь один лез, а мы все сразу полезли, кроме девчонок. И Валька-дачник не полез, потому что он обещал Виктору Александровичу образцово себя вести. Потом мы добрались до пожара и засыпали огонь землей и затоптали ногами. Но вот, как я уже сказал, пожар потушен. После пожара нам не терпелось скорее обедать, хотя другие говорили, что они еще не хотят обедать, но я был с ними не согласен. Виктор Александрович просил нас потерпеть до речки. И вот мы дошли до речки. Я сразу залез в воду и стоял в воде. Все тоже захотели залезть в воду, но Виктор Александрович их не пустил, а меня вывел из воды за руку. Но вот все взялись за дело. Кипит работа. Некоторые уже поставили палатки и отдыхают. Я тоже лег отдыхать в поставленную палатку. В это время наша звеньевая Кашежева, не теряя времени, ходит, слушает и записывает. На вечернем костре вся тайна раскрывается: она записывала всех нарушителей. Я тоже попал в этот список, так как стоял в реке. Все нарушители исполнили свои художественные номера. Я исполнил несколько номеров, в том числе номер «подражание паровозу». Я показал, как паровоз пыхтит, гудит, мчит и как подходит к станции. Этот номер всем понравился, и я показал,

как стреляют тяжелые орудия и крупнокалиберные пулеметы. После этого меня попросили больше не исполнять, и я согласился. Перед костром, я забыл сказать, мы ели вкусный суп из тушенки и очень вкусное второе, только я забыл, как оно называется, хотя съел его две порции. Ночью мы спали, а утром пошли обратно, предварительно позавтракав. Мы были счастливые и довольные. В лагерь мы вошли с песней. Побольше бы таких походов и полезных дел, как тушение пожара! Ура!

*Председатель совета отряда
С а н я Б у р т и к о в.*

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

Вожатый Виктор Александрович мне на прощание сказал, что я вполне могу время от времени в лагере появляться. Только вот почему время от времени — это мне было непонятно. И вообще было непонятно, что значит — время от времени? Сейчас, например, могу я там появиться или нет? А завтра могу? А если сегодня и завтра не могу, то когда могу? В конце концов, если я с ними в поход ходил, значит, и в лагерь могу пойти...

И я через забор перелез, ведь еще неизвестно, как часовые отнесутся к этому моему рассуждению.

Нервы у меня были напряжены. Я, сколько себя помню, всегда по этой лагерной территории с напряженными нервами ходил.

И вот с такими напряженными нервами встречаю я возле кухни Саньку. Он, как меня увидел, сразу стал мне котлету совать, можно подумать, он только и делает, что эти котлеты ест. Я как раз о том думал, что не только он может плясать, петь и все такое... И ничего сложного нету показывать, как пыхтит паровоз и стреляют крупнокалиберные пулеметы...

— Убери, — говорю, — свою котлету.

Он ее сейчас же в рот убрал. Жует и улыбается.

Съел котлету и говорит:

— Вот фрукт! Котлету не хочет.

— Знаешь что, — говорю, — я не хуже тебя умею разные штучки выкидывать, разные там пляски, песни разные там...

— Ну и что? — говорит.

— А то,— говорю,— что я не хуже тебя плясать умею!

Он, представьте себе, обрадовался:

— Серьезно умеешь? Чего же ты мне раньше об этом не сказал?

Мне вдруг неудобно стало, вроде я ему завидую.

— Что же, по-твоему, я должен ходить и всем докладывать, так, что ли?

— Зачем же всем? Другу-то своему мог сказать? Зачем же от друзей свои способности скрывать! Вот фрукт!

Мне эти его усмешки и разное там кривлянье ух как надоели!

— Если ты еще раз меня этим фруктом назовешь,— говорю,— я с тобой разговаривать не буду...

— Так это же у меня привычка такая!

Он подпрыгнул, в ладоши хлопнул и как заорет:

— Вот фрукт!

Я даже не знал, обижаться на него или нет, и решил не обижаться. Тем более, он у меня тоже привычку нашел, не буду говорить какую.

После всех этих разговоров мы с ним соревноваться пошли. Кто дольше спляшет.

Я думал, мы на сцену в клуб пойдем, а мы в баню пошли. Пыли, говорит, там нету и пол дощатый. Тихо и спокойно. Пляши себе, сколько твоей душе угодно. Подходящее он все-таки место нашел для соревнования. Мне бы никогда такая идея, насчет бани, в голову не пришла. Нет, он, конечно, способный человек, что там и говорить! Зря все-таки я полез с ним соревноваться... И чего это меня дернуло хвалиться, что я плясать умею! Как раз я плясать не умею. Спляшу как могу. Главное, на дыхание напирать, чтобы его переплясать. В конце концов, он не какой-нибудь там знаменитый плясун из Грузинской республики...

Пришли мы в баню, а там топится. А он не заметил, что ли, говорит:

— Ну, давай начнем!

— Жара-то,— говорю,— какая! Как же мы здесь плясать будем?

— Зато пыли нет,— говорит.

— Ведь душно,— говорю.

— Пока мы тут разговаривать будем, еще душней будет, давай начнем.

— А дышать?

— Да давай начнем, а там видно будет.

— Ну, нет,— говорю,— я здесь плясать не буду, сдохнуть можно!

— Ага,— говорит,— дышать не можешь! Испугался!

— Нисколько, просто мне здесь жарко.

— А мне не жарко? Мы с тобой, по-моему, в одинаковых условиях находимся. Спياшем и уйдем. Давай начнем, пока еще жарче не стало, нечего пустыми разговорами заниматься! Ты просто, я вижу, увиливаешь, вот и все!

Я не на шутку разозлился и говорю:

— Давай, пожалуйста, начнем!

Мы встали рядышком, друг на друга покосились, не знали, как начать, а после он крикнул:

— Концерт пляски!

В бане голос раздался глухо и как-то странно.

И мы заплясали. Я два раза поскользнулся, пол был мокрый, но быстро вскакивал, как будто и не падал. Тем более, что он тоже поскользнулся. Оказалось, уж не так-то трудно с ним соревноваться, нужно было только начать, а там пошло, а когда он выкрикивал «оп-ля!», я тоже выкрикивал «оп-ля!», ничего в этом такого сложного не было.

Он не останавливался, и я тоже не останавливался, зачем же мне останавливаться, если он не останавливается. Я на него только косился все время, чтобы его из поля зрения не упустить.

Мы вовсю плясали, когда дверь отворилась и вошел начальник лагеря.

— Что там за стук? Что происходит? — спрашивает.

Когда он зашел, мы не видели, только когда он спросил, мы услышали. Он громко так сказал, во весь голос. А так мы его совершенно не заметили.

Мы остановились. Санька говорит:

— Мы репетируем,

Он удивленно спрашивает:

— Что репетируете?

— Художественную самодеятельность,— говорит Санька.

— Да вы что, в своем уме?

— В своем,— говорит Санька,— мы с ним соревнуемся.

Начальник лагеря рукой взялся за голову и говорит:

— Здесь?!

— А здесь пыли нет,— говорит Санька.

— Пыли нет? — говорит начальник. — Какой пыли?

— Нету пыли, и все! — говорит Санька.

Тогда начальник лагеря спокойно так, тихо говорит:

— Вы, ребята, мне вот что скажите: вот здесь, сейчас, вы плясали или нет?

— Плясали,— говорит Санька.

— Ведь здесь же стоять невозможно, не то что плясать...

— Отчего же невозможно,— говорит Санька,— вы же стоите.

Начальник лагеря развел руками и говорит:

— Удивительные дети!

Он посторонился, а мы с Санькой вышли.

Он даже меня не узнал, вот что удивительно!

ВСЮ НОЧЬ НЕ СПАЛ

— Здорово ты все-таки тогда в бане сплясал,— сказал Санька,— я был так удивлен, что всю ночь не спал.

А ТЫ ПОСТАРАЙСЯ!

Я стоял возле автобуса, а Санька из окошка выглядывал.

— Имей в виду,— говорил он,— завтра все участники похода в городе встречаются, а потом все в кино пойдем, на какую-нибудь новую картину...

— Мне за этот поход так влетело...— говорю.

— ...все участники похода пойдут на новую картину,— твердил Санька,— такая у нас традиция...

— Эх, жалко, мне нельзя!..

Автобусы двинулись к воротам, и я за Санькиным автобусом побежал.

Санька весь из окна высунулся и кричит:

— В двенадцать часов встречаемся в Таврическом саду! Я рядом бегу и кричу:

— Как же я могу, Саня, я ведь никак не могу!..

— А ты постарайся!

— Как же мне стараться, никак мне нельзя стараться!

Санька долго махал мне рукой.

А я ему махал.

Автобусы свернули, и я перестал махать.

Об этом последнем лагерном дне Санька очень выразительно написал в дневнике:

«Больше уже никаких дней в лагере не предвиделось. Мы все ходили печальные, окидывали взглядами лагерь, и у всех щемило сердце. У Кати Карапузовой так защемило сердце, что ей стало плохо. Ей дали стакан компота, и ей стало лучше. Но вот мы отправились прощаться с озером. Мы долго стояли и прощались с озером и лагерным солнцем. Один мальчишка стоял в воде и ловил рыбу. Мы его уже, наверное, сто раз видели. Но в этот раз он нам показался каким-то другим и родным. И мы поняли, что больше его не увидим. Мы его позвали, но он не откликнулся. Ну и пусть! Он вообще никого никогда не замечает, кроме рыбы. Но вот мы вернулись в лагерь. И вот мы спели несколько песен, поели борщ и второе: курицу со свежим огурцом. А на третье было мороженое. Но вот все съедено, и — о горе! — уже въезжают в лагерь автобусы. Они въезжают один за другим, как танки на параде. Нам захотелось домой, но уезжать нам не хотелось. И вот нам вручают подарки. Некоторые тут же едят подарки, а некоторые везут их домой. На этом я обрываю запись, потому что мне тоже пора садиться в автобус.

*Старшина по отправке
своего отряда домой
С а н я Б у р т и к о в.*

ТИШИНА

Тишина была такая в лагере, как будто все умерло. Впечатление жуткое. Никого не слышно и не видно. Кошмар какой-то. Такая тишина — тоска одна. Я и не собирался в лагерь: чего мне там делать, раз все уехали, а потом взял да пошел — и сам не знаю зачем. Дай, думаю, похожу по лагерю, поброжу. Как-никак когда-то меня оттуда всюю гнали, а тут можно ходить себе сколько угодно. Да толку нету. Чего ж ходить, раз никого нет.

Утро было теплое, спокойное, ветра не было. Зверская была тишина.

Я и не знал, что в лагере есть кто-нибудь, я думал, все уехали, а там, оказывается, еще какой-то персонал остался. Они, видимо, после вчерашних хлопот отдыхали.

Хожу я среди тишины и вспоминаю, какая здесь веселая обстановка была.

Первым я повара увидел.

Он как следует зевнул и говорит:

— Здравствуй, не хочешь ли кочерыжку?

Я от кочерыжки отказался, тогда он еще раз зевнул:

— Не хочешь и не надо.

Стоит и зевает.

— Дикая скука какая! С Васькой в город, что ли, уехать? Или не уезжать?

— С каким Васькой? — спрашиваю.

— Да вон...

Гляжу вокруг, никакого Васьки нету.

Только крытая такая продуктовая машина стоит, я сразу ее даже не заметил.

А повар говорит:

— ...так вот я и думаю, может, мне на ней поехать, да время даром не терять. Одно дело — сотни ребят накормишь, а другое дело — себя самого накормишь. Одно дело — ходят вокруг тебя ребятки, довольные, веселые, и говорят: «Вкусно, товарищ повар!» А другое дело — самому себе говорить: «Вкусно, товарищ повар!» Это вещи разные, противоположные...

Я дверцы кузова открыл и внутрь заглянул. Темно. Сплош-

ная пустота. Только тряпка в углу. А пахнет не то мясом, не то луком, не то сыром.

А повар продолжал:

— ...Васька поедет, когда проснется, ему без руля здесь тоже делать нечего. Ему так же муторно тут сидеть без всякого дела. Так вот, я и считаю, что вполне стоит мне вместе с ним отправляться. На какое-нибудь, культурно-массовое мероприятие в городе сходить. А утречком сюда на электричке возвратиться. А как некоторые там на солнышке лежат пузом кверху, так мне эта затея так же муторна, как ничего не делать. Помылся в озере да и вышел. А чего лежать-то? Как некоторые завалятся с утра и лежат, лежат, словно померли. Да они и есть помершие, раз лежат. Живой человек лежать не будет. Он двигаться будет. Он будет действовать. Кашу варить. А полежать, браток, еще время придет. Так что я против этого. Кочерыжку хочешь?

Я опять от кочерыжки отказался, а он продолжал:

— Вот ты, к примеру, какое призвание имеешь? К чему у тебя душа лежит? К какому такому делу?

— К шахматам,— говорю.

— Шахматы — это хорошо!

Он задумался.

— Никогда я в шахматы не играл. В домино играл. Ну, это игры, спорт. А еще к чему у тебя душа лежит?

— К математике.

— Отлично! Хорошо! Бухгалтером, значит, будешь?

— Может, и бухгалтером, а может, и ученым.

— Ишь ты, хватанул!

Он посмотрел на меня как-то внимательно, серьезно и сказал:

— Это хорошо! Хочешь кочерыжку?

Вздохнул и опять начал рассуждать: поговорить он, видно, здорово любил.

— ...вот, к примеру, ты математик, а я повар. Сколько ты ни считай да ни высчитывай и ни рассчитывай, а если без обеда тебя оставить, каши-маши тебе не сварить, то и гроб всей твоей математике, ага! Как это у вашего поэта там сказано: повара всякие нужны, повара всякие важны! Так?

Я поддакивал да головой кивал.

— ...а я люблю детей, которые едят крепко. Вот у нас тут такой Санька был — да ты с ним приходил — во ел! Все добавки просил. Так я ему с таким удовольствием, с такой радостью добавки отпускал, ты же понимаешь, — давай, милый, ешь, поправляйся да Александра Васильевича вспоминай. Я к этому делу творчески подхожу. Я тому человеку, кто ест крепко, специально, особо нажарю, особо наварю, вот так! А кто мало ест — нехорошо...

— Ем-то я хорошо, — сказал я, — только мне не везет...

— Если будешь есть хорошо, то и повезет. Это я тебе верно говорю. Ты меня послушай и есть продолжай, и увидишь. Только в чем же это тебе не везет, если не секрет?

— Ребята все уехали, а я остался...

— Другие приедут.

Нет, он меня не поймет. Он меня никогда не поймет...

— А вот почему, — спрашиваю, — некоторые люди не женятся до самой старости?

— Чудаки, значит.

Я его и спросил:

— А вы не чужак?

— Это отчего же? — спрашивает.

— А оттого, что вы всем кочерыжки предлагаете...

— Ну, малец! — говорит. — Голова! Математик! Теперь-то я вижу, что ты математик, да еще шахматист!

Мне неприятно стало, что он так меня называет, и я его спрашиваю:

— Когда же Вася придет?

— Да вон идет!

Вася-шофер подошел к машине, а повар ему:

— Ну, Вася, этот малец уморил меня, сущий цирк, ты бы, вместо того чтобы спать, пораньше явился этого математика послушать. Уличил меня, значит, что я всем кочерыжки предлагаю...

Он смеялся, а шофер, весь заспанный, видать, не умылся еще, посмотрел на него удивленно да и к машине пошел. В кабину залез и тут же вылез.

Я ПОСТАРАЛСЯ

«А ты постарайся!» — вот так Санька мне и кричал, когда уезжал...

А ты постарайся...

Я возле машины стоял, а вокруг никого.

Я в кузов влез.

Дверцы плохо закрывались, и я все возился, чтобы они лучше закрылись. Но с моей стороны ручки не было, и щель оставалась.

Я в угол пополз.

Сел на тряпку в углу. И на щель смотрю.

Я представил себе: приезжаю... мы с Санькой обнимаемся и вспоминаем про поход... потом я обнимаюсь с другими ребятами и, может быть, даже со Светланой Савельевой... Эх, в кино вместе сходим... Из кино вместе выйдем... По улицам пойдем... к кому-нибудь зайдем... может быть, к Светлане Савельевой зайдем... а там нас чаем угостят... с пирожными... а может быть, с вареньем... ее родители будут хлопотать вокруг и приговаривать: «Ах, ах, ах, так, значит, вы вместе с моей дочкой были? Вместе в поход ходили?.. Друзья, значит?.. Господи ты боже мой, радость-то какая!.. Чем бы вас еще угостить... пейте, закусывайте, не стесняйтесь, ах вы мои милые, усталые, утомленные, не налить ли вам еще?.. Вместе, значит, были — ах как хорошо!..» Света дует на чай и на меня смотрит, а я смотрю на нее и тоже дую на чай...

Я все это так хорошо представил, как вдруг что-то щелкнуло и такая темнота стала, какой я никогда в жизни не видел.

Это щелкнула дверь. И не стало щели.

Машина поехала, и ничего — подумаешь, темнота! — ничего в этом нет такого!

Я даже песенку запел, а слова там такие были: «Еду, еду я по свету...», а дальше какие слова, я забыл.

Я все вспомнить хотел и не мог.

Дальше, кажется, «телеграммы развожу»: «Еду, еду я по свету, телеграммы развожу...», нет, «письма развожу...», а может быть, не письма?

Вспоминаю, что там развозят, как вдруг (этого я никак не ожидал!) меня с места сорвало и в сторону дверей бросило.

Дорога, наверное, плохая, подумал я.

Пополз я обратно в свой угол.

Сел там, схватился за тряпку, но, несмотря на это, меня вместе с тряпкой в другой угол бросило.

Ну, так и есть, плохая дорога, совершенно ясно!

Лучше уж буду в этом углу сидеть, не все ли равно, в каком углу сидеть!

Не успел я об этом подумать, как меня в прежний угол швырнуло, там, где я раньше сидел, а тряпка осталась.

Какая-то безобразная дорога!

Ползу к тряпке. Кругом темнота. Ведь, кроме как на этой тряпке, мне сидеть совершенно не на чем. А пол железный. Не хватает еще на железе сидеть! Мне мама строго-настрого наказывала ни в коем случае на железе и на камне не сидеть.

Ползал, ползал, пока эту тряпку не нашел.

«У прохожих на виду...» — вот какие там были слова, а во все не «телеграммы развожу», как это мне сначала показалось. «...Еду, еду я по свету у прохожих на виду...» — меня к потолку подняло, и я понял, что потолок тоже обит железом — так же, как пол.

А когда меня бросило в стену, я даже удивился, как раньше не заметил, что стена тоже обита железом.

Нет, петть мне уже не хотелось.

Меня все швыряло.

Я встал, руками уперся в потолок, а ноги расставил как можно шире.

Меня тут же сшибло. И я покатился.

Запутался в тряпке.

От тряпки пахло всем.

«У прохожих на виду», — нелепо мелькнуло в голове.

«Ну, а если не доеду, все равно пешком дойду» — вот какие там были дальше слова!

Лучше бы пешком дошел, подумал я.

Я вылез из тряпки. Нет, по-моему, это был какой-то мешок.

Я стал думать: мешок это или не мешок. Похоже, что мешок. А может, не мешок. Может, это только кажется, что мешок, а на самом деле просто тряпка. А если это тряпка, почему же я тогда из нее с трудом вылез?

Трясти перестало. Это, значит, на асфальтовую дорогу выехали, а если на асфальтовую дорогу выехали, значит, скоро в город приедем.

Всю эту асфальтовую дорогу я о Свете Савельевой думал.

— Эх, Света, Света... — сказал я.

Машина резко затормозила, и я уже приготовился вылезать, но дверь не открывали, и я стал барабанить кулаками, чтобы открыли. Я долго еще барабанил ногами, но дверь так и не открыли, и... дальше поехали. Тогда я догадался, что, наверное, шлагбаум был, а это значит — скоро город будет.

Опять стало швырять.

Я сразу догадался, что мы с асфальтовой дороги съехали на неасфальтовую.

Едем долго.

Копмар!

Наконец мы останавливаемся и стоим.

Я изо всей силы, с разбегу, наваливаюсь на эту дверь и вываливаюсь на землю.

Встаю. Сразу ничего не могу разглядеть на таком свете.

В каком направлении бежать мне к Таврическому саду?

Я жмурюсь. Но вижу уже мачту, кухню, забор... вижу лагерь... (!) начальника лагеря... Он хочет, кажется, что-то спросить у меня, иначе зачем же он идет ко мне?..

Я больше не жмурюсь.

Смотрю на все широко раскрытыми глазами и ничего понять не могу — честное пионерское!

Что получается?

И как все понимать?

Я мчусь к забору, в два счета перепрыгиваю и бегу дальше.

Вбегаю во двор, налетаю на Матвея Савельича, он обнимает меня и говорит:

— Я тебе лодку начал делать, а ты пропал...

НОВЫЙ ДЕНЬ

Автобусы въезжали в лагерь. Новые ребята в автобусах так галдели, как будто грачи прилетели со всего света. Я этот галдеж еще издали услышал и выбежал навстречу.

Я стоял в пыли, а они мимо меня проезжали.

Последний автобус остановился, один мальчишка высунулся из окошка и стал мне махать панамкой, как будто он мне знакомый. И чего это он мне машет, если я его первый раз вижу! Но все-таки я ему тоже помахал на всякий случай.

Этот автобус все стоял, а другие уже в лагерь въехали.

Я поближе подошел, а мальчишка меня спрашивает:

— Как здесь, ничего?

— Чего же плохого,— говорю,— конечно, ничего.

— Ну и как?

— Что как?

— Комары кусаются?

— Какие там комары,— говорю,— никаких здесь комаров нет.

— Это хорошо, что здесь комаров нет, а то я их ненавижу.

— Да кто их любит,— говорю,— никто их не любит.

— Некоторые их терпят,— говорит,— а я их просто терпеть не могу. Если здесь комары есть, я сейчас же обратно поеду.

Я, сам не знаю, почему-то испугался, что он вдруг обратно поедет, и говорю:

— Да что ты, что ты, ни одного комарика здесь нету...

— Ну, если нет,— говорит,— тогда другое дело...

Он спросил, как меня зовут, и я чуть было не сказал, что меня Лялькой зовут, но потом вспомнил и сказал свое новое имя. А он сказал, что его зовут Вольдемаром и что ему это имя не очень-то нравится.

Автобус тронулся, и он мне крикнул, чтобы я непременно к нему в лагерь приходил.

А я ему головой кивнул: мол, непременно приду, а как же иначе!

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ

ОЧЕНЬ РЕДКАЯ РАМА

— ...вот бухта, вот корабли...

— А это?

— А это, вдали, «девичья башня», товарищи, с нее, с этой невероятной высоты, когда-то... дай бог памяти... прыгнула в море заточенная красавица... тогда воды моря омывали эту башню, так сказать, со всех сторон... Обращаю ваше внимание на многочисленные плоские крыши домов... этот фактор, как вы сами понимаете, говорит о том, что осадков в нашем городе выпадает незначительное количество...

— А это?

— ...эти красные цветы, товарищи, так называемые олеандры... Обратите внимание... вы видите громадную фигуру Кирова... Киров как бы стоит над бухтой... он приветствует этот чудесный город с этой горы... А сейчас мы снимемся на фоне нашего великолепного города, который расположен на берегу Каспийского моря, как вы сами видите, товарищи...

— На фоне кораблика!

— На фоне кораблика, товарищи, сняться нельзя, потому что он, как вы сами понимаете, не будет виден на фотографии.

— Ой, почему же?

— А потому, товарищи, что он на весьма далеком расстоянии находится от нас, что вы сами, естественно, видите...

— А может, получится?

— Нет, товарищи, я уже вам сказал, он не получится. Кто любит экзотику, садитесь на камни, а кто не любит, вот встаньте сюда, вот так... весь Баку будет как на ладони, что, вы сами понимаете, очень ценно... Фотографирую, товарищи, фотографирую, раз! Все, товарищи. Разойдитесь, и в положенное время снова соберетесь для дальнейшего движения...

Все расходятся. Я подхожу к отцу. Он вытирает платком лицо. Жара в нашем городе сильная.

— Тебе чего? — спрашивает отец.

— Очень редкая рама, — говорю я.

— Опять рама?

— Очень редкая, — говорю я.

— Отстань, — говорит отец. — Все собрались? — Это он говорит не мне. — Продолжим шествие, товарищи...

Все идут за отцом.

— ...я хочу обратить ваше внимание на то, что ветры в нашем городе дуют двести сорок дней в году... Но бухта, товарищи, расположена таким образом...

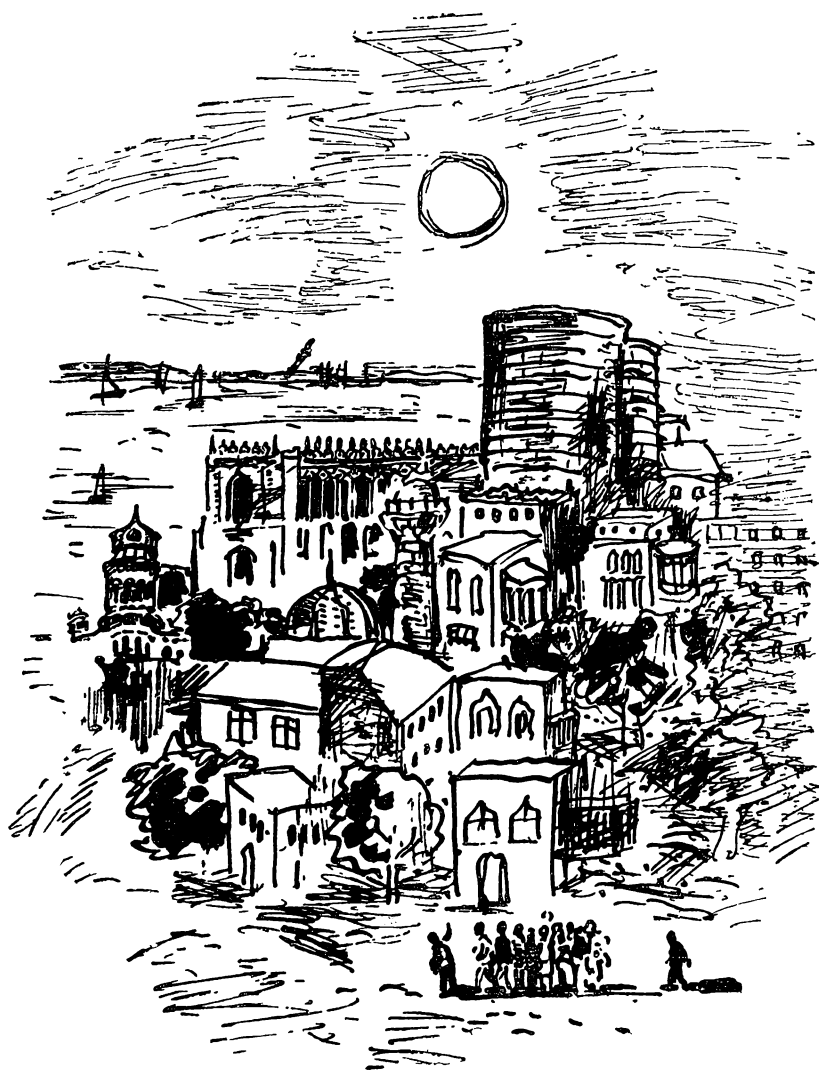
Я плетусь сзади. Вся пыль летит на меня.

Если он мне не купит эту раму, я просто не знаю, что мне делать, где мне деньги доставать тогда... Картины без рам — не картины. Вот я был в музее. Там все картины в рамах. Висят как настоящие. Напишу я потом картины масляными красками. А рам у меня не будет...

— ...отсюда, товарищи, с этой высоты, вы видите бульвар... которого раньше, как вы сами понимаете, не было... Было море... По этому факту вы можете себе представить, насколько обмелело море, которое дает испарений... чтобы не соврать...

— Неужели так обмелело?

— Вот именно, товарищи... вы правильно заметили... оно



обмелело именно до такой степени... И жара и время... которое, так же как и жара... постепенно...

Все с удивлением смотрят на море. Качают головами и вздыхают.

Я думаю о раме. Эта рама сейчас у меня перед глазами. Такую раму просто представить себе трудно! Потом такой рамы ни за что не найдешь, уж в этом-то я уверен!

— ...изменения, изменения, всюду большие изменения...

Пыли-то сколько!

— ...если вы не устали, мы можем пройтись...

Неужели они не устали? Я и то устал.

— ...отдохните и соберитесь для дальнейшего движения...

Все расходится, курят. Без конца говорят о том, до чего все-таки удивительно обмелело море.

Отец остался один.

Я подхожу к нему.

— Ты все еще здесь?

— Такая рама! — говорю я.

— Это бессмысленно покупать какие-то рамы! — говорит он.

— Если б ты видел эту раму! — говорю я.

— И видеть не хочу, — говорит он.

— Мне нужна рама!

— Для чего?

— Ты увидишь ее! Увидишь! Я не знаю, что с тобой будет, если ты эту раму увидишь! Ты такую раму еще никогда не видел!

— У тебя нет картин, — говорит отец. — Ни одной нет картины. Господи! Зачем тебе рама?

— Картины будут, — говорю я, — были бы рамы!

Он смотрит на меня так, будто я вру.

— Стал бы я покупать эти рамы, если у меня картин не будет!

— Чтоб это было в последний раз!

Он дает мне деньги.

— Ты увидишь ее! — кричу я.

— Ах, — говорит отец, — пошел ты от меня со своими рамами!

САМАЯ БОЛЬШАЯ РАМА

Она стояла в коридоре, громадная, до потолка.

Самая тусклая лампочка светила в этом коридоре. Самая прекрасная рама мерцала в полутьме. Покрытая пылью, увешанная тряпками, эта рама не сразу была заметна. На раме стоял горшок.

Но я сразу заметил ее. Протер рукавом. Это была очень старая, очень красивая рама.

Отец с матерью сидели в бабушкиной комнате и пили чай, а я все ходил возле рамы в бабушкином коридоре. Я рассуждал про себя: «Если бы эта рама была нужна, на нее не ставили бы горшок. Не вешали бы тряпки. Она не стояла бы здесь в пыли. Но в то же время она, может быть, НУЖНА. Она, может быть, ПОКА стоит. А ПОТОМ она будет нужна. Если бы это была не бабушкина рама, можно было бы спросить, не продается ли она случайно. Ничего в этом нет такого. Может, люди хотят продать. А я хочу купить. Почему бы им не продать, если у них покупают? Но не будет же моя бабушка продавать мне раму! Она может только мне ее подарить». А просить о том, чтобы она мне ее подарила, было неудобно. Раньше, когда я был поменьше, я легко мог бы спросить у нее что угодно. Но сейчас не мог. Сколько слышал я разных слов: «Не волнуй бабушку», «Наша старенькая бабушка может умереть», «Не приставай к бабушке», «Не расстраивай бабушку», «Как тебе не стыдно такое спрашивать у бабушки», «Разве можно так относиться к бабушке?», «Кто тебе позволил так разговаривать с бабушкой!» Нет, не мог я спросить у бабушки про эту раму. Я не был уверен в том, что это МОЖНО спросить. Что в этом нет ничего такого.

Обо всем этом я рассуждал в бабушкином коридоре.

Потом меня позвали в комнату, и бабушка угощала меня вареньем и все повторяла, что давно меня не видела и хочет посмотреть на меня как следует, а я думал только о раме. Если мне что-нибудь в голову приходит, то обратно уже оттуда не уходит. Я думал, какую громадную картину можно вставить в эту раму, о том, в каком месте в нашей квартире можно повесить картину в такой раме, о том, сколько времени мне придется писать такую картину.

— Раньше он был гораздо веселей,— сказала про меня бабушка.— И варенья все время просил, а сейчас даже варенья не просит.

— Скоро он чего-нибудь покрепче затребует,— сказал отец.

— Чего потребует? — спросила бабушка.

— Ничего,— сказал отец.

— Не болтай ты,— сказала мама.

Бабушка спросила, не поставить ли еще чаю, а я вдруг спросил, не мешает ли бабушке рама, когда она ходит на кухню ставить чайник.

— Голубчик ты мой,— сказала бабушка,— мешает она мне ужасно. Только родной внучек может о бабушке вспомнить, понять ее, как ей рама эта проходу не дает... Все коленки я себе поотбивала, спину оцарапала, бок себе чуть не своротила об эту проклятую раму...

Никогда не любил я так бабушку! Ей не нужна была рама. Я это сразу понял.

— О чем это вы? — спросила мама. Больше всего на свете ненавидела моя мама рамы. Будто эти рамы ее в могилу загонят. Будто все беспокойства из-за рам. И беспорядок в доме.

Когда мама увидела эту раму, она закричала:

— Так вот к чему он клонит! Вот почему он так заботится о своей бабушке! Вот она, чистая, бескорыстная, добрая душа! Вот он, удивительный, художественный ребенок! И ты думаешь, я позволю тебе тащить этот хлам в квартиру? Неужели ты мог хоть на миг об этом подумать?

Если мама начнет кричать, она не остановится. Она будет кричать до тех пор, пока не устанет.

— Мне нужна рама! — кричал я.— Мне нужна рама!

Мы с мамой так кричали, что бабушке стало плохо.

— Что ты сделал с бабушкой! — кричала мама.

Отец стоял и молчал. Смотрел, что дальше будет. А потом как закричит:

— В конце концов я ему ПОКУПАЮ рамы! А эту раму ему бесплатно дают!

Тогда мама сказала:

— Я не хочу быть свидетелем этого безобразия! — Она хлопнула дверью и вышла.



Мы с отцом вынесли раму.

Бабушка крестилась.

— Чтoб позолота не слетела! — орал я. — Осторожно, чтoб позолота не слетела!

Отец сказал, что если я так буду орать, он сейчас же бросит раму.

Тогда я замолчал.

Мы ее молча несли по улице. А мама где-то шла впереди. Мне казалось, мы несем не раму, а что-то такое, что нельзя объяснить.

Интересно, что тогда скажет мама, которая сейчас против этой рамы, когда она увидит в ней мою картину, а вокруг этой картины толпа и все спрашивают: «Скажите, вы не знаете, кто написал эту картину? А смотрите, как прекрасно подобрана рама!» Интересно, что она тогда скажет? Она тогда, наверное, скажет: «Я ничего подобного не говорила, я всегда была за то, чтобы взять у бабушки эту раму».

Рама простояла у нас весну, лето и осень.

Часто мечтал я о той картине. Которая будет в этой раме. Это должна быть замечательная картина. Может быть, это будет морская картина. Море и луна. Или море без луны. Или даже не море. А какая-нибудь пальма. Или даже не пальма. А какая-нибудь военная картина. А может быть, и не военная. Может быть, какая-нибудь другая замечательная картина.

Однажды зимой, поздно вечером, мы с отцом пришли из ба-ни и радовались, что в комнате так тепло. Мы пили чай и хвалили маму. Ведь она затопила печку!

А мама улыбалась.

И мы тоже пили чай и улыбались.

Вдруг мама спросила:

— А знаете ли вы, чтo я сожгла?

Я сразу что-то почувствовал и стал смотреть по сторонам, и не мог догадаться, но почему-то вдруг испугался и не хотел, чтобы она говорила дальше.

Но мама сказала:

— Я сожгла вашу дурацкую раму.

Я поперхнулся чаем, а потом заплакал.

— Лучше бы ты не трогала эту раму... — сказал отец.

АЛЬКА

Я волосы отрастил, и они у меня назад зачесывались. Меня стали дергать за волосы. «Попом — толоконным лбом» звать, «Мочалкой».

Я наголо подстригся. Еще хуже стало. «Лысый! — кричат. — Кочан капусты!» По голове часто гладят.

Сижу я со своей лысой головой на задней парте. Приходит к нам в класс новенький. Такой черненький, и глаза черные. Его со мной посадить хотели. Как раз я один сидел. А он не хочет.

— Это почему же, — спрашивает Мария Николаевна, — ты с ним сидеть не хочешь?

А он твердо так отвечает:

— Я с ним сидеть не буду.

— Это почему же? — спрашивает Мария Николаевна.

— Потому что он лысый.

Хотел я вскочить, дать ему за это.

Мария Николаевна говорит:

— Что за чушь! Он, во-первых, не лысый, а подстриженный, а, во-вторых, если бы даже он и был лысый...

А он твердит:

— Я с ним сидеть не буду.

— Почему же ты все-таки с ним сидеть не хочешь? — спрашивает Мария Николаевна.

— А потому, — отвечает, — что я уже с лысым сидел, так меня с ним заодно дразнили, хотя я и не был лысый.

— Какая дикость! — удивилась Мария Николаевна.

В конце концов он все же сел.

Со мной не разговаривает. В мою сторону не смотрит. Вынул листок из сумки. А на меня все не смотрит. Я тоже на него не смотрю, но вижу, что он листок вынул и что-то рисует.

Вижу я — рисует он конницу, скачущую в атаку. До чего здорово у него получалось — ну как у настоящего художника! Как будто он сто лет учился. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так коней рисовал. Я сразу подумал, что мне так никогда не нарисовать, сколько бы я ни старался, но в то же время, если я как следует постараюсь, я не хуже нарисую.

Я хотел показать ему, как надо рисовать. А потом сделал вид, что не вижу. Он ведь не знает, что я лучше всех в классе рисую. Скажет, я подражаю. Скажет, я обезьяна какая-нибудь или там попугай.

Ничего. Потом он узнает, кто с ним рядом сидит! Потом он узнает, какие я стенгазеты рисовал! Какого я Шота Руставели нарисовал! Какого я летчика Покрышкина нарисовал, трижды Героя Советского Союза!

Пусть, пусть рисует!

А потом думаю: он, наверное, всю сейчас воображает. Сидит и воображает, будто никого на свете лучше него нету. Выходит, он будет здесь воображать, а я? Просто так буду сидеть?

Я вырвал листок из тетрадки. И стал рисовать танки, идущие в атаку.

Он сначала не заметил, что я тоже рисую, или он не хотел замечать, а потом заметил и рисовать перестал.

На мой рисунок глядит.

Я это сразу почувствовал. И всю рисую, на него никакого внимания не обращаю. Только локтем свой рисунок закрываю, чтобы он не видел.

Вдруг он говорит:

— А ну, покажи.

— Чего, чего? — говорю.

— Покажи,— говорит,— что ты там такое начирикал.

— Чего, чего? — говорю.

— Ас, ас! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Осторожно! — говорит.— Ас, ас!

— Что это,— говорю,— еще за ас, ас?

— Ра-ра! — говорит.— Ра-ра! Работай.

Вот нашелся какой! Какие-то слова мне бормочет. Удивить, наверное, меня этими словами хочет. Что бы, думаю, ему такое ответить, чтобы он так со мной разговаривать перестал. В это время он мне говорит:

— Вот если тебя спросит кто-нибудь: «Ты не кр?» — ты что ответишь?

— Чего, чего? — говорю.

— Нужно ответить: «Я не крр!» Понятпо?

Тут я разозлился и говорю ему:

— Крыса ты!

Я сам не знаю, почему его крысой обозвал. Просто ничего другого мне в голову не пришло.

Он поднимает руку и говорит Марии Николаевне:

— Он меня крысой обозвал!

Мария Николаевна говорит:

— Как тебе не стыдно, Стариков! К нам пришел новенький, он, наверное, стесняется, а ты его крысой обозвал...

— Кто? — говорю. — Он стесняется?!

До чего меня зло взяло, вы не представляете!

— Если ты мне сейчас не ответишь, с какой скоростью летят навстречу друг другу самолеты, ты покинешь класс...

Я встаю.

— Какие самолеты? — спрашиваю.

Я, наверное, здорово моргал глазами, потому что Мария Николаевна вдруг сказала:

— Брось моргать! Ну-ка, брось моргать! Дурачка представлять!

Моргал-то я просто случайно. Но я ничего не ответил. И все молчал. А про эти самолеты я вообще ничего не слышал.

— Ну? — говорит Мария Николаевна.

— Повторите, пожалуйста, про эти самолеты, — говорю.

— Выйди, будь добр, из класса, — говорит Мария Николаевна.

— Если бы вы повторили еще раз... — говорю.

— Я не могу слушать твои речи, — говорит Мария Николаевна.

Я собираю книги. Ничего такого я не сделал. Если бы я, там, мяукнул, как в прошлый раз. А сейчас? Его ко мне посадили, а я виноват!

Я сижу на последней парте. Иду медленно к двери. Через весь класс.

— Страна заживает раны после войны, — говорит вслед мне Мария Николаевна, — миллионы заняты созидательным трудом, миллионы трудятся, а один...

Я уже возле двери.

— Подожди, — говорит Мария Николаевна.

Я останавливаюсь.

— Подойди-ка.

Я подхожу.

Она почему-то волнуется. Вот уж совсем непонятно. Ей-то чего волноваться? Меня из класса выгоняют, а она волнуется.

Я стараюсь больше не моргать.

— Тебе не стыдно? — говорит Мария Николаевна.

Она держит в руках ручку, наверное, мне двойку хочет поставить. А руки у нее сильно дрожат. Это, наверное, потому, что она очень старенькая. Говорят, у старых людей всегда руки дрожат от старости...

— Я к тебе хорошо отношусь, — говорит она, — и ты, Стариков, способный человек. А ведь ты мне на голову сядишься... И потом, пожалуйста, не воображай. Ты можешь пропасть... как камень, брошенный в море. И не улыбайся. Пропадешь или будешь босяком вместе со своими художествами. Если не будешь учиться... Люди, честно не относящиеся к своему труду, обычно плохо кончают...

Она и не собирается мне ставить двойку.

— Стенгазету нарисуешь? — спрашивает меня Мария Николаевна.

— Нарисую, — говорю.

— Чтобы была на славу, — говорит она.

— Ладно, — говорю я.

— Разве ты для меня стенгазеты рисуешь? — говорит она.

Я иду на место. Сажусь рядом с новеньким.

— Ра-ра! — говорит он тихо. — Ра-ра! — Прямо в самое ухо мне говорит, представляете?

Я встаю.

— Я с ним сидеть не буду, — говорю я.

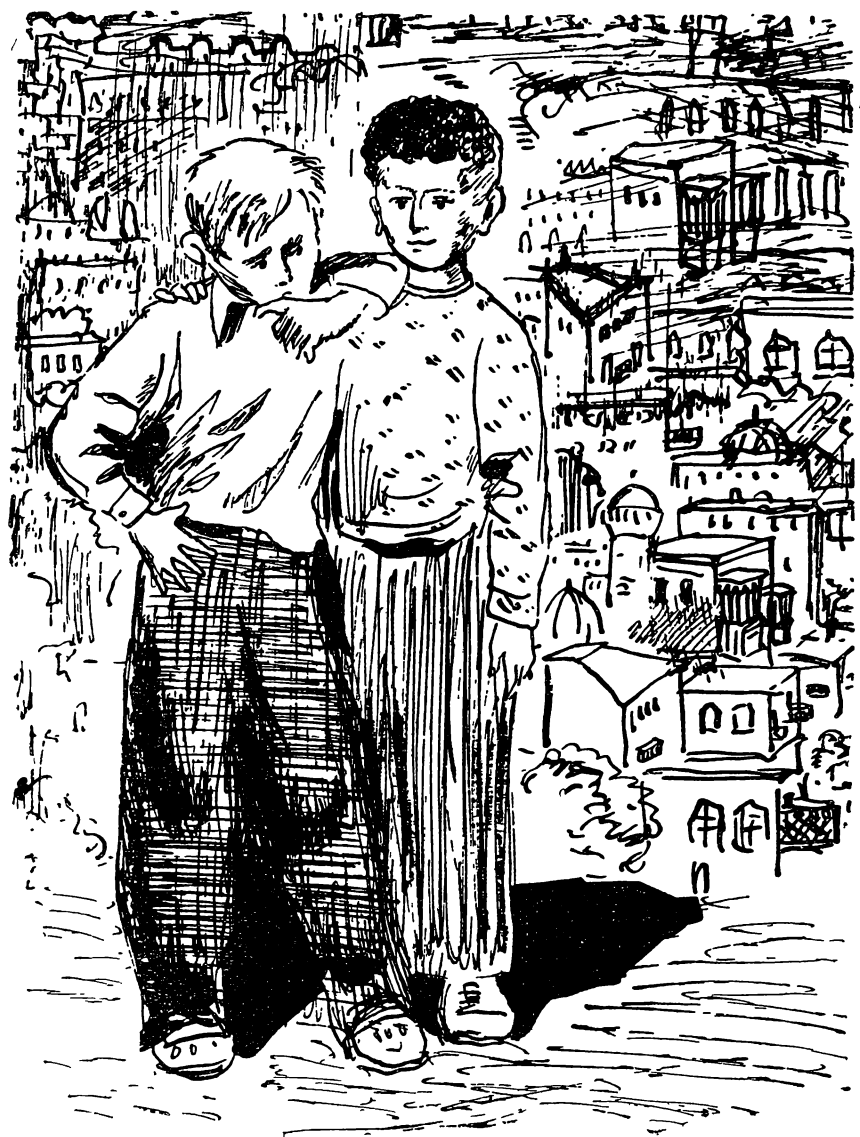
Мария Николаевна смотрит на меня и хмурится.

— Я с ним сидеть не хочу, — говорю.

— Выходите оба! — говорит Мария Николаевна. — Я не желаю слушать ваши речи!

Мы оба выходим.

Я с одной стороны. Он с другой. Я первый вышел в коридор, а он за мной.



Вдруг он говорит:

— Слушай, тут, наверное, разные завучи ходят.. Пойдем в уборную.

— Я в уборную не хочу,— говорю.

— Самое безопасное место,— говорит.— Сиди себе в полной безопасности.

Я сначала совсем не хотел в уборную идти. А потом пошел. И вправду, думаю, там, наверно, безопаснее.

Каждый в свою кабину сел. Сидим себе в полной безопасности. Здорово это он придумал!

Сидели, сидели, он мне постучал.

— Сидишь? — спрашивает.

— Сижу,— говорю.

— Как тебя звать? — спрашивает.

— Витька,— говорю.

— А я Алька,— говорит.

— Очень приятно,— говорю.

— Очень приятно,— говорит.

У нас с ним много общего оказалось. Масляными красками он, оказывается, так же как и я, никогда не писал. И рисовать его тоже никто не учил. Он сам всему научился. Он с самого детства на асфальте рисовал. Пойдет с бабушкой гулять в садик и рисует мелом на асфальте. Я стал вспоминать и вспомнил, что я раньше тоже рисовал на асфальте.

— Ты много на асфальте рисовал? — спросил он.

— Много,— сказал я.

— Хорошая школа,— сказал он.

— Какая школа? — не понял я.

— Художественная,— сказал он.

— Ага,— сказал я. Хотя все равно не понял.

— На асфальте. На бумаге. На холсте,— сказал он.

— Ну да,— сказал я.

— Все истинные художники начинали рисовать на асфальте,— сказал он.— Так мне один художник сказал.

— Конечно,— сказал я. Хотя я никак не мог понять, почему они все начинали рисовать на асфальте.

Он опять постучал мне.

— Ты чего молчишь? — говорит.

Достаточно ли я рисовал на асфальте? Стану ли я истинным художником? Вот о чем думал я.

— Ты что, заснул? — спросил он.

— А ты много рисовал на асфальте? — спросил я.

— Как помню себя, — сказал он.

— Я когда-нибудь нарисую громадную картину, — сказал я, — до потолка... у меня была рама... громадная рама... мама ее в печке сожгла. Жалко мне эту раму...

— Если быть художником, — сказал он, — только великим. Мне один художник сказал, что не великим художником быть не стоит.

— Бей пять, — сказал я.

— Потом, — сказал он.

— Конечно, — сказал я.

— Звонка что-то нет, — сказал он. — Долго мы здесь сидим. Мне по чувству кажется — звонок должен быть.

— Наверное, еще рано... — сказал я.

— Пойди-ка ты на разведку, — сказал он.

— На какую разведку? — спросил я.

— Был звонок или нет, — сказал он.

— А ты? — спросил я.

— А я посижу.

— Хитрый ты.

— А ты трус.

— Я не трус, — сказал я.

Я вышел из кабинки. Просунул голову в коридор и увидел директора. Он поманил меня пальцем.

— Разве еще звонка не было? — спросил я растерянно.

— Иди, иди сюда, — сказал он.

На другой день мою маму вызвали в школу.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Петр Петрович ходит по классу.

Он очень худой и высокий. В солдатской гимнастерке, в сапогах. Гвардейский значок на груди. Два ордена Красной Звезды.

Петр Петрович проверяет, все ли принесли краски.

Краски принесли не все.

— Я никогда не понимал таких людей,— говорит он,— которые не любят краски... Тинторетто! Тициан! Делакруа! Они все любили краски. Запомните их имена! А Суриков! Посмотрите «Боярыню Морозову»! Посмотрите эту картину — и вы будете приносить в класс краски...

Петр Петрович вынимает из портфеля глиняный горшок и сиреневую тряпку. Кладет эти предметы на стол. Один конец тряпки он засовывает в горлышко кувшина, а другой свисает на стол.

— Все набрали в баночки воду? — спрашивает он.

Воду в баночки почти никто не набрал. Полкласса идет за водой.

— Неужели нельзя было подготовиться? — Петр Петрович садится за стол и так сидит, обхватив голову руками.

Один за другим входят с баночками, стаканами, чашечками ученики.

В классе шум, разговоры.

Петр Петрович все так же сидит, обхватив голову руками.

— Значит, все приготовились? — Он встает, ходит по классу. Кладет на парты листки рисовальной бумаги.

Урок рисования начался.

Со всех сторон кричат:

— Петр Петрович, посмотрите у меня!

— Петр Петрович, посмотрите у меня!

— Петр Петрович!!!

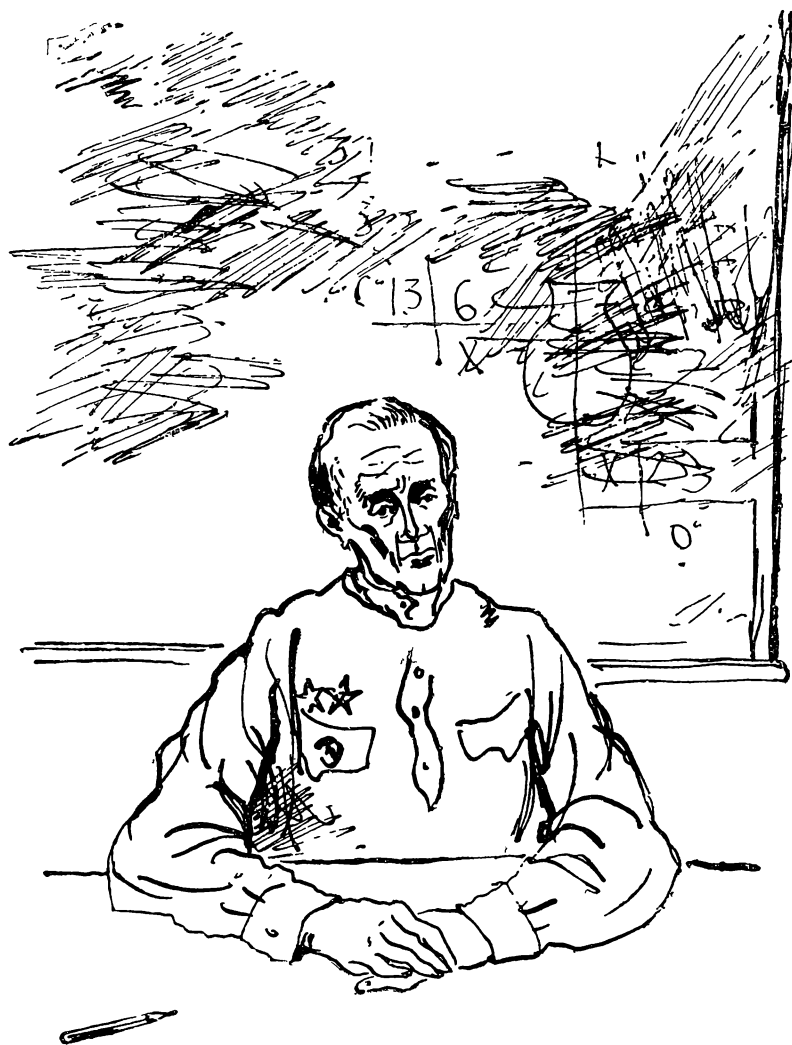
Он смотрит у всех.

— Начало хорошее,— говорит он.— Начало хорошее...

Класс стихает. Почти все довольны. Начало почти у всех хорошее.

Петр Петрович сидит за столом, подперев рукой щеку, и рассказывает:

— Когда я был еще студентом, на одной выставке висела моя большая картина... Так вот ты, Кафаров, спрашиваешь, почему я не знаменитый художник? Гм... как бы тебе сказать... Я, конечно, не знаменитый художник, ты правильно это заметил... совершенно справедливо это подчеркнул... Я.. мне война



помешала... большая семья... ну, как бы это тебе сказать, дорогой мой... Та картина, о которой я только что говорил, была достойна висеть в ряду уважаемых художников... Я к тому это все говорю, что... по существу, ты, Кафаров, задал мне довольно сложный вопрос, на который я тебе ответить, пожалуй, и не смогу... учитывая всю сложность жизни человека...

В классе тихо. Хотя часто бывает шумно. Почти никто не рисует. Все слушают. Тася Лебедева раскрыла рот и глядит на Петра Петровича. Залетит ей муха в рот, не будет так рот раскрывать...

— А где сейчас та картина? — спрашивает Кафаров.

— Сейчас я даже не знаю... Дальнейшая судьба этой картины мне неизвестна. Ее ведь у меня купили... Висела она в большом зале...

— Я видел! — кричит Кафаров.

— Ты не мог ее видеть, потому что это было в Ленинграде. Я как сейчас ее помню: висит в большом зале... прекрасно освещенная... толпы народа... разговоры... даже споры... Я как раз тогда на пятом курсе в Академии художеств учился... несколько злоупотреблял красочной стороной в ущерб рисунку... И зачем я это все вам рассказываю, и сам не знаю... Так вот... вспомнил, как говорится...

— А еще вы рисовали? — спрашивает Кафаров.

— Картины не рисуют, а пишут красками. Рисуют карандашами, углем, пастелью. Я вам это уже говорил.

— Всего одну картину написали? — спрашивает Кафаров.

— Когда ты подрастешь, ты не будешь так думать, как сейчас... Я прекрасно понимаю, о чем ты хочешь сказать... Я вовсе не для того вам это рассказываю... Кстати, я сейчас урывками пишу картину, которая у меня нехудо получается... Да будет вам известно, что Александр Ив́анов двадцать пять лет писал одну картину...

Кафаров больше ничего не спрашивает.

Никто больше ничего не спрашивает.

Зазвенели кисточки о баночки, стаканы, чашечки. Все снова рисуют. Даже Кафаров, который ненавидит рисовать, даже он язык высунул, до того старается. Все рисуют горшок и тряпку. Все словно хотят стать великими.

Никогда я не думал, что этот горшок и тряпку так трудно рисовать!

Во-первых, один бок у горшка получается кривой. Во-вторых, он не получается круглый. А в-третьих, все не так получается.

Я спешу исправить рисунок. Пока Петр Петрович не видит. Хотя бы этот кривой бок подправить, пока он не увидел. «Вот тебе,— скажет,— и лучший рисовальщик! Вот тебе и способный!» Один раз я сломал себе руку, так Петр Петрович сказал: «Как же так, у тебя золотые руки, а ты их ломаешь!» Я тогда очень гордился этим, что вот, мол, золотая рука, а я, несмотря на это, взял да и сломал ее!

Я спешу, а выходит хуже. Теперь и второй бок кривой.

Смотрю Алькин рисунок. Тоже неважно получается. Кривой горшок получается.

Проклятый горшок!

Трудно все-таки стать великим, если этот горшок даже нарисовать не можем...

Звонит звонок.

— Одну минуточку! — Петр Петрович поднял кверху руку.— Совсем забыл. «Пионерская правда», ребята, объявила конкурс на лучший рисунок, и если кто из вас постарается...

Алька говорит:

— Вот здорово-то! Наверное, я заберу премию. Я с самого детства рисую!

Вокруг загалдели:

— А какая будет премия?

— А сколько времени нужно рисовать?

— А чем рисовать?

— А на чем рисовать?

— А что рисовать?

Петр Петрович опустил руку.

— Рисовать можно все,— сказал он.— Срисовывать нельзя.

— А я срисую, и никто не узнает,— сказал Кафаров.

— Ты-то сам будешь знать? — спросил Петр Петрович.

— Буду.

— А ты говоришь, НИКТО не будет знать!

Все засмеялись.

— Микеланджело! — сказал Петр Петрович. — Франсиско Гойя! Запомните их имена! — Он положил в портфель горшок и тряпку.

— До свидания! — сказал он.

КАФАРОВ

— Давай, Кафар!!!

— Бей, Кафар!!!

— Сюда, Кафар!!!

— Туда, Кафар!!!

— Так, Кафар!!!

— Есть, Кафар!!!

— Го-о-о-ол!!!

— Ка-фа-а-ар!!!

Я весь в пыли. В разорванной рубаше. Я вратарь.

Кафаров уже совсем близко. Он мчится с мячом на меня.

Удар!

Я лечу в пыль. Поздно. Гол!

Если в вашей команде Кафаров, вы никогда не проиграете.

Если он против вас, вы обязательно проиграете.

Никто во всей школе, на всей нашей улице не играет лучше Кафарова.

Игра продолжается.

— Лови! — смеется Кафаров.

Я прыгаю мимо мяча.

— Чучело! — орут мне.

А я-то при чем? Посмотрите, как наши играют! Все время мяч у Кафарова. Опять мчится он на меня.

— Хватай! — кричит он.

Гол!!!

— Эй, ворона! — кричат мне.

Игра продолжается.

Гол! Еще гол! Еще!

Вся наша команда бежит за Кафаровым. Все время мяч у

него. Кафаров опять прорвался. За ним мчится наша команда.
Ну и команда!

Я выхожу из ворот.

Мяч влетает в пустые ворота.

— Привет! — ору я. — С меня хватит!

— Что такое? — кричит капитан. — Встань на место!

— Сам встань и стой! — кричу я.

— Не имеешь права! — орет кто-то.

— Тебе доверили! — орет наш капитан.

— Вам тоже доверили! — кричу я. — Играть не умеете!

— Не твое дело! — кричат мне.

— Вот еще! А чье же тогда это дело? Мне голы забивают —
и не мое дело?

— Брать надо! — кричат мне.

— Играть надо! — кричу я.

Свистят и кричат.

Скандал на поле.

— Двенадцать ноль! — орет кто-то. — Двенадцать ноль!!!

— Это тебе не рисуночки рисовать, — говорит мне Кафаров.

— Подумаешь! — говорю я.

— Рисуночки разные там, шалай-валяй, дурачка валять, а
здесь дело серьезное!

— Думай, что говоришь! — кричу я.

— Здесь работа! — орет Кафаров. — Бить надо! Брать надо!

А твоя работа — это не работа! — Он сует мне в нос мяч. — На,
забей! Ну? Я встану! А ты забей!

— Давай! — Я хватаю мяч.

Кафаров идет в ворота.

Я считаю шаги. Кладу мяч.

Кафаров приготовился.

Удар!

Мяч летит в кусты.

Больше всех смеется Кафаров.

ВОЗЛЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ

Я бежал по коридору во весь дух. И зачем я бежал, сам не знаю. У меня иногда бывает такое желание — взять и побегать. Побегу, думаю, до той двери, пока та девчонка до нее не дойдет.

Бегу я, значит, и со всего размаху налетаю на завуча. Я чуть его с ног не сбил.

Он зашатался и говорит:

— А если бы это был малыш? Первоклассник? Ты бы, наверное, его убил на месте? Ты что, конь, что ли? Иди сию минуту и жди меня возле учительской!

Я пошел, встал возле учительской.

И тут я слышу голос Петра Петровича. Он кому-то в учительской рассказывает:

— Мечты у меня были в то время радужные... Великие идеи так и кружились в моей голове...

Трамвай по улице проехал, и я не слышал, что он дальше говорил. Потом слышу:

— ...окончил я Художественное училище... в Академию художеств собрался...

Я подошел поближе.

— ...задержался... стал портреты писать сухой кистью... В то время они громадный спрос имели. Любому учреждению тогда требовались...

Радио в коридоре включили на полную мощность:

**„...ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СОВЕТА ОТРЯДОВ СОБРАТЬСЯ
В ПИОНЕРСКОЙ КОМНАТЕ К ПЯТИ ЧАСАМ...“**

Радио умолкло. Петр Петрович рассказывал:

— ...знаете, сухой кистью делать очень легко. Разбивается полотно на клеточки одинаковой величины... фотография данного портрета соответственно разбивается на клеточки... рисуеться по этим клеточкам контур портрета... с фотографии... Дело идет очень быстро... легко... результат получается налицо... По этим контурам сухой кистью... так сказать, растираешь... ерундовая работа... никакого таланта не нужно... только немножечко умения... ни уму, ни сердцу, как говорится.

Тут опять трамвай проехал.

— ...я все думал: ведь Брюллов, Суриков, Репин учились в этой академии... мечтал... робел... зарабатывал... портреты сухой кистью все время писал...

В это время подходит ко мне Кафаров.

— Ты чего,— говорит,— тут стоишь?

— А тебе что? — говорю.

Тогда он к моему уху нагнулся и говорит:

— Ты замечал, какая Тася Лебедева красивая?

Я на него уставился и заморгал. Никогда я об этом не думал.

— Эх, ты,— говорит Кафаров. И ушел.

Петр Петрович рассказывает:

— ...в дороге у меня чемодан стащили...

В это время звонок зазвенел.

Слышу дальше:

— ...настроение... положение... состояние... Ленинград... Я... Академия художеств... провалился... волновался... женился...

Все время этот трамвай скрежетал. Скрежещет на повороте. Даже стекла тряслись. Петр Петрович стал совсем тихо говорить.

— ...так же как и я... Суриков... в свое время... сын родился... второй раз провалился... учился... в конце концов... недоучился... Война... дожди... болота... ранен... сами понимаете... второй раз ранен... Волга... Днепр... ничего не поделаешь... Одер... Варшава... Кенигсберг... Берлин... шесть, семь, восемь... Баку...

— ...Вы знаете, что мне врач недавно сказал? «Вы, говорит, никогда не умрете». Я, разумеется, посмотрел на него и говорю: «Знаете что, не надо мне сказочек рассказывать, они на меня мало действуют». Тогда он говорит: «Вы меня не поняли». — «Я вас, говорю, отлично понял, только это лишнее». — «Нет, говорит, вы меня не поняли. Если бы у вас даже один сын был, вы бы уже ни черта не умерли, а раз их у вас целых пятеро, то тут, знаете ли, о смерти говорить прямо-таки смешно...» Вот так он мне и сказал...

Петр Петрович засмеялся.

— Вы и есть великий человек, Петр Петрович,— сказал кто-то.

Трамвай заскрежетал.

Подходит ко мне завуч.

— Иди,— говорит,— в класс. И больше так не бегай.

ТАСЯ ЛЕБЕДЕВА

После того как Кафаров мне про Тасю Лебедеву сказал, я о ней думать стал. Да еще Мария Николаевна про нее сказала: «Вы замечали, почему Лебедева сидит в классе во время перемен? Потому что она серьезная девочка и беготня по коридорам ей претит».

Слово «претит» очень понравилось мне. «Тася», «претит», «торт», «петит» (что такое петит, я не знал) были самые прекрасные волшебные слова. В том, что Тася самая необыкновенная, я уже не сомневался.

Я стал смотреть на нее. Смотреть все время. Беспрерывно. Когда любят, решил я, наверное, все время смотрят. На уроках я не мог на нее все время смотреть, она сидела сзади меня, и я принес в класс зеркальце и смотрел на нее в это зеркальце. Потом у меня это зеркальце отобрали.

Больше всего восхищало меня, конечно, то, что все выходят в коридор, всем это не претит, а она одна, можно сказать, во всем классе, а может быть, и во всей школе, которой ПРЕТИТ.

— Ей все, все, все претит...— тихо пел я перед сном.

Мотив был из старинного романса. Я услышал его от мамы.

— Ей все, все, все претит...— тихо пел я на перемене.

— Чего ты бормочешь? — спросил Кафаров.

— Не твое дело,— сказал я.

— Отстаньте от меня,— говорил я всем, хотя никто ко мне не приставал. Любовь, думал я, это такое дело, что никто не должен к тебе приставать.

Я решил подарить ей рисунок. Я подарю ей свой самый лучший рисунок, который висит у меня над кроватью. И пусть она повесит его над своей кроватью.

Была перемена.

В классе были я и Тася.

Она читала.

— Тася,— сказал я тихо.

Положил ей рисунок на парту. И вышел.

Всю перемену я думал о том, поняла ли она, что этот рисунок я ей дарю на всю жизнь, навеки. Лучше этого рисунка у меня никогда не было. Нужно было сказать ей об этом. А вдруг она не поняла, зачем я положил ей на парту рисунок? Подумает, я просто так,— взял да и положил. Подумает, что этот рисунок мне совсем не нужен. Подумает, у меня таких рисунков, может быть, целая куча...

Звонок прозвенел.

Вхожу в класс.

Рисунка на парте не было!

— Ей все, все, все претит...— пел я по дороге домой.

Тася шла сзади.

Я замедлил шаги.

Когда Тася была почти рядом, я в каком-то непонятном восторге, сам не понимая, как это вышло, повернулся и... дал ей подножку.

Я просто хотел, чтобы она думала, что я всегда на нее внимание обращаю... Чтобы она думала, что я ее замечаю. Не знал я, что так все получится!

Она поднялась и плачет.

— Дурак! — говорит.— Дурак!

Я стоял и моргал.

В это время Ыгышка подошел. Если бы вы этого Ыгышку знали, вы бы никогда не захотели, чтобы он к вам подходил. Третий год в одном классе сидел. Потом его исключили. Здоровенный он был. Еще бы! Так вот, он подходит ко мне и говорит:

— Чего ты стоишь, дубина! Успокой невесту!

— Какая она мне,—говорю,—невеста? Ты думаешь, что говоришь? И какое ты имеешь право меня дубиной обзывать?

А он засмеялся вот так:

— Ыгыгыгы...

И говорит:

— Кавалер! Невеста плачет, а он рот разинул! Успокой невесту, кавалер!

И не уходит, главное. Стоит и смеется.

— Кто тебе сказал, что я кавалер?

Так я расстроился! Вот пристал!

А он говорит:

— А кто же ты? Дубина?

Хотел я на него с кулаками броситься, до того он меня разозлил. А потом раздумал. Кулаки у него здоровенные. Если он своим кулаком меня стукнет, я просто не знаю, что мне делать тогда!

— Отстань,— говорю.

Он засмеялся и пошел. Идет и смеется. И откуда он тут взялся!

А Тася вынимает из кармана мой рисунок. Дает мне и уходит.

Я ее догоняю.

Она повернулась и в другую сторону пошла.

А я за ней.

И все ей объясняю, что это у меня нечаянно получилось.

Вдруг вижу — этот Ыгышка навстречу нам идет.

Подходит он к нам и говорит:

— Спички есть?

Я зубы стиснул и смотрю на него. Неужели он не понимает, что у меня спичек быть не может. Нарочно ведь пристал!

Смотрю на него и не моргаю.

А он прищурился и говорит:

— Ишь ты, рожу надул! Нету спичек — скажи нету. И не паясничай. Ыгы? — Это его любимое выражение.— А то и пошнее получить недолго.

Повернулся и пошел.

А Тася в другую сторону пошла.

А я со своим рисунком остался.

Потом как стал его рвать! На мелкие кусочки изорвал и вслед Тасе бросил.

КУБИК И КВАДРАТ

Увидев нас, Петр Петрович закричал:

— Кто к нам пришел!

— Мы просто так пришли, — сказал Алька.

— Ну и замечательно! — сказал он. — Вот и замечательно!

Я слышал шум из комнаты. Там как будто что-то двигали, катали по полу шарик, словно скоблили чем-то по стеклу, и пели.

Мы вошли в комнату.

Один из младших сыновей Петра Петровича сидел на полу. В руках он держал молоток. Он вбивал в пол гвозди. Несколько гвоздей лежало рядом с ним.

— Смотрите! — крикнул я. — Смотрите, что он делает!

— Безобразие! — сказал Петр Петрович. — Какое безобразие! Не успел я пойти открыть вам дверь... — Он выхватил молоток у сына. — Где ты взял его?

Сын проворно встал с пола. Успел зажать гвозди в кулак.

Петр Петрович положил молоток на стол.

— Мать ушла, — сказал он, — а они разошлись...

На столе молотка уже не было. Теперь стук раздавался из кухни.

— Одну минуточку, — сказал Петр Петрович. Он быстро пошел в кухню.

Из-под дивана выкатились двое других сыновей Петра Петровича.

Из другой комнаты вышел четвертый сын. Он был постарше этих. Но младше меня. Он молча смотрел на нас. Он хотел что-то спросить. Я это чувствовал. Но он ничего не спрашивал. И я смотрел на него и тоже ничего не спрашивал.

Вдруг он сказал:

— Я рассказ написал.

Мы с Алькой переглянулись.

— Рассказ? — спросил я.

— Ага, — сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего, — сказал он.

Он опять стал молча смотреть на меня.

— Хочешь прочесть? — вдруг спросил он.

— Давай, — сказал я.

Он протянул мне листок.

— Вслух читай, — сказал он.

Я стал читать вслух. Этот рассказ был написан большими буквами:

РАССКАЗ В ПРОЗЕ А. П. ВОЛОШИНА
НАЗВАНИЕ «ОБИДНО»

МЫ ШЛИ ПО МОКРОМУ ПЕСКУ И ПЕЛИ:

«МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЕМ
ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВОТ УЖЕ МОРЕ ВИДНО, СИНЕЕ, БОЛЬШОЕ, С КОРАБЛИКОМ.
И МЫ ЕЩЕ ГРОМЧЕ ЗАПЕЛИ:

«МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЕМ
ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВДРУГ РАЗДАЛСЯ ГРОМ И ВНЕЗАПНО ПОЛИЛ
С ШУМОМ ДОЖДЬ.

— СТОП! — КРИКНУЛ ВОЖАТЫЙ. — НА МОРЕ МЫ НЕ ПОЙДЕМ!
НАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО.

Я кончил читать.

— Я еще напишу, — сказал сын Петра Петровича. Он свернул листок вчетверо. Сунул за пазуху. Вдохнул и сказал: — Если ты хочешь знать, я громадную книгу могу написать. Только мне мешают. Слишком много шума. Скоро мы на новую квартиру переезжаем. Вот там я напишу.

В комнату вошел Петр Петрович. Он вел младшего за ухо. В другой руке Петр Петрович держал молоток. Малыш всхлипывал.

— Вы меня простите, ради бога, — говорил нам Петр Петрович, кладя на стол молоток.

— Вот этот стул я сломал, — объявил малыш.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю... — сказал он задумчиво.

— Отойди отсюда, — сказал ему Петр Петрович.

Он отошел к столу. Взял молоток. И пошел на кухню.

— Ангелины Петровны нет, — сказал Петр Петрович, — поэтому такой беспорядок...

— Ничего, — сказал я.



— Ваш сын прочел нам рассказ,— сказал Алька.

— Он был в пионерском лагере,— сказал Петр Петрович.— Приехал оттуда с большими впечатлениями, все время вспоминает лагерную жизнь и пишет рассказы на эту тему, я ему в этом не противлю, пусть занимается чем хочет. Он не читал вам рассказ про самолеты?..

— Про самолеты не читал,— сказал я.

Из кухни раздавался стук.

— Черт возьми! — сказал Петр Петрович. Он быстро ушел туда.

Только сейчас я заметил самого старшего. Он сидел за маленьким столиком.

Я подошел к нему.

Старший сын Петра Петровича рисовал какой-то странный предмет. Он даже не обернулся. Только закрыл рукой лист.

— Не мешайте, пожалуйста,— сказал он.

Вошла Ангелина Петровна. Я сразу понял это. Мы с Алькой с ней поздоровались. Она поздоровалась с нами.

Появился Петр Петрович. В руках он держал молоток.

— Вы не стесняйтесь,— сказал он нам,— вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот выпьем чайку, а потом я кое-что покажу вам, как истинным ценителям искусства. Садитесь за стол, не обращайтесь внимания на весь этот шум...

Петр Петрович положил на стол молоток.

Я все смотрел по сторонам. На стенах было много репродукций. Тут были люди в шлемах, и таинственные туманные пейзажи, и какие-то красавицы, и были кони, и лодка, мчавшаяся по волнам с людьми. А под самым потолком висела незаконченная; наверное, та самая картина, о которой нам говорил Петр Петрович...

Все сели за стол.

Только старший сын сидел за своим маленьким столиком. Он все рисовал.

— Вот этот,— вдруг сказал Петр Петрович, показывая на старшего сына,— учится в художественном училище. Рисует специально, умышленно какую-то безграмотную чепуху и уверяет, что это и есть самое прекрасное на свете искусство. Уверяет, что это какое-то движение вперед, что-то неизмеримо кос-

мическое, что-то недосыгаемое, какой-то, в общем, модерн... я вам сейчас покажу!

Петр Петрович встал, ушел в другую комнату.

Младший сын Петра Петровича дергал меня за штанину.

— Нигаё, нигаё, нигаё... — повторял он.

— Что он говорит? — спросил я.

— Он пьет чай, — сказала Ангелина Петровна, улыбаясь, — и рад сообщить всем, что чай не горячий.

— Ялад, ялад, ялад, — сказал младший.

— Он сообщает всем, что он рад по этому поводу, — сообщила Ангелина Петровна.

— Ну так вот, — сказал Петр Петрович, неся в руках маленький холстик. Он поставил его на стул. — Вот до чего можно докатиться! Разумеется, его этому не учат.

— Что это такое? — спросил я.

— Это мой портрет! — сказал Петр Петрович. — Творение рук вот этого молодого человека! — Петр Петрович показал на старшего. — И он уверяет меня, что это я! Вот этот кубик и этот красный квадрат — это я! До чего можно дойти, до чего доработаться, что своего родного отца представлять в таком виде! А я ведь ему позировал. Сидел. Он ведь меня с натуры рисовал. «Не двигайся, говорит, папа, а то не получится!» Смотрел на меня, рисовал — и нарисовал вот этот кубик и квадрат! Ведь это полное пренебрежение к человеку, не говоря уже об отце! Он, выходит, на меня не смотрел, когда рисовал. Его голова была забита какими-то ничтожными мыслями — всех на свете удивить, показать всем и всякому, какой он оригинал!

Старший сын Петра Петровича все так же не поворачивался. Он сидел все так же спиной.

— Успокойся, пожалуйста, — сказала Ангелина Петровна.

Петр Петрович махнул рукой.

— Атёчик! Атёчик! Атёчик! — кричал младший сын Петра Петровича.

— Это он так отца зовет, — сказала Ангелина Петровна.

Внимательно смотрел на молоток другой сын Петра Петровича. Я смотрел на портрет. Я не мог понять, почему старший сын Петра Петровича так нарисовал своего отца. Я хотел, чтобы он повернулся, чтобы можно было посмотреть на него.

Он вдруг повернулся.

Он был похож на Петра Петровича. Как будто это Петр Петрович совсем молодой. Только волосы у него были длинющие. Он сказал:

— Вот это поколение поймет меня! — Он показал на нас.

— Это бред! — сказал Петр Петрович.

— Это гениально! — сказал сын Петра Петровича.

— Это глупость, — сказал Петр Петрович. — С каким уважением малые голландцы оттачивали селедочные головы, и с каким пренебрежением ты относишься к своему отцу...

— Это логически построенное композиционное решение, — сказал сын Петра Петровича. — Я должен иметь свое «я»!

— Кошмар! — сказал Петр Петрович. Он схватился руками за голову. — Иметь, но не совать всем в нос!

— Бузылюки! — сказал младший сын Петра Петровича.

— А Пикассо? — спросил старший сын Петра Петровича.

— Аколоко! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Принеси ему из кухни молоко, — сказала Ангелина Петровна одному из сыновей.

— Вечный спор, — сказал Петр Петрович. Он не хотел разговаривать.

— Кто такой Пикассо? — спросил я.

— Один художник, — сказал Алька. — Мне о нем рассказывал один художник.

— Но я могу экспериментировать? — спросил сын Петра Петровича.

— Можешь, — сказал Петр Петрович. — Можешь. Только я тебе позировать не буду. И они тоже, — он показал на нас, — они тоже тебе позировать не будут.

— Не будем! — заорали мы с Алькой.

Старший сын Петра Петровича зло на нас посмотрел.

— Вы еще запоете! — сказал он.

— Ты сам запоешь, — сказали мы. (Здорово смело мы ему сказали!)

Он показал нам кулак. Мы сделали вид, что не видим.

— Хочу мильдиди! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Это он купаться хочет, — сказала Ангелина Петровна.

— Ди-ко-ко! — сказал младший сын.

— Это слово мне не знакомо,— сказала Ангелина Петровна. Пронеслись по комнате два других сына Петра Петровича. Исчез со стола молоток.

Я смотрел на картину Петра Петровича, подвешенную к потолку. Она висела как-то боком, криво, и я, наклонив голову, рассматривал на ней людей, переплывающих реку, и танки.

— Пойдемте-ка со мной,— сказал Петр Петрович, вставая,— я хочу вам кое-что показать.

Мы прошли с ним в другую комнату.

Из кухни раздавался стук. Один из сыновей Петра Петровича продолжал вбивать куда-то гвозди...

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА

— Я вам сейчас покажу великих мастеров,— сказал Петр Петрович.

Он взял с полки альбом.

— Попал я с фронта в Ленинград. Нева во льду. Метель метет. Блокада. Иду я по Неве к Академии художеств. Захожу в вестибюль. Печурка. Сидят люди, греются. Худые, бледные лица. Сидят греются и молчат. Я говорю: «Хочется мне повидать своего учителя Осьмеркина. Я у него до войны учился. Как бы мне повидать его?» Мне говорят: «Повидать его можно, только он недавно в Эрмитаж ушел».— «Бросьте, говорю, тут шутки шутить, какой тут может быть Эрмитаж! Кругом один голод и холод». Мне спокойно говорят: «Он очень любит великих мастеров смотреть. Вы его еще догоните. Он медленно ходит». Догоняю его. Еле-еле с палочкой идет он по широкой набережной. Снег вокруг метет что есть силы. И шарф его, помню, по ветру трепещет.. Вгляделся он в меня и говорит: «Петечка, ты? Очень рад, что я тебя встретил. Мы сейчас с тобой великих мастеров пойдем посмотреть...»

Петр Петрович ходил из угла в угол.

Мы рассматривали альбом с великими мастерами.

Петр Петрович говорил:

— Рембрандт! Запомните это имя! Эти руки старухи... целая

жизнь человека в этих руках!.. такие руки мог написать только Рембрандт!.. Его автопортрет... Старик Рембрандт улыбается... прищурившись, смотрит на нас... Рембрандт стар. Но он помнит те времена: толпится зная Амстердама в его мастерской, гогочут и возмущаются: не нравится им, как Рембрандт их изобразил. «Посмотрите на свои свиные рожи,— говорит им Рембрандт,— и вы увидите, что я прав!» Рембрандт видел их такими, какие они на самом деле. Скандал! Тычут в картину палками... Он не стал свою картину исправлять, не стал... Вот почему старик Рембрандт улыбается. «Хе-хе! — говорит он.— Не удалось вам меня провести...»

...Делакруа! Чистый цвет! Романтика!.. «Охота на льва!» «Дерущиеся лошади!» «Марокканская фантазия!» — несутся всадники на фоне гор... лодка в бушующем море... У этого человека было солнце в голове и буря в сердце! Запомните это имя!

Рафаэль!.. Гениально!.. Линии поют... благородство, человечность, красота... Великие мастера! Великое искусство! Запомните их имена!.. Я понимаю, все это слова... Тут просто словами не объяснишь... Кстати, сравните «Мадонну Сикстинскую» вот с этой, другого художника... и все не то! Не то все! Не то! В том-то и дело... Хотя и тут все правильно... все нарисовано... Такие сравнения полезны... они вносят ясность. Ведь все относительно, а Рафаэль — вершина! К вершине и нужно стремиться!..

...Запомните это имя! Тинторетто! Удивительно! Потрясающе!.. Когда Суриков был в Венеции, он там увидел холсты Тинторетто. «Я слышу свист мантий!» — воскликнул Суриков. Высочайшее мастерство... Все в холсте словно движется... Все как будто просто... Кажется, вот возьмешь кисть — и сам напишешь точно так же... до того все кажется просто! Не видишь труда... не думаешь о том, как это трудно... Написано сердцем, вот в чем дело! И начинаешь верить, глядя на Тинторетто, что когда-нибудь сам возьмешь и напишешь вот так, как захочешь... Гений не подавляет. Не бьет по башке, как это думают некоторые... Он вливает в тебя бодрость духа... Это удивительно!

...Рублев! Запомните это имя!!!

Петр Петрович говорил откуда-то из угла комнаты. Будто он говорил сам себе. Некоторые слова он выкрикивал, а некоторые говорил тихо. Картины были замечательные, это верно.

Но я не видел, чтобы пели линии. Не видел, чтобы в холсте у Тинторетто что-нибудь двигалось. Не мог я понять, почему один Рембрандт мог написать такие руки! Алька тоже не видел этого. Хотя он повторял: «Да, да!» — словно он понимал все. А между тем, думал я, наверное, все это есть там, в этих картинах. И линии там, наверное, поют, и люди у Тинторетто движутся, и мантии свистят у Тинторетто... Все это, наверное, есть там, раз Петр Петрович видит это. А я не вижу...

— ...При жизни он не был известным... вот что любопытно... Очень любопытно... древнерусские даже фамилий своих не подписали на своих работах... Какое имеет значение, в конце концов, кем эта работа сделана?.. Важно, что она сделана!..

— ...Александр Иванов! Запомните это имя!..

— Не этот кубик и квадрат!..

Петр Петрович похлопал меня по плечу:

— Нужно соображать!

Он опять похлопал меня по плечу.

— Понятно? — спросил он.

— Понятно, — сказал я.

Я сказал это так тихо, что он, наверное, не слышал.

Когда мы с Алькой уходили, я вдруг вспомнил, что хотел спросить, что это за малые голландцы, которые оттачивали селедочные головы...

Хотел спросить и не спросил.

СОН

Таинственно освещенный Рембрандт вышел из коричневого тумана. Перо на шляпе светилось в тени.

Я сел на кровати и спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы рисовали на асфальте?

Улыбнулся Рафаэль в пространстве...

Рембрандт улыбнулся Рафаэлю...

Вихрем на коне пронесся Эжен Делакруа...

Что-то зазвенело и затрещало. Из-за этого звона и треска никто не услышал меня. Старший сын Петра Петровича шел напролом через что-то твердое, которое гнулось и трещало. И это твердое было пространство. В одной руке старший сын Петра Петровича держал кубик, а в другой — красный квадрат. Он старался протиснуть квадрат в какое-то отверстие в пространстве...

Я спросил в третий раз то же самое.

Старший сын Петра Петровича втискивал свой квадрат, и треск стоял ужасный.

И опять меня не было слышно.

Издали донесся голос Петра Петровича:

— Запомните их имена!..

Засвистел ветер со страшной силой. Улетел старший сын Петра Петровича куда-то вдаль. В вихре кружились квадрат и кубик.

— Подписывать фамилии вовсе не обязательно! — сказал громкий голос Рублева.

Рембрандт проткнул квадрат шпагой.

Тинторетто, закутанный в плащ, сел на кубик.

— Мильдили! — смеялся младший сын Петра Петровича. Он смеялся тоненько, как колокольчик.

Проплыл в воздухе молоток.

— Я должен иметь свое «я»! — орал откуда-то сверху старший сын Петра Петровича.

— Скажите, кто из вас рисовал на асфальте? — спросил я.

И опять меня не было слышно. Старший сын Петра Петровича так орал про то, что он должен иметь свое «я». Только его было слышно.

Ворвался яркий свет. Как будто мама утром отдернула шторы.

Все стали уходить. Рафаэль — обнявшись с Рембрандтом, Делакруа — обнявшись с Тинторетто...

Откуда-то сверху грохнулся на квадрат старший сын Петра Петровича. Квадрат развалился вдребезги.

Смеялся младший сын Петра Петровича как колокольчик.

Больше не было треска. Была тишина. Только звенел колокольчик. Все тише и тише...

КОБАЛЬТ ФИОЛЕТОВЫЙ

Старший сын Петра Петровича стоял в коридоре. А я как раз вышел из класса. Он позвал меня:

— Послушай, ты не знаешь, где мой отец?

Я ему не хотел сначала отвечать, а потом говорю:

— Не знаю.

— В каком он классе сейчас, ты не знаешь?

— Не знаю,— говорю.

— Послушай,— говорит,— у тебя, кажется, целый склад рам. Это правда?

— А что?

— Значит, правда,— говорит.— Давай меняться. На масляные краски. Я тебе красок дам. А ты мне раму. Очень мне, до зарезу, вот так, рама нужна. Нужно мне портрет отца в раму вставить. В раме он совсем по-другому смотреться будет. Рама — это все равно что платье для человека... Да ну, ты все равно ничего не понимаешь, чего с тобой разговаривать...

Я хотел уйти, а он меня остановил.

— Да ладно,— говорит,— подожди ты. Будешь меняться или нет? Напишешь масляную картину. Что, плохо, что ли? Очень даже хорошо. Я, понимаешь, хочу у отца деньги попросить. Для этого-то, собственно говоря, я и пришел сюда. Раму, понимаешь, нужно мне купить. Да он может не дать мне денег. Да, может, у него и нету. Ты не знаешь, где мой отец?

Насчет красок я здорово задумался. Настоящая масляная картина... Великие мастера...

— А сколько ты мне красок дашь? — спрашиваю.

— Пойдем,— говорит,— посмотрим твои рамы.

— У меня,— говорю,— урок должен быть.

— Да плюнь ты,— говорит,— на урок, раз такое дело.

— Я так не могу, как же я так могу...

— Чего-нибудь скажешь; зуб, скажешь, болел или там печенка, селезенка, подумаешь!

— Как же я так, я так не могу...

— Никудышный ты человек,— говорит.— Масляные краски. Большие такие тюбики. Разные цвета. Синие, оранжевые, зеленые...

— А кисточки у тебя есть? — говорю.

— Найдется,— говорит.— Какая-нибудь облезлая кисточка найдется.

Ему, видно, очень рама была нужна. Он меня все-таки уговорил. Я еще никогда в жизни с уроков не уходил. А тут взял и ушел.

Мы с ним прямо к нам пошли.

Отца с матерью не было. Он по всей квартире ходил и орал:

— Шикарно живешь, кочерыжка! Шикарно!

— Почему шикарно? — спросил я.

— Площадь,— орал он,— площадь! Шикарная площади! И нет стариков!

Он стал рассматривать рамы.

Выбрал одну. Измерять стал. Подойдет ли она к его портрету.

— Так сколько тебе красок? — спросил он.

— Все цвета,— сказал я.

Он присвистнул.

— Много,— сказал он.

— Мне нужны все,— сказал я.— Или мне ничего не нужно.

— И кобальт фиолетовый? — спросил он.

— И кобальт фиолетовый.

— Не могу,— сказал он.— Все краски, кроме кобальта фиолетового.

Если бы он не сказал мне про этот кобальт, я бы не стал его требовать. Я и не слышал даже, что такая краска на свете есть. Но раз ему так жалко этот кобальт, значит, это самая красивая, самая замечательная краска... Он вздохнул.

— Ну ладно,— сказал он.— Половину кобальта фиолетового. Он опять вздохнул.

— И зачем тебе этот кобальт фиолетовый сдался, не пойму!

— А тебе он зачем сдался?

— Мне он, вот так, понимаешь, по горло нужен...

— И мне нужен,— сказал я.

— Ни черта он тебе не нужен,— сказал он.

Вст, думаю, хитрый человек! Ему, видите ли, нужен этот кобальт, а мне не нужен? Интересно, почему это он ему так понадобился? Неужели без такой краски обойтись нельзя? Наверное, нельзя, раз он так за эту краску цепляется.

— Вполне ты мог бы обойтись без этого кобальта фиолетового,— сказал он.

— Нет,— сказал я.— Не мог бы.

Он все рассматривал раму.

— Нету ли у тебя какой-нибудь маленькой палитры? — спросил я.— Может быть, у тебя есть какая-нибудь маленькая палитра?

— Ничего у меня нет,— сказал он.

— Где же мне взять палитру?

— Фанерку. Возьми фанерку. И все.

— А чем я буду краски разводить?

— Какое мне дело, чем ты будешь краски разводить?

— Как же мне их разводить?

— Керосином,— сказал он.— Из керосинки.

— И все? — спросил я.

— И все.

— А кисти?

— Что кисти?

— Где мне взять кисти?

— Какое мне дело! Какое мне до этого дело! — заорал он.

— Но где же мне взять их?

Он почему-то стал говорить мне на ухо:

— Клок волос. Своих собственных. Подровнять. Подстричь. Перевязать. Ниточкой. На палочку. И все! Понял? Секрет. Ясно? Что я буду иметь за это изобретение?

— Выходит, я тогда сколько угодно кистей могу сделать?

— Сколько угодно,— сказал он.— Собственный завод.

— И это все? — спросил я.

— Все.

— А холст?

— Что холст?

— Где мне взять холст?

Он захихикал:

— Какое мне дело! Боже мой, какое мне дело!

— Но где же мне взять его? — Я на него просто умоляюще посмотрел. Не знал я, где эти холсты берут. Он-то знал ведь. Он мог ведь сказать.

— Картонку,— сказал он.— Возьми картонку. Промажь ее клеем. Столярным. И все.

Мы взяли раму и пошли к ним. Я подождал внизу, а он мне вынес краски. Может, там были не все цвета, но кобальт фиолетовый там был. Это я сразу проверил. Я отвинтил крышечку тюбика и выдавил этого кобальта на палец. Вот это краска! Сиреневая-сиреневая! Жуть какая красивая. Теперь-то я понимаю, почему он мне эту краску давать не хотел.

„ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ“

Когда я стригся в парикмахерской, меня спросили:

— Это ты в том окне живешь?

Я удивился и сказал:

— Я.

— Что ты там все время крутишься и руками машешь?

— А разве видно? — спросил я.

— Еще бы!

— Я картину пишу,— сказал я.— Два дня я пишу картину. Но у меня пока не очень получается.

Я здорово, наверное, вертелся вокруг своей картонки. Махал кистью так, что вся стена стала в брызгах. Тряпкой крутил, как пропеллером. Разбегался и — бац! бац! — на холст краску! Прямо с разбегу мазки клал. Должна же быть у меня буря в сердце, как у того Делакруа! Он тоже, наверное, не стоял как дохлый возле своей картины. Он, наверное, так же, как и я, на месте не мог устоять.

— Как юла,— сказал парикмахер,— крутишься ты как юла.

— Сейчас кручусь? — спросил я.

— Да нет. В окне крутишься. Целый день крутишься. Чего это, думаю, там крутится? Что бы, думаю, это могло быть?..

— Картину пишу,— сказал я.

— Теперь-то я понял.

— «Летучего голландца»,— сказал я.

— Ну, ну.

— Трудная работа,— сказал я.

— Ну, ну.

Он стриг меня и улыбался. Может быть, он не верил, что я картину пишу.

— Ну, все,— сказал он.— Иди. Пиши свою картину.

Тут я его и спросил:

— Волосы вам нужно?

— Какие волосы? — удивился он.

— Мои,— говорю.

— Ничего не понимаю,— говорит.

— Вот эти, мои собственные, с моей головы...— и на пол пальцем показываю.

Он пожал плечами:

— Совершенно не нужно. Бери сколько твоей душе угодно, любые волосы с любой головы.

Я помчался домой. Это мама меня от картины оторвала. «Иди,— говорит,— стригись». Как будто я в другой раз постричься не мог.

Когда творческого работника от работы отвлекают — это самое страшное дело. Нам Петр Петрович рассказывал, как одного ужасно талантливого художника от работы отвлекали. Друзья его все время отвлекали от работы, и все! И он с ними отвлекался. Так потом он погиб. То есть сам он не погиб. Талант его погиб. Погубили друзья человека. Они его, представьте, водкой все время угощали. Вот ведь какие друзья были, а? Не дай бог мне таких друзей иметь в своей жизни...

...Море синее и зеленое. Никогда я не думал, что столько красок пойдет на это море. А посреди — корабль кобальтом фиолетовым. Весь кобальт фиолетовый всадил я в этот корабль! Это «Летучий голландец». Кто это мне рассказывал про «Летучего голландца»? Страшное там дело было... Куда-то исчезла команда. Один корабль остался. Вздуты его паруса на ветру. Кренятся мачты то вправо, то влево. Скрипят удивленные снасти. Болтаются веревочные лестницы. Мчитя по волнам «Летучий голландец»...

Я глянул в окно. Парикмахер смотрел на меня. Он сидел на скамеечке возле парикмахерской и смотрел вверх. Я помахал ему. А он мне. К нему подошел мальчишка. И он с ним ушел в парикмахерскую.

Никак у меня волны не получались — вот что плохо. Я слышал, что, когда не получается, всю краску соскоблить нужно. Снять краску ножом. Я так третий раз уже сделал. Всю краску снимал. И снова начинал.

И тут я увидел, что красок-то у меня больше нет. Кончились у меня все краски.

В это время отец подошел. Он все время ко мне подходил.

— Я думаю,— сказал он,— у художника должен быть какой-то метод...

— Какой метод? — спросил я.

— В любом деле,— сказал он,— должен быть метод.

— Мне нужны краски,— сказал я.— Мне еще нужны краски. Не купишь ли ты мне еще красок?

— А ты их намажешь на эту картонку,— сказал он,— снимешь ножом и выкинешь?

— Так все делают,— сказал я.— Все художники так делают! Если у них не получается, они эту краску снимают...

— У них-то есть метод! Не может быть, чтобы у них этого метода не было...

— Но где же мне взять его?

— Раз у тебя нет метода...

— Если бы у меня были краски,— сказал я,— я бы непременно написал это море... и «Летучего голландца»... у меня бы это все отлично получилось...

— У тебя нет метода,— сказал отец,— ничего бы у тебя не получилось.

Я глянул в окно. Этот парикмахер стриг того мальчишку. Не пойду я больше стричься в эту парикмахерскую. Пойду где-нибудь в другом месте постригусь. Спросит он у меня про мою картину, что я ему отвечу?

А утром придет ко мне Алька. Он сразу утром примчится. Он непременно примчится!

Он пишет автопортрет. Сидит сейчас перед зеркалом и пишет себя масляными красками. Он, наверное, думает, что он Рембрандт! Он, наверное, так же как Рембрандт, улыбается в это зеркало. И тень у него, наверное, такая же на лице. И беретку, наверное, на голову надел, как у Рембрандта...



ОЛИВ НИВС

Отец ходил с этим письмом по всем соседям.

— Кто может читать по-английски? — говорил он. — Кто может перевести? Как жаль, что я не умею читать по-английски.

— А что такое? — спрашивали соседи. — Что случилось?

— Моему сыну письмо из Англии! Как вы на это смотрите? Ему прислали письмо из Англии! Лично ему! Что вы на это скажете?

Соседи ничего не могли сказать. Они удивлялись.

Я получил письмо из Лондона.

Я ходил за отцом и никак не мог понять, с какой это стати присылают мне письма из Лондона.

Тетя Регина привела какого-то старичка.

— Вы читаете по-английски? — спрашивал его отец. — Вы хорошо читаете по-английски?

— Да, я читаю по-английски, — сказал он, надев очки.

— А вы можете перевести? — спросил отец.

— Да, — сказал он, — я могу перевести, как это ни странно.

— В этом нет ничего странного, — сказал мой отец.

Все пошли в нашу квартиру.

Старичок взял письмо и стал читать. Он немного прочел по-английски, а потом по-русски сказал:

— Значит, тут... вот... ага... так... ясно...

— Ничего не ясно! — сказал мой отец. Ему не терпелось скорее узнать, что там пишут мне из Лондона.

— Сейчас, — сказал старичок. — Ага...

— Ну, так что же там такое в конце концов! — закричал мой отец. — О чем это там? Что там написано?

— Дай ему прочесть, — сказала моя мама.

Старичок снял очки, посмотрел на моего отца и сказал:

— Совершенно верно. Дайте мне прочесть, — и снова надел очки.

— Да читайте вы... — сказал отец.

Старичок читал про себя. Потом он кончил читать и сказал:

— Это письмо пишет девушка... то есть девочка... она... герл, то есть девочка, живет, как я понимаю, в Лондоне. И, само собой разумеется, пишет вашему сыну письмо...

— Английская девушка? Моему сыну? Этого не может быть! — сказал отец.

На отца моего закричали, и он замолчал.

— Она пишет, что видела... одну минуточку... ага!.. Видела на вернисаже... ну да... на выставке, вероятно... совершенно правильно, на выставке какую-то картину... вероятно, вашего сына... Вот именно... Картину вашего сына!..

Я чуть с ума не сошел, когда это услышал. Это, наверное, не мне было написано, что ли? Откуда там могла быть моя картина? Ерунда какая-то...

— Ну так вот, я читаю дальше... Она... тут ясно сказано... восхищена этой замечательной картиной. И так как она сама рисует... и еще у нее есть два кролика... Билл-черный и Чарли-белый... Эти кролики...

— Какие кролики? — сказал мой отец. — Чуть какая-то...

— Вот именно, кролики, — сказал старичок.

— Читайте, читайте! — закричали все.

— ...она восхищена... нашими мужчинами... да, да... вот именно, которые сдерживали несметные орды... полчища, вернее... рвавшиеся на нашу землю...

— Это толково, — сказал отец, — очень даже толково! — Он посмотрел на мать.

— ...и еще она очень хотела бы... да... хотела бы увидеть русскую зиму... и русский снег... и... вот именно... автора этой замечательной картины...

— Увидеть снег, — сказал мой отец, — в Баку? Это невозможно!

На отца опять закричали.

— ...она хорошо учится... в колледже... шлет привет всем мальчикам и девочкам... Англия... Советский Союз... короче говоря, должны жить в мире... ее зовут Олив Нивс...

— Олив Нивс! — сказала моя мама. — Это очень красиво!

— Олив Нивс! — сказал мой отец. — Звучит!

— Олив Нивс! — сказал старичок. — Вот именно!

Потом все ушли очень удивленные и смотрели на меня, и старичок тоже снял очки, посмотрел на меня и сказал:

— Олив Нивс, милый мой, Олив Нивс!

Я, конечно, не понял, что он хотел мне этим сказать. Я вооб-

ще ничего не понял. Я опять стал здорово моргать. Так я, наверное, еще никогда не моргал, как в этот раз.

Когда все ушли, отец сказал мне:

— Подойди-ка сюда. И не ври. Будь честным человеком. Речь идет о капиталистической стране. Не увиливай. Выкладывай-ка все начистоту. Что это значит?

— Ничего не значит,— сказал я.— Откуда я знаю, что это значит?

— Не увиливай,— сказал он.— Выкладывай-ка все начистоту.

— Чего выкладывать? — сказал я.

— Все,— сказал он.

— Мне нечего выкладывать,— сказал я.

— Значит, не хочешь выкладывать? — сказал он.

— Оставь его в покое,— сказала мама.— Это его дело. Его разговоры с этой девушкой. Вечно ты в чужие разговоры влезаешь!

— Девушкой! — закричал отец.— Какой девушкой? Английской?

— Не все ли равно? — сказала мама.

— У меня никогда не было никаких знакомых английских девушек,— сказал отец.

— Очень напрасно,— сказала мама.

— Ах вот как! — сказал отец. Он размахивал этим письмом.— Капиталистических девушек у меня не было, это верно! И никаких писем из разных там Америк, Англий, Бразилий я не получал!

— Помолчи ты,— сказала мама.

— Ну хорошо,— сказал отец,— хорошо...— Он почти уснокоился.

— Вот и хорошо! — сказала мама.

Я потихоньку выскочил во двор.

Я сел на ступеньку и так сидел долго.

На другой день мне принесли письмо из «Пионерской правды»:

Дорогой друг! Сообщаем тебе, что твою акварель «Танки врываются в родной город», присланную на конкурс, мы отослали в Англию на выставку, посвященную англо-советской дружбе. Желаем тебе творческих успехов!

ВТОРОЙ „ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ“

В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень-то хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся. И я его на днище натянул.

Отец, после этого английского письма, мне краски купил. Целую коробку масляных красок.

— Хотя у тебя и нет метода,— сказал он,— но будем надеяться, что он появится...

— Писать картины лучше на площадке,— сказала мама.

Я вынес табурет на площадку.

Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой — кисти из собственных волос, я прошелся по нашей площадке.

— Витя, ты что, художник? — удивился дядя Садых.

— Не мешайте,— сказал я,— это дело серьезное...

— На нашей площадке самые серьезные люди живут,— сказал дядя Садых.— Я и Витя — самые серьезные...

Все расступились. Я подошел к холсту.

Я начал писать второго «Летучего голландца».

Уж на этот-то раз я напишу этого «Летучего голландца»!

Соседи говорили:

— Зачем краски-то столько накладываешь?

— Сколько стоит одна такая краска?

— Такую картину на базаре не продашь...

— Не толкайте его, не толкайте!..

— Отойдите от него, отойдите!..

— Не мешайте ему, не мешайте!

— Красиво-то, красиво получается!

— Где красиво получается?

— Кораблик получается!

— Где кораблик получается?

— Глядите! Глядите!

— Смотрите! Смотрите!

— Не брызгай на меня! (Это я им уже мешать стал!)

— Не махай так своей тряпкой!

— Отойдите,— сказал я,— я должен издали посмотреть.

Я отошел от картины.

И так и этак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку.

Соседи молчали.

Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку.

— А кто его знает, может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь, скажут, в этом доме, жил знаменитый художник Витя Стариков...

— Как же, прибьют, ждите...

— Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют,— сказал дядя Садых.

— Художник — это интересно...

— У меня был брат художник, потом он утонул...

— Художники — они здорово зарабатывают...

— У меня был дядя художник, он себе мотоцикл купил...

— Смотря какой художник...

— Вот только краски пахнут...

...У меня, по-моему, неплохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только, не было кобальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кобальт фиолетовый...

И соседи меня хвалили.

Я понес табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину.

— Взгляни на себя в зеркало,— сказала мама.

Я взглянул на себя.

Лицо мое было красным, синим и фиолетовым...

ПАЛИТРЫ НА СТЕНАХ

— Пройдитесь после уроков по всему городу,— говорил Петр Петрович,— и сотрите эти палитры!

Это мы с Алькой ходили по городу и желом рисовали на стенах палитры. А внутри палитры писали:

Витя!
Алик!
Рублев!
Иванов!
Тинторетто!
Делакруа!
Рафаэль!
Рембрандт!

Мы, конечно, знали, что писать на стенах не очень хорошо. Мы это все знали. Но как-то не думали.

— Если каждый будет,— говорил Петр Петрович,— писать на стенах свои имена... Я понимаю ваше желание увековечить себя, так сказать, закрепить свои имена... Несколько преждевременно... не совсем, я бы сказал, благородные порывы... Мне завуч говорит: «Это не ваши там стены разрисовали?» Я говорю: «Нет, это не наши». Я думаю, мы с вами сами в этом разберемся. Сотрите, пожалуйста, эти палитры...

Потом он сказал всему классу:

— Кругом столько этих палитр... Не так-то легко от них избавиться... Может, ты, Кафаров, поможешь?

Кафаров молчал. Видно было, что он совсем не хочет помогать.

Встала самая маленькая в нашем классе Кира Велимбахова и тоненьким голосом говорит:

— Я помогу.

— Не надо нам помогать,— говорю.

— Тогда сделаем так,— сказал Петр Петрович.— Каждый, идя в школу или из школы, наверняка встретится хотя бы с одной палитрой. Я вас прошу: сотрите ее. Вот и все. Я и сам это сделаю, когда буду проходить мимо.

— На нашей парадной нарисована такая палитра,— сказала Тася Лебедева.

— Вот, вот,— сказал Петр Петрович,— ты ее и сотри!

— Очень надо! — Тася Лебедева посмотрела на нас.— Они будут рисовать, а я буду стирать?

— Они поняли, свою ошибку,— сказал Петр Петрович,— они все поняли.

— Пусть сами стирают,— сказал Кафаров.

— Какие вы, ребята! — сказал Петр Петрович. — Почему я могу стирать, а вы не можете?

— На нашем парадном две палитры нарисовано было, — сказал Костя Шило, — а после их дворник стер.

— Создают дворникам работу! — сказал Петр Петрович.

— Пусть староста сотрет эти палитры, — сказал кто-то.

— Вот еще! — сказал староста.

— На нашем доме нет никакой палитры, — сказал Киршбаум.

— Ну ладно, — сказал Петр Петрович. — Хватит. Этот разговор у нас затягивается. Он приобретает нелепый оттенок. Кстати, — он обратился ко мне, — сколько приблизительно этих палитр вы нарисовали?

— Штук сто, — сказал я.

— Может, двести, — сказал Алька.

— Безобразия, — сказал Петр Петрович. — Форменное безобразие! Вы что же, выходит, не один день их рисовали?

— Не одиц, — сказал я.

— Каждый день, — сказал Алька.

— И давно вы начали эту кампанию?

— Не помню, — сказал я.

— Не помним, — сказал Алька.

— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Петр Петрович. — От вас я этого не ожидал...

— Мы сотрем, — сказал я.

— И я так думаю, — сказал Петр Петрович.

О палитрах больше не говорили.

— Великие мастера любили монументальное искусство! — говорил Петр Петрович. — Они любили размах. Размахнуться, как говорится... Росписи Рафаэля, Тьéполо, Рублева, Микеланджело, Тинторетто... Это громадные произведения... запомните их имена!.. Микеланджело! Запомните это имя! У него была кривая шея. Он всю жизнь расписывал потолки и стены, не говоря уже о скульптурах... Попробуйте задрать вот так голову... вот таким образом... и держать ее в таком положении. А он именно держал ее в таком положении!.. А лежать на спине часами? Лежать на лесах и смотреть в потолок? Это не шутки, я вам скажу! Запомните это имя!..



После уроков мы пошли стирать свои палитры.

Не так-то легко было стереть их. Не стирались они, вот в чем дело. И тряпку мы взяли из класса. И терли вовсю. Не стираются! Две палитры мы стерли. Кое-как стерли. Два часа терли. Во двор бегали. Тряпки мочили. Рисовать-то их гораздо легче было.

— Да ну их! — говорит Алька.

— Неудобно, — говорю.

— И зачем мы их только рисовали! — говорит Алька.

Какой-то старик остановился, стоит и смотрит, как мы их стираем.

Смотрел, смотрел, потом спрашивает:

— И сколько вам за это платят?

Мы ему ничего не отвечаем и продолжаем стирать.

Он говорит:

— Не хотите ли вы сказать, что вы это делаете бесплатно?

— Мы ничего не хотим сказать, — говорит Алька. — Понятно?

Старик говорит:

— Понятно, но не совсем. — Надел очки и опять стал смотреть. Вдохнул и говорит: — Кажется, я вас с кем-то спутал. — Покачал головой и ушел.

Он ушел, какая-то собака стала на нас бросаться. Бросается и бросается, как будто мы ее трогаем. Когда мы эти палитры рисовали, ничего такого с нами не приключалось. Один раз только Альке по шее дали. И все. За то, что на стенах мажем.

Кое-как хозяин этой собаки ее увел.

Он ее увел, дети стали собираться. Собираются и собираются. «Почему? Отчего? Зачем?» — и разные другие вопросы задают. Здорово они нам на нервы действовали. Алька им кричит:

— Что здесь, цирк, что ли?

Они назад.

Только мы стирать собираемся — они опять вперед.

— А что, — говорят, — нельзя, что ли?

Алька говорит им:

— Вы что, в школу еще не ходите?

— Не ходим, — говорят.

— Ходили бы в школу,— говорит,— не околачивались бы тут.
— Это верно,— говорят,— не околачивались бы,— и не уходят.

В это время мне мысль в голову пришла.

— Хотите стирать? — спрашиваю.

Они как заорут все вместе:

— Хотим!

Оторвал я им половину тряпки.

— Вот вам тряпка,— говорю,— стирайте. Задание вам такое дается.

— Спасибо! — кричат.

Они этого как будто и ждали.

Алик мне говорит:

— Давай им свои тряпки отдадим. Пусть они все стирают.
Пусть они ходят и стирают.

Отдали мы им наши тряпки.

Они так были рады, как будто мы им игрушки дали.

— Как увидите,— говорит Алька,— вот такую палитру, стирайте ее немедленно!

— Сотрем! — заорали малыши.

— И другим скажите, пусть тоже стирают.

— Скажем! — заорали малыши.

— Ура! — крикнул Алька.

— Ура! — заорали малыши.

И мы с Алькой отправились по домам.

ВЫСТРЕЛ

Подходит ко мне на улице Ыгышка и говорит:

— Послушай, хочешь я тебе уши отверну?

Ни с того ни с сего вдруг подходит. Такие вещи мне говорит. Зло меня взяло ужасное.

— За что? — говорю.

— Ыгы! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Художник! — говорит.— Тоже мне художник!

— Тебе чего? — говорю.

— Отверну, — говорит, — уши, и все. Ыгы.

Ну чего ему сказать? Совершенно не знаю, чего ему сказать. Смотрю на него и ничего не говорю.

— Свои рисуночки даришь? — говорит. — Ыгы?

— Какие рисуночки?

— Сам знаешь! — говорит.

— Не дарил, — говорю я, — никому никаких рисуночков.

— Ыгы, — говорит, — понятно. А Лебедевой тоже не дарил?

— Отстань, — говорю.

— Ыгы, — говорит, — как раз!

Я хотел уйти, а он мне дорогу загораживает.

— Клянись, — говорит, — что больше рисуночков своих дарить не будешь.

— Захочу — буду, а захочу — не буду. Какое твое дело? — говорю.

— Ыгы, — говорит. — Здесь не ходи. И там не ходи. Нигде здесь не ходи. А то... Ыгы. Ясно? Не встречайся мне. Ясно? Ыгы.

— Ясно, — говорю.

Что я еще ему сказать могу? Ходить, конечно, я здесь все равно буду. Где же еще ходить? Негде мне в другом месте ходить. Что же мне, школу из-за него бросать, что ли? Дороги-то ведь другой нету. Глупости он, конечно, говорит. А неприятно. Очень все-таки неприятно, когда вот такой здоровенный тип на дороге встречается. И завтра встретит. Неприятности у меня, неприятности. Я шел и думал про эти неприятности. Да только чего тут придумаешь! Не буду же я маме жаловаться. Или там папе. Никому не буду жаловаться. Не люблю я эту манеру — жаловаться.

Так я ничего и не придумал. Иду опять в школу этой же дорогой. Идти мне, конечно, неприятно. Выскочит сейчас этот тип здоровенный. С этим своим «ыгы». Очень все это нехорошо получается. Другие люди как-то живут ничего себе. Никто им на дороге не встречается. Ходят они себе спокойно. И ни о чем таком не думают...

В это время мне кто-то гайку в спину кинул. Здоровенную такую гайку. Так по спине трахнули, что я чуть не сел.

Хотел я сначала бежать, а потом думаю: «Если я так каждый день бегать буду, ничего хорошего не будет. Такую гайку мне совершенно спокойно можно вдогонку кинуть. Тут беги не беги — все равно».

В это время этот Ыгы выходит.

— Ыгы,— говорит,— как дела?

А его дружок в это время мне под ноги лег. Быстро так. А этот тип меня в спину толкнул. Я — сразу в пыль.

Стоят они и смеются.

— Не ходи ты здесь,— говорят.— Милостью тебя просим. Нельзя здесь тебе ходить. Не разрешается. Пропуска у тебя нету? Нету. А ты без пропуска ходишь. Ты что, шпион, что ли, без пропуска ходишь?

Разную они мне глупость стали говорить. И хохочут оба.

Я поднялся — и трах портфелем по башке этому Ыгышке! Он даже не ожидал. Дружок его почему-то сейчас же убежал. А он меня за руку схватил. «Ну,— думаю,— сейчас он мне даст как следует».

В это время учителя проходили. И он меня отпустил. Я сейчас же, конечно, бегом.

После уроков смотрю во двор. Так и есть — ждет. А с ним двое. Меня ждут. Прогуливаются по двору. Руки в карманах. И на наше окно поглядывают.

Я к ним, конечно, не вышел. Не такой я дурак, чтоб к ним выйти. Я вылез через окно. Пошел в другой класс. Совсем с другой стороны вылез. Гляжу во двор: ходят они, руки в карманах.

Я вдруг сразу решил, что мне с ними делать.

Замечательный пробочный пистолет лежал у меня дома. Лежал у меня этот пистолет в ящике. Вместе с поломанными, старыми игрушками. Раньше я из него с утра до вечера стрелял. А потом надоел он мне. Из такого пистолета ничего не вылетает. Эта пробка тут же падает после выстрела. Но гремит он здорово. И огонь из дула вылетает, и дым.

Теперь-то я спал спокойно.

А утром положил я этот заряженный пробкой пистолет в карман.

Не успел я на улицу выйти, как он у меня в кармане вы-

стрелил. Дым из кармана вовсю повалил. Какая-то старушка рядом шла, так она чуть не упала от страха.

Пришлось мне домой идти. Новой пробкой заряжать свой пробочный пистолет.

И вот я иду по той же улице. Где мне ходить не положено. Иду я без всякого пропуска. Держу одну руку в кармане. И лежит у меня там заряженный пробочный пистолет. И никто не знает, что у меня в кармане. И они тоже не знают. Вон стоят трое. Ждут. Улыбаются. Они о том думают, как будут мне сейчас разные обидные вещи говорить. Про разные там дурацкие пропуска. Про то, что мне здесь ходить не разрешается. Они, наверное, думают, как опять толкнут меня. И я в пыль полечу. А они будут смеяться. Не знают они, дураки, что лежит у меня в кармане!

Я подходил к ним, а они закрыли дорогу. И руки тоже в карманах держат; можно подумать, что у них там тоже пробочные пистолеты.

Я подошел к ним, остановился, пальцем их поманил и говорю:

— Идите, идите сюда...

Они удивились, друг на друга посмотрели и медленно пошли на меня. А я медленно иду назад, а руку держу в кармане. «Только бы,— думаю,— пистолет у меня в кармане не выстрелил, как в тот раз».

Я решил их куда-нибудь в парадное завести и там в них выстрелить. Почему-то мне показалось, что нужно обязательно куда-то завести. Очень уж я был уверен в своем пистолете.

— Идите,— говорю,— идите, не стесняйтесь...

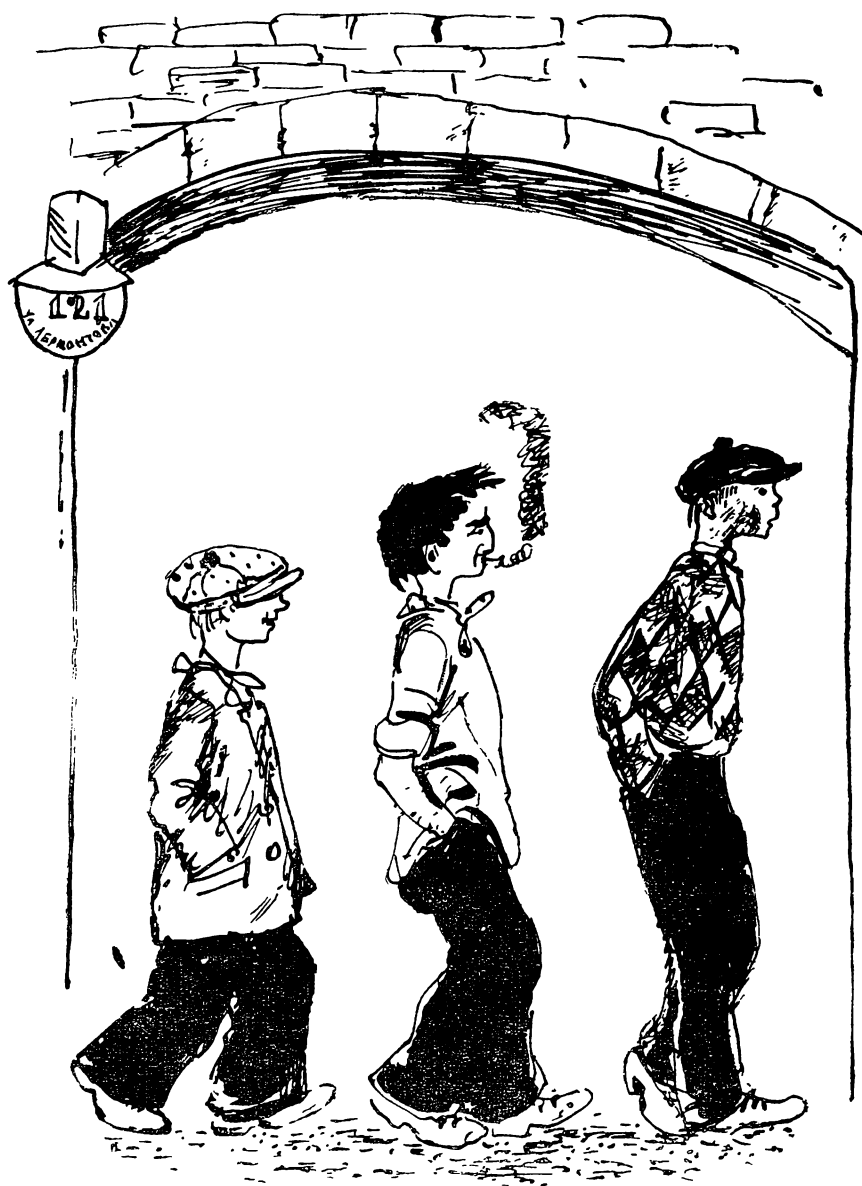
Этот Ыгы говорит:

— Да что с ним разговаривать, ребята чего он голову морочит...

— Идите, идите сюда,— говорю я,— идите...

«Если,— думаю,— они на меня бросятся, я в них сейчас же выстрелю. Вытащу пистолет и прямо в них выстрелю». Очень я был в своем пистолете уверен!

Нет, они почему-то на меня не бросились. Или они что-то недоброе почувствовали, или еще что, только они вдруг остановились.



БІгы говорит:

— Ты что, очумел, что ли?

— Молчи, болван! — говорю.

Он прямо олешил.

— Вот это да! — говорит.

— БІгышка, — говорю, — чертовая! Кочерыжка! Балаболка!

БІгышка!

Он прямо весь побледнел. Оттолкнул этих своих приятелей и говорит:

— Я с ним сейчас сам разделаюсь. Я ему сейчас его дурацкие уши оторву!

А я ему говорю:

— Ишь ты, какой БІгышка! Иди-ка ты сюда!

«Если, — думаю, — он на меня сейчас полезет, я в него сейчас же и выстрелю. А так все-таки лучше его куда-нибудь в парадное затащить».

И я приближаюсь задом к парадному. А он идет за мной. И лицо у него какое-то странное. Он сам как будто не может понять, в чем дело. Что-то такое он все-таки почувствовал. Поэтому что он не очень-то спешил! Но в парадное он все-таки зашел. А дружки его на улице остались.

Я задом поднимался по лестнице, а он за мной поднимался.

— Иди, иди, — говорил я, — иди...

Я все поднимался, а тут я вперед шагнул. Навстречу ему шагнул на одну ступеньку. И пистолет свой я вытащил осторожно, чтоб он раньше времени не выстрелил. Он, по-моему, даже не заметил, когда я его вытаскивал. Он все па меня смотрел. И рот свой кривил. Пугал меня своим кривым ртом, что ли?

Тут я в него и выстрелил.

Ну и грохнул же мой пистолет! Как пушка.

Он так закричал, как будто решил, что он убитый. Лицо у него в этот момент — не объяснишь! Глаза были раскрытые, как будто сейчас выскочат. Я не очень-то на него смотрел в этот момент. Я только о том и думал, чтобы мой пистолет выстрелил. Но все-таки я заметил, какое у него было испуганное лицо.

Потом он повернулся. И выбежал.

Я вышел за ним.

Он бежал что есть духу по улице, а за ним бежали его

дружки. Эта улица была длинная. И вверх. Так они мчались по ней как сумасшедшие. Как будто я вслед им еще стрелять собираюсь. Я им вслед смотрел до тех пор, пока они за углом не скрылись. Они, наверное, и там еще бежали, честное слово!

Из парадного вышел дядька. Он был в пижаме.

— Что-нибудь произошло? — спросил он.

— Ничего не произошло, — сказал я.

— А почему пахнет? — спросил он.

— Где пахнет? — спросил я.

— Серой пахнет, — сказал он, — и выстрел был. Я слышал.

— Где был выстрел? — спросил я.

— А ты не слышал? — спросил он.

— Я ничего не слышал, — сказал я.

— Странно, — сказал он, — очень странно...

И он ушел обратно в свое парадное.

ШТАНЫ

Мать постирала мои штаны, повесила сушиться над газом, они свалились в огонь и сгорели. Хорошо, что не было пожара! Но я остался без штанов...

На севере диком стоит одипоко

На голой вершине сосна.

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она...

Я стоял в трусах, прислонившись к шкафу, вертел перед носом цепочкой от стенных часов и орал на весь дом это стихотворение.

Мне представились поезда, которые мчатся на Север. Паровозы неистово гудят. В одном поезде еду я. Настроение у меня очень радостное. Еду я в первом вагоне и на повороте вижу весь поезд, как он изогнулся дугой. Там, вдали, Алька, Кафаров, Тася... И даже Ыгышка... Они машут мне... А я мчусь на Север. Где льды и снег. И напишу картины с северным сиянием...

И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем
Прекрасная пальма растет...

...И все северное ушло куда-то в сторону, поезда помчались в обратном направлении — я еду в обратную сторону. Поезд блестит на солнце, как будто серебряный, и солнечные зайчики прыгают по траве и по виноградникам... И Тася, и Алька, и Кафаров встречают меня, и даже Ыгышка встречает меня со своими друзьями...

Когда стихотворение кончалось, я начинал сначала.

Очень нравилось мне это стихотворение!

Мать пошла покупать мне штаны. А я остался. Я не мог даже с ней пойти, чтобы эти штаны примерить. Не могу же я с ней идти в трусах по всему городу. У меня были еще штаны. Мать перерыла весь дом, но штаны как будто в воду канули. Как будто они испарились. Были почти новые парусиновые штаны, куда они задевались? Это просто чудо какое-то: куда могли деться мои штаны?

И снится ей все, что в пустыне далекой...

...Идут верблюды, и звенят колокольчики, подвешенные им на шею... А пески, наверное, как волны... Громадные такие волны... Ветер дует, и песок стелется по этим волнам...

Какой раз уже я читаю это стихотворение!

Цепочка наматывается на палец и разматывается...

Звенят колокольчики, гудят паровозы, мчатся поезда...

Очень нравится мне это стихотворение!

И вдруг я вспомнил, что из парусиновых штанов мама спила мне курточку, которая на мне...

ОКНО

Никогда еще я не видел такого красивого света в окне. И никогда я не видел такого красивого абажура. Абажур был сиреневый. А лампочка там, наверное, была красноватая. Никогда я не видел такого красивого цвета — это уж точно!

Мы с Кафаровым раза два прошли мимо этого окна. Мы всю задирали головы, но так и не увидели там Таси Лебедевой.

Свет из окна освещал деревья. Небо было черно. И дул ветер.

— Может быть, она не там живет? — спросил я.

— Я-то знаю! — сказал Кафаров.

Почему-то мне стало обидно, что я этого не знаю, а он знает.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Пойдем-ка на ту сторону, — сказал он.

Мы пошли на ту сторону.

Стоя на той стороне, мы всю глазели в окно.

— Сейчас она появится, — говорил Кафаров.

— А может, не появится? — говорил я.

— Не может быть, — говорил Кафаров.

— Откуда ты знаешь? — говорил я.

Потом мы сели.

— Мы ведь ее сегодня в классе видели... — сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

— И завтра увидим, — сказал я.

— Ну и что?

Он даже меня слушать не хотел.

— Гляди-ка! Гляди! — крикнул он.

Там в окне что-то мелькнуло.

— Ты уверен, что это она? — спросил я.

— Конечно!

— А вдруг это ее отец?

— Да ну тебя! — сказал он. — Что же, у него в волосах банты, что ли?

— Никаких бантов я не видел, — сказал я.

— А я видел, — сказал он.

— Не было бантов. По-моему, там усы были.

— Это были банты, — сказал он. — Два банта.

— Хорошо, — сказал я. — Были банты.

На окно вышла кошка. Она смотрела на нас. Как будто она специально для этого вышла, чтобы на нас посмотреть.

С соседнего балкона на кошку стала лаять собака. Кошка не обращала никакого внимания на собаку. Опа, наверное, понимала, что собака не могла ее достать.

— Все-таки мы ее видели,— сказал он.

— Это мы отца ее видели,— сказал я.

— Гляди-ка! Гляди! — крикнул я.

Кто-то рукой задел абажур, и он стал слегка качаться. По занавеске заходили тени. Словно вся комната ожила. Вся комната качалась...

— Не видел? — спросил я.

— А ты видел? — спросил Кафаров.

— Не то видел, не то не видел,— сказал я.

— По-моему, я видел,— сказал Кафаров.

— Тень? — спросил я.

— Тень,— сказал Кафаров.

— На занавеске?

— На занавеске.

— А может, это не она?

— Я видел банты,— сказал он.

— Не было там никаких бантов.

Сейчас-то я видел ясно. Ему просто мерещились эти банты!

— Два банта,— сказал Кафаров,— два больших банта...

— Может, это бабушка или мать,— сказал я.

— Сам ты бабушка,— сказал он.

Он был уверен, что это была она. Он в этом был совершенно уверен.

И тут мы ее увидели.

Она быстро прошла мимо нас. Перешла на ту сторону. Махнула кошке рукой. И вошла в свое парадное. Два громадных банта качались на ее голове...

ЗАПИСКА

Младший сын Петра Петровича укусил собаку. Он пошел с мамой в магазин. Мама подошла к прилавку. А его отпустила. А около двери сидела собака. Она ждала хозяина. Младший сын Петра Петровича подошел к собаке и укусил ее. Собака страшно завизжала, а малыш испугался и заплакал. Ангелина Петровна закричала: «Уберите собаку! Она укусила моего сына!» В это

время какой-то дядька говорит: «Ничего подобного! Собака не трогала вашего сына. Она спокойно сидела. Она никого не трогала. Я видел! А ваш сын подошел и укусил ее!» Все стали говорить, что не может быть, чтобы такой маленький ребенок укусил такую большую собаку. А тот дядька говорит: «Вы мне не верите? Ах, значит, вы мне не верите? Смотрите, как он это сделал! Он подошел к собаке, я же видел, граждане! Он подошел к ней вот так...» И дядька хотел показать, как младший сын Петра Петровича подошел к собаке. В это время испуганная собака подумала, что с ней хотят что-то сделать, и она недолго думая укусила этого дядьку за нос. Дядька страшно заорал, а хозяин собаки говорит: «Зачем вы лезли к собаке? Скажите! Зачем вы к ней лезли? Она вас трогала? Не трогала! Тогда зачем вы к ней лезли?..»

Все это Петр Петрович нам рассказывал, и мы смеялись. Петр Петрович всегда очень смешно рассказывал...

— Если мы возьмем икс,— говорит Мария Николаевна,— если мы возьмем икс!!!

Я смотрю на доску. Совсем не вовремя мне эта история вспомнилась...

В это время рядом со мной записка упала.

Я поднял ее.

Когда Мария Николаевна отвернулась, я прочел:

Ты не думай, что я на тебя обижаюсь. Я на тебя совсем не обижаюсь. Я завтра с отцом и матерью уезжаю. И буду учиться в другой школе. Совсем в другом городе. А на тебя я никогда не обижалась. Если бы моего отца в другой город не переводили, я никогда бы, ни за что не уехала...

ТАСЯ.

— ...Две тысячи четыреста пятьдесят на тысяча четыреста сорок восемь...

Я ничего не слышу.

— ...Получая три тысячи восемьсот девяносто восемь... деленное... получается... прибавляя... итак... отнимаем...

Я ничего не слышу.

Смотрит на меня Кафаров.
Звенит звонок.
Я подхожу к Тасе.
— Уезжаешь? — спрашиваю я тихо.
— Уезжаю, — говорит она.
— Насовсем?
— Насовсем. — И улыбается. Как будто это хорошо, что
она насовсем уезжает!
— Ну... уезжай... — говорю.
Совсем ведь другое сказать хотел!
Она постояла, посмотрела на меня, а потом повернулась и
пошла быстро.
Я вслед ей крикнул:
— Это хорошо, что ты на меня не обижаешься!!!
Но она уже, наверное, меня не слышала.
Я хотел побежать за ней.
А потом не побежал.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Петр Петрович развернул свой завтрак и стал есть яблоко.
Кусок хлеба с маслом он положил на подоконник.

Я стоял за стеклянной дверью и тоже ел яблоко. Большой
кусок хлеба с маслом я положил на подоконник.

Петр Петрович поднял кверху яблоко и показал на бутерброд. Он как бы говорил: «Какое совпадение!»

Мы улыбались друг другу, и я вспоминал: «Во втором классе я сочинил стихотворение. Я никак не мог решить, хорошее это стихотворение или нет. И стоит ли его читать? А вдруг это ужасное стихотворение? Вдруг там чего-нибудь есть такое ужасное, что я не вижу? Но в то же время, если я его не прочту никому, я так и не буду знать, что это за стихотворение. А может, это замечательное стихотворение? Что тогда? Краснея и волнуясь, я сказал Петру Петровичу: «Я написал стихотворение!» В классе были мы двое. Я специально выбрал этот момент, чтобы никого больше не было. «Это похвально, — сказал он, — прочти!»

Я вышел на середину класса. Зачем-то влез на парту. Мне казалось, что стихотворения нужно читать непременно откуда-нибудь с высоты. «Не надо на парту,— сказал Петр Петрович,— слезь, это вовсе не обязательно». Я растерянно слез. «Читай на полу,— сказал он,— это лучше». Я стал читать:

Шел по улице портной.
Шел спокойно, шел домой,
В это время увидал:
Люди лезут на скандал...

Он вдруг перебил меня: «Куда, куда лезут?» — спросил оп. «На скандал»,— сказал я тихо. «Зачем?» — он вовсе смеялся. «Лезут — и все...» — сказал я.

Я не мог понять, почему ему так смешно. Он вдруг прекратил смеяться, спрашивал: «Люди лезут на скандал?» — и опять начинал смеяться. У него даже слезы на глазах появились.

«Ну, брат, насмешил»,— сказал он. Я обиженно молчал. Наконец он спросил: «Сам, значит, написал?» — «Сам»,— сказал я. «Сразу видно»,— сказал он. «Что, плохо, что ли?» — «Нет, почему же,— сказал он,— смешно... давай дальше».

Дальше читать я не стал. Не хотелось мне почему-то дальше читать это стихотворение».

Мне вспомнился этот случай, и мне показалось, что он тоже вспомнил сейчас этот случай и поэтому улыбается. Сейчас-то я вижу, что это плохое стихотворение. Сейчас-то я сам вижу...

Я взял свой завтрак с подоконника и быстро ушел. А Петр Петрович остался. Он помахал мне рукой, когда я уходил.

Два урока прошли очень быстро. Я и сам не знаю, отчего это так бывает: одни уроки быстро проходят, а некоторые тянутся.

Я поднимался по лестнице. Шел в класс на последний урок. Сзади меня говорили:

— Такие неожиданные вещи случаются не часто...

— Нет, это ужасно... это такая неожиданность...

— Ведь только что...

— В том-то и дело...

— Прямо... знаете... просто... как вам сказать...

— Нет, вы знаете, в это поверить трудно...

— И я, представьте себе, то же самое...

- Вы слышали, говорят, он пришел домой...
- Что вы говорите! Я этого не знал...
- Очень, очень неприятно...
- Изумительной души ведь человек...
- В том-то и дело... и я говорю...

Я сначала не очень-то слушал, что они говорят. А потом стал прислушиваться.

По коридору неестественно быстро прошел завуч Пал Палыч.

Пробежали по коридору несколько человек в одну сторону. Я вошел в класс.

Кира Велимбахова стояла на стуле и тоненьким голосом повторяла:

— Петр Петрович умер... Петр Петрович умер...

Тася Лебедева плакала очень громко.

В класс вошла Мария Николаевна и сказала:

— Тише, ребята, тише... это большое несчастье...

Она так же быстро вышла, как и вошла, и я подумал, что она могла этого и не говорить. Совсем не обязательно было входить в класс и говорить, что это несчастье. Это и так ведь понятно...

Скрипнула резко дверь, и все повернулись. Это Тася Лебедева выбежала из класса.

Завуч Пал Палыч сказал в дверях:

— Занятия сегодня кончились...

Зачем-то зазвенел звонок не вовремя.

Все стали уходить.

«Этого не может быть,— думал я,— этого не может быть...»

Дома я сказал:

— Петр Петрович умер...

— Этого не может быть! — сказала мама.

И отец тоже сказал, что этого не может быть.

И отец и мать посмотрели в окно, как будто там, за окном, сейчас пройдет траурная процессия...

Все траурные процессии проходят мимо нашего дома. Были похороны генерала и похороны композитора. Генерал был убит на войне. Его привезли на родину с войны. Убит он был где-то на западе. Генерала везла на лафете от пушки шестерка лошадей. И было много всадников, много военных, много народу.



Несметное количество венков несли за гробом композитора. Улицы колыхались, как море. На балконах, в окнах и на крышах были люди. Гремела музыка, и все шло медленно...

А за гробом Петра Петровича пойдут дети, наш класс и другие классы — вся школа.

Нет, я не пойду...

В день похорон я сбежал.

Я сел на электричку. Помчались за окном дома и вилла-ники. Я уезжал из города. Поезд мчал меня за город. Я вышел в тамбур. Сел на пол. Мысли прыгали в моей голове как сумасшедшие. Я не знал, куда еду, и просто сидел.

Вся школа сейчас, наверное, идет мимо наших окон. Весь наш класс. Все идут хоронить Петра Петровича, а я здесь сижу, в этом тамбуре... Я все хотел встать, пересест на встречный поезд. И поехать обратно. И все не мог. На одной остановке долго ждали встречный поезд. Все вышли из вагона и ходили по перрону. Я встал и вышел на перрон.

Я видел, как мчался встречный поезд, я хотел перебежать через пути и сесть на него, поехать обратно.

Но я не сделал этого. Я все стоял, а когда раздался свисток, я вскочил в свой вагон и поехал дальше.

Когда поезд вернулся в Баку, я не слез. Люди входили и выходили, а я сидел.

Опять я поехал из города. Я сидел в углу и не смотрел в окно, хотя я всегда смотрю в окно. Я смотрел на людей, но они ведь не знали, зачем я здесь, они и внимания на меня не обращали...

На одной остановке я сошел.

Я пошел к скалам.

Дул ветер, и море было зеленое. Ветер гнал песок, и море шумело. Было пусто. И все казалось странным. Брезент с одного грибка сорвало ветром и понесло в море...

Солнце было сильное, и ветер был сильный.

И сильно били волны в скалы...

На обратном пути я выпрыгнул, не дожидаясь, когда поезд остановится, и вывихнул ногу. Я еле до дому добрался. Нога у меня распухла ужасно. В школу я не ходил несколько дней, все

лежал с вывихнутой ногой. Я считал себя трусом — иначе почему же я тогда не пошел со всеми хоронить Петра Петровича?

Я просто трус, вот и все!

Не мог я видеть мертвого человека, который вчера был живой!..

НЕ БРОСАЙТЕ ЯКОРЕЙ!

Белеют паруса. Рябится море. Солнце жжет. Качаются слегка деревья. Мы с Алькой сидим на барьере.

— «Не бро-сай-те я-ко-рей,— читаем мы.— Ос-то-рож-жно — кабель...»

— Разве кто-нибудь бросает сюда якоря? — говорит Алька.

— Написано, чтоб не бросали,— говорю я.

— Раз никто не бросает, так нечего и писать,— говорит Алька.

— Если б никто не бросал, наверно бы, не писали,— говорю я.

Мы молча смотрим на море.

— Когда я был еще маленький, то думал, что якоря просто так бросают. Думал, это старое заржавленное железо и его с корабля бросают. Чтобы эти якоря не валялись на кораблях. А потом я прочел эту надпись, подумал, потому, наверное, эти якоря бросать не разрешают, что это металлолом. А после я узнал про якоря, и мне было смешно, что я так думал...

— Про якоря я раньше тоже не знал,— сказал Алька.— Я раньше думал, якорями рыб ловят. Бросят в море якорь, а на него рыба цепляется. Громадная такая рыба. И ее вместе с якорем вытаскивают. Как на крючок... Это все было детство,— вздохнул Алька.

— Самое настоящее детство,— сказал я.

— Помнишь про карусель? — сказал Алька.— Мы с тобой с утра в очередь становились, чтобы эту карусель крутить. Разгонишь ее — и катайся. Гармошка играет. С музыкой. И совершенно бесплатно.

— Много было желающих карусель крутить,— сказал я.— Один раз мы с тобой два часа крутились, а потом встали и упа-

ли. Лежим, и все кажется нам, что мы крутимся. А потом встали и пошли.

— Эх, давно это было,— вздохнул Алька.

— В прошлом году,— вздохнул я.

— Даже не верится,— вздохнул Алька.

— Совершенно не верится,— вздохнул я.

— Другие времена,— сказал Алька.

— Совершенно другие,— сказал я.

Мы еще раз вздохнули. Вдруг Алька спросил:

— Умрешь за живопись?

Он всегда внезапно что-нибудь такое спрашивает.

— Умру! — сказал я. — За живопись я готов в любую минуту умереть, об этом и спрашивать нечего.

— И я умру,— сказал Алька. — Живопись — это такая вещь, за нее вполне стоит умереть. Помнишь, нам Петр Петрович про Микеланджело рассказывал? Умрем за Микеланджело? — Он на меня так посмотрел, как будто я за Микеланджело отказываюсь умирать. Да я бы за него сто раз умер, даже не подумав.

Алька это сразу понял и говорит:

— Я так и знал, что ты за него всегда умер бы.

— Конечно, умер бы,— говорю,— что за вопрос!

Мы с Алькой вздохнули, потом он сказал:

— Послушай, если мы умрем, как же мы тогда живописью будем заниматься?

— А зачем нам умирать,— говорю,— нам совсем не нужно умирать.

— В том-то и дело, что не нужно! — говорит Алька.

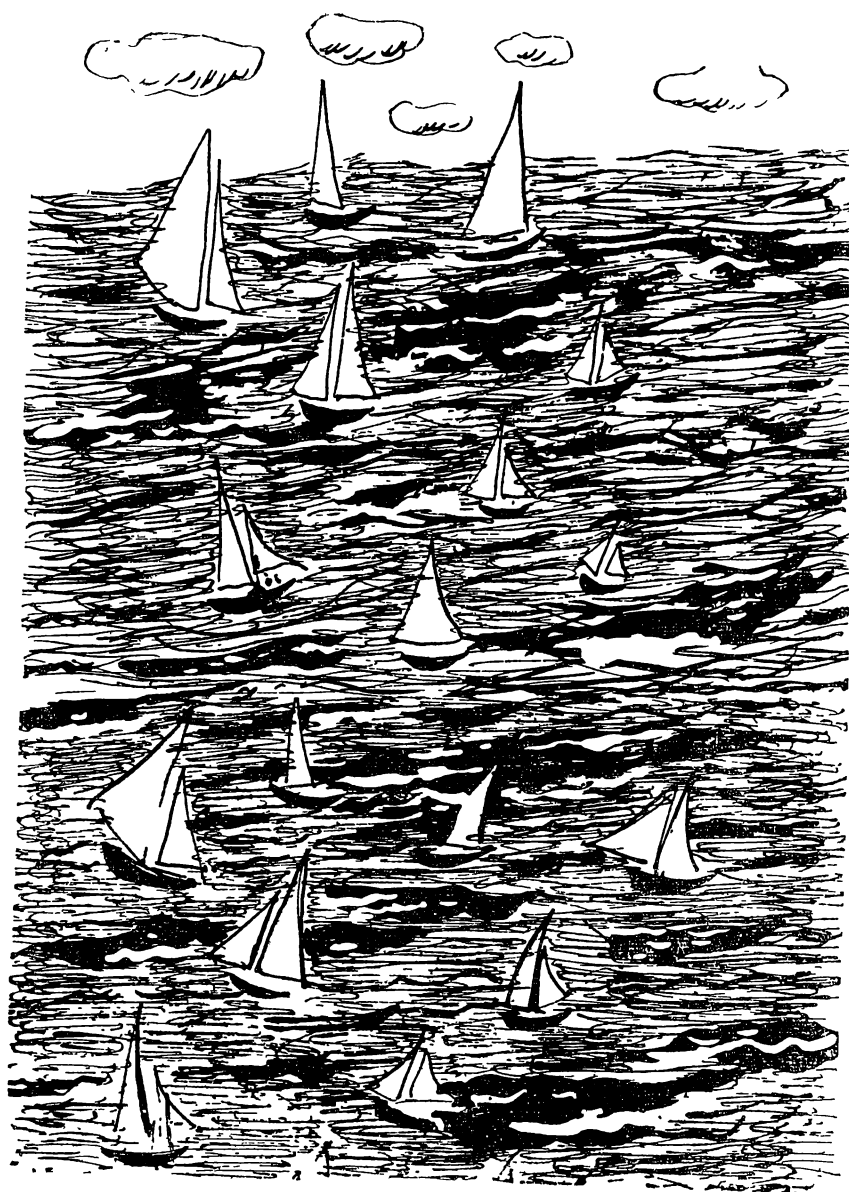
— Это ты,— говорю,— все придумал — умирать. Зачем нужно за живопись умирать, не понимаю! Наоборот, нужно больше жить, чтобы больше картин написать.

— Правильно,— говорит Алька. — Абсолютно правильно!

Паруса сверкали в море. Как будто они плясали в воде. Ветер налетал на море, и море рябью несло в нашу сторону.

— А рамы ты выброси,— сказал Алька. — Раз мы будем делать монументальное искусство. Раз мы будем писать на стенах. Как Микеланджело. Размах! Во! — Он развел руками. — Во! Вокрыгус небо! Плынут облака. И в облаках картина!

Он уже вовсю орал. Показывал на небо и махал руками.



— В каких облаках? — спросил я.

— В небесных! — орал он. — В небесных!

Если ему чего-нибудь в голову придет, он думает, другие знают, что ему в голову пришло.

— Я уже помеял одну раму, — сказал я на всякий случай.

— Меняй! Меняй! — орал он. — Все меняй! Картины на домах! Идешь по улице и рассматриваешь картины! Здорово я придумал? Это я только сейчас придумал!..

Он немного отдышался и говорит:

— Вот кто я? Как ты думаешь, кто я?

Я на него удивленно посмотрел, а он говорит:

— Я — новатор! Я это только сейчас понял.

— Это почему же, — спрашиваю, — ты новатор?

— А потому, — говорит, — что я, можно сказать, первый человек на земле, который подал идею расписывать все стены домов...

Я не дал ему закончить и говорю:

— Ведь до тебя Микеланджело писал на стенах...

Он так засуетился, я думал, он сейчас свалится с барьера, и говорит:

— Микеланджело внутри дома писал на стенах, а я снаружи! Ты видел, чтобы Микеланджело снаружи писал? Ты видел?

Очень уж хотелось ему новатором быть!

Я не знал и не видел, писал ли Микеланджело снаружи домов свои картины, но все равно я не верил, что он новатор.

Ужасно ему хотелось быть новатором, просто удивительно! Как будто без этого новаторства прожить нельзя. Живут же люди без этого. Никто им за это ничего не говорит. Пусть он не думает, что он скорее меня новатором будет. Ерунду какую-то придумал, про эти стены... Хотя, может быть, он действительно чего-нибудь придумал? Может быть, только кажется, что в этом нет ничего такого, а на самом деле в этом много чего есть? Может, и вправду, такого еще никто не придумал — расписывать все дома? Неужели за все время человечества никому в голову не пришла такая мысль?..

Опять я вспомнил Петра Петровича, и то, что я сбежал тогда, и то, что я трус... Совсем о другом ведь думал, а тут ЭТО

вспомнил... И мне стало казаться, что такой человек, как я, никогда не станет новатором, никогда ничего большого не сделает, раз он сбежал... Конечно, Алька скорее станет новатором, и, может быть, он уже придумал то, что никто не мог придумать до него...

Паруса все так же сверкали. Только их стало больше. И все вокруг стало как будто ярче. Солнце висело над самой головой. И было жарче.

Я слез с барьера и говорю:

— Пойдем-ка со мной к Петру Петровичу.

Он с барьера не слез, только повернулся ко мне и спрашивает:

— Куда?

Я ему спокойно говорю:

— К Петру Петровичу.

Он на меня раскрытыми глазами посмотрел и говорит:

— Как же мы к нему пойдем, если он умер?

— А мы не к нему пойдем,— говорю,— мы к его семье пойдем.

— К его семье? — говорит Алька.

— К его семье,— говорю.

— Зачем? — говорит Алька.

— Надо,— говорю.

— Сейчас? — говорит Алька.

— Сейчас,— говорю.

Это верно, очень уж я внезапно собрался идти к семье Петра Петровича. Но раз уж я собрался, я непременно пойду. Кто меня плохо знает, тот может подумать, что я не пойду туда, куда я собрался. Алька-то знал меня. Он-то знал, что я туда непременно пойду, раз собрался. Приду я к семье Петра Петровича и скажу: «Здравствуйте! Извините меня, что я тогда не был». Нет, это не годится, это совсем не то... Я скажу: «Здравствуйте! Я очень жалею, что так все вышло... так произошло... Я пришел сказать, что я трус... Я испугался, простите меня за то, что я испугался... Я всегда любил Петра Петровича... может быть, больше всех других я любил Петра Петровича...» Что-нибудь такое я скажу... что-нибудь скажу такое, как только откроют нам дверь...

— Ничего не понимаю,— говорит Алька.— Почему нам надо именно туда сейчас идти...

— Надо идти,— говорю,— вот и все.

А еще я сказал ему, что он может не идти, если не хочет. Я и сам могу пойти, пусть он не идет, если ему не надо.

Он руками развел, и мы пошли.

Когда мы шли, нам Ыгышка встретился. Со своими друзьями. Он стоял на другой стороне улицы, возле кинотеатра. Он что-то говорил своим друзьям, а они его слушали наклонив головы. Можно было подумать, он им что-нибудь умное говорил. Разве мог он им что-нибудь умное говорить, кроме своего «ыгы». Я его много раз видел, как он билетами спекулировал. Поэтому они, наверное, и торчат здесь.

И тут он меня увидел. Он поднял голову и увидел меня на той стороне. Он уже ничего своим друзьям не говорил, а смотрел на меня. Мне показалось, он сначала вздрогнул, а потом каким-то окаменелым стал. Его дружки повернули головы, они хотели узнать, что там Ыгышка увидел. И в этот момент они бросились врассыпную. Как по команде, все бросились в разные стороны. Одну тетку кто-то из них толкнул, и она упала. У нее была сумка, оттуда выпрыгнула кошка и помчалась вслед за этой компанией. Эта тетка сейчас же встала и побежала за своей кошкой. Милиционер стал свистеть в свой свисток, и за этой кошкой, теткой и всей компанией бросилось несколько прохожих. Они, наверное, думали, что это какие-нибудь воры или еще что-нибудь такое, раз они бросились бежать и вдобавок милиционер им свистел вдогонку. Скорее всего, никто ничего не понял. Понять тут трудно было. Один я знал, в чем дело. Но не мог же я им объяснить!

Куда, интересно, несла тетка эту кошку? Может, она ее топить несла? Тогда очень даже приятно, что кошка спаслась благодаря этому случаю.

— Чего-то украли,— сказал Алька.

— Наверное, кошку украли,— сказал я. Не хотелось мне ничего ему рассказывать. Во-первых, он не поверит. А во-вторых, не то у меня было настроение, чтобы чего-нибудь такое рассказывать.

— Неужели кошку украли? — сказал он.

— Ты же видел,— сказал я.

Он прошел немного и говорит:

— Не может быть все-таки, чтобы кошку украли. Такой скандал из-за кошки? Не может этого быть!

— Ты же видел,— сказал я.

— Неужели все-таки кошку украли? — повторял он. Он был очень поражен тем, что украли кошку. На него это здорово подействовало.

Мы подходили к дому Петра Петровича, когда Алька сказал:

— Неужели все-таки кошку украли?!

Он все думал об этой кошке.

Я думал совсем о другом.

Я очень волновался, когда звонил.

Старший сын Петра Петровича открыл нам дверь. Он не очень-то удивился, когда нас увидел. Он пригласил нас войти, и мы вошли. Я решил ничего ему не говорить. Я решил все ЭТО сказать Ангелине Петровне.

Посреди комнаты, прислоненный к столу, стоял холст. Наполовину краска была соскоблена. На полу валялись разноцветные соскобленные пожом куски краски. С холста стекала вода.

Старший сын Петра Петровича размочил холст, чтобы легче было соскоблить краску. Когда холст размочишь с обратной стороны, краска легко слезает. Опять чистый холст. Пиши себе на нем свою новую картину...

Не обращая на нас никакого внимания, старший сын Петра Петровича соскабливал ножом краску. Звук ножа по холсту был глухой и тупой. Лицо у старшего сына Петра Петровича было сосредоточенное.

Я сразу увидел, что это был за холст.

Портрет отца — вот что скоблил он!

Мы растерянно смотрели.

Ведь это был тот самый портрет, который мы с Алькой должны были в будущем «понять и осмыслить»!

Старший сын Петра Петровича продолжал скоблить. Потом он поднял голову и сказал:

— Мамы нету.

Мы все стояли.

Тогда он сказал:

— Если ты хочешь, я могу тебе вернуть твою раму...

Я молчал.

Он все скоблил.

Не глядя на нас, он сказал:

— Пусть это вас не смущает... Это логически осмысленный шаг художника... Подготовка холста к новой работе...

Мы с Алькой переглянулись. Ведь это был тот самый «шедевр»! То самое «логически построенное композиционное решение»...

Я сразу представил себе, что если бы он написал тогда НАСТОЯЩИЙ портрет отца, остался бы он у него на память...

Мы потоптались на месте. Потом попрощались. И вышли.

Он все продолжал скоблить, когда мы уходили. Мы сами открыли дверь.

...В скверике имени Двадцати шести бакинских комиссаров пронесся мимо нас с мячом Кафаров. Он даже нас не заметил. Он мчался забить свой гол.

ЛЕСТНИЦА

Сколько раз проходил я мимо!

Дворец пионеров. Колонны. Скульптуры у входа. Мраморная лестница...

Там, на четвертом этаже, в окна видны мольберты. Громадная гипсовая голова смотрит на меня из окна...

Сколько раз проходил я мимо!

Сколько раз мне хотелось подняться! Один раз я вошел в вестибюль. Стоял и смотрел на лестницу. Лестница блестела, а посередине лестницы был ковер. Мне хотелось подняться. Туда. На четвертый этаж. Где в окне видны мольберты. Где эта громадная гипсовая голова...

Я стоял раскрыв рот и смотрел на лестницу. Я не решался подняться. Ребята поднимались и спускались по этой лестнице. Они так просто ходили по ней! Смеялись и разговаривали. А некоторые бежали. А некоторые прыгали через две ступеньки...

Нет, я не мог подняться!

Я представил себе: я поднимаюсь... туда... на четвертый



этаж... где мольберты... «Ах, это вы! — скажут мне. — Мы ждем вас! Это вы нарисовали Рембрандта на стене? Вы знаете, это замечательно! Мы будем счастливы, если вы... со своей стороны... сообразоволяете... заниматься, так сказать, в нашей студии. Таких талантов нам как раз и не хватает». А я скажу: «Пожалуйста, я могу заниматься, мне ничего не стоит... я для этого, в общем-то, и пришел, собственно говоря... увидел в окне мольберты и зашел; дай, думаю, посмотрю, что там делается...» А что, если мне скажут: «Ой, господи! Вы видели, какой он нарисовал кошмарный рисунок? И он еще пришел сюда! Да он с ума сошел! Уходите скорее и не мешайте нам работать». Тогда что я скажу? Вот в том-то и дело! Лучше туда не идти. Кто их знает!

Петр Петрович говорил: «Ребята! Я скоро вести буду студию. Я вас возьму к себе». Но он умер. Конечно, он взял бы меня. Он меня ведь хвалил. Вы помните, как он сказал тогда про мою золотую руку? Он непременно бы взял меня. И Альку бы взял. Но он умер.

А если я сам пойду? Поднимусь на четвертый этаж. Разве я плохого Рембрандта нарисовал? А «Летучий голландец». Разве не получился у меня «Летучий голландец»? Тогда почему мой рисунок в Англию послали?

И лестница мне не казалась уже такой особенной. Нужно было подняться по ней. Вот и все...

А если мне только кажется, что у меня «Летучий голландец» получился? И кажется, будто Рембрандт получился? А в Англию, может быть, мой рисунок послали, потому что у них других рисунков не было? А Олив Нивс ведь девчонка... Что они понимают, девчонки!..

Уходит опять эта лестница...

Нет, я не был уверен. Я просто не был уверен. А все те, кто бежал по лестнице, и все, кто сидят сейчас в студии и рисуют, они все, наверное, уверены, раз сидят там сейчас и рисуют. А я иду мимо. Вчера и сейчас, каждый день иду мимо.

Но в то же время разве стал бы я рисовать такого громадного Рембрандта во всю стену, до потолка, если я не уверен? Разве я покупал бы рамы? Зачем мне тогда рамы, если у меня никогда картин не будет? Нет, я был уверен. Я был во всем уверен...

Это все приходило мне в голову. И уходило. Как эта самая лестница.

И вот я иду опять мимо.

А навстречу мне идет Мария Николаевна.

— Здравствуйте, Мария Николаевна! — говорю я.

— Здравствуй, Витя, — говорит она. И останавливается.

— Вот это погода! — говорю я.

— Отличная погода, — говорит Мария Николаевна.

— Совсем нету ветра, — говорю я.

— У моряков, кажется, говорится: штиль? — говорит она. — На море штиль, не так ли?

— А когда ветер — норд, — говорю я.

— Ах, этот норд, — говорит Мария Николаевна. — У меня в комнате два стекла выбил этот норд...

— И у нас стекло выбил, — говорю я, — одно стекло выбил...

— Как поживаешь, Витя? — говорит Мария Николаевна, как будто мы с ней сто лет не видались. — Рисуешь все, рисуешь... Нет, у тебя, конечно, есть способности, а когда человек со способностями... ведь это счастье... творческое начало в человеке... искусство — большое дело...

Чего, думаю, она мне про эти способности говорит, я и сам знаю, что у меня есть способности. Вот сейчас мне про искусство говорит, а завтра мне двойку поставит.

А она говорит:

— Нужно развивать свои способности. Способности нужно непременно развивать. Учиться нужно. А как же? Путь к мастерству долг... Я помню, один мой знакомый...

Вовсе мне неинтересно про ее знакомого слушать. Я и сам знаю, что способности развивать надо...

А она говорит:

— Пойдем, Витя, со мной вот сюда, в этот дом, я тебя познакомлю... Он таких вот ребят учит... в студии... Может быть, и тебе полезно... Ты, кстати, не ходишь в студию?

И мы вошли в это парадное.

И стали подниматься по лестнице.

Ей трудно было подниматься. Она ведь старенькая. И мы поднимались медленно.

УПЛЫВАЮТ КОРАБЛИ

Пляшут на сцене джигиты.

Летит оттуда к нам музыка.

Плывут по морю корабли и лодки.

Качаются на привязи швертботы.

Стоит над бухтой громадный памятник Кирову.

Мы с Алькой сидим на крыше. Отсюда нам виден город. Даже сцена летней филармонии. Даже остров Нарген вдали.

Небо темно-синее и море темно-синее. В небе звезды, а в море огни.

Алька завтра уезжает в Москву. И будет там жить с родителями. Поступит там в художественное училище. И будет писать мне письма.

А я остаюсь. Буду здесь учиться. Поступлю здесь в художественное училище. И буду писать ему письма.

А встретимся мы в Ленинграде. В самой Академии художеств. Где учились знаменитые художники. Где учился наш Петр Петрович... Мы встретимся с Алькой в этой академии, обнимемся, потом хлопнем друг друга по плечу и вместе спросим: «Как живешь?» Потом мы рассмеемся, оттого что вместе сказали «как живешь», и спросим друг у друга: «Как дела?» А потом мы с Алькой пойдем осматривать Академию художеств... А потом станем знаменитыми художниками... Как великие мастера...

— Вот этот громадный дом,— говорит Алька,— мы с тобой когда-нибудь разрисуем... Мы с тобой весь город разрисуем...

— И другие города,— сказал я.

С моря раздавались гудки. Они были протяжные и длинные.

— И Тася уехала,— сказал я. И чего это я вдруг про Тасю вспомнил!

— Ну и влюблен же ты в Тасю! — сказал Алька.

— И Кафаров влюблен,— сказал я.

— И я тоже влюблен,— сказал Алька.

Я смотрел на него и не верил. Первый раз слышал я, что он в Тасю влюблен.

— Это правда,— сказал Алька.— Только я никому про это не говорил. Только сейчас говорю. Все равно. Раз теперь уезжаю.

— Врешь ты все,— сказал я.

— Что мне врать? Все равно уезжаю...

Опять с моря гудки загудели. Сцена филармонии опустела. Концерт, значит, кончился. Сцена еще светилась, как большой прожектор. Но джигитов уже на ней не было.

Потом сцена потухла. Мы молчали некоторое время. Гудки с моря вовсю гудели. Как будто много пароходов плыло куда-то...

Письмо читателю этой книги

Дорогой друг!

Ты уже не маленький и прочел, наверно, много разных книг. Для тебя пишут писатели, которых называют детскими. Авторы этой книги — тоже детские писатели. О них-то я тебе и расскажу.

Лет двадцать назад, когда тебя не было еще на свете, я работал в редакции «Пионерской правды». И вот однажды пришел к нам, в отдел литературы, высокий молодой человек с внимательными серыми глазами и предложил свою рукопись. Надо сказать, что рассказов приносили нам и присылали много, даже очень много, а печатали мы всего-навсего один или два в месяц: газета маленькая, отбор строгий.

Но рассказ начинающего писателя понравился в редакции всем, даже старому корректору, который считал, что печатать надо только классиков. Рассказ «Клинок красного командира» увидел свет. И тут посыпались письма: читатели благодарили редакцию.

Нового детского писателя узнали все, кто читал газету. Звали его Владимир Железников.

Успех первого рассказа окрылил его автора. Теперь уже смело взялся он за перо и написал целую книгу рассказов, потом — другую, третью...

В этой книге помещена повесть «Жизнь и приключения чу-дака».

Надо быть добрым и не надо быть злым. Это первая заповедь, которую утверждает в своей повести талантливый прозаик. Надо быть честным, чего бы это ни стоило. Это заповедь вторая. Казалось бы, обе эти истины понятны всем и незачем их повторять. Но в том-то и состоит суть всей работы писателя, что он не просто произносит эти аксиомы, а так убедительно подтверждает их своим «волшебным пером художника», что не только разум, но и сердце читателя проникается любовью к добру и справедливости и нелюбовью ко всему тому, что им мешает или пытается мешать.

Когда Боря Збандуто становится вожатым, ему волей-неволей приходится «подтягиваться» до того идеального представления, которое сложилось о нем у малышей. То есть он становится лучше, чем был, не потому, что кто-то читает ему нравоучения, а, так сказать, сам по себе. Иными словами, показана психология героя, показаны противоречия, которые порой терзают его душу на пути к совершенству.

Автор пробуждает в твоём сердце презрение к обманщикам и приспособленцам, и у тебя появляется желание непременно быть полезным обществу. Его девиз: «Пусть поскорее настанет такой день, когда мы будем счастливы и когда с полуслова будем понимать друг друга и по первому зову приходить на помощь».

А себялюбцам — стыд и срам! И — позор!

Вы, дети семидесятых годов, получаете много больше того, что получали в детстве мы, ваши родители. Но умеете ли вы это ценить? Ох, к сожалению, нет, далеко не все. Иной мальчик или девочка думает, что все на свете для него, а родители («старички», «предки») — они уж как-нибудь обойдутся. Одна девочка сказала, например, своей маме: «Ну, зачем тебе модные туфли, ты ведь уже старая, тебе тридцать два!»

А есть и такие дети, которые просто-напросто не признают права взрослых на счастье, на любовь, на ответную ласку.

Именно таких вот эгоистов, думающих только о собственной персоне, и осуждает писатель Железников в книжке «Каждый мечтает о собаке». А в повести «Последний парад» он отрицает мальчика Колю, который порой бывает жесток и категоричен в отношении к своему взрослому другу Сергею Алексеевичу, человеку трудной судьбы.

Железников старается найти ответ на вопрос: почему бывают дети, духовно черствые и сухие, почему у них такие каменные сердца? И ищет ответ не один, а вместе с юными читателями.

Однако это не значит, что писатель не борется с несправед-

ливостью, когда исходит она от взрослых. В повести «Путешественник с багажом» Сева Щеглов уходит от отца, человека легкомысленного, болтливого, способного даже на ложь. Такому отцу противопоставлен честный и смелый отец мальчика в повести «Хорошим людям — доброе утро».

Один критик писал о Железникове, что он добрый. Это верно. Но он не только добрый. Он добрый и справедливый. В самом деле: добр-то он к добрым, а к злым, жадным и хвастливым — беспощаден. Впрочем, иным и не может быть настоящий писатель.

И еще одно качество присуще Железникову. Это юмор. Порой едва заметный, а иногда вспыхивающий ярким пламенем.

В чудачествах Бори Збандуто, описанных с мягким юмором, видно доброе и отзывчивое сердце мальчика, его стремление служить людям не за страх, а за совесть.

Юмор — отличительная черта творчества и другого писателя, представленного в этой книге, — эстонского детского писателя Яана Раннапа, автора рассказов под общим названием «Юхан Салу и его друзья». Но юмор Раннапа совсем не похож на юмор Железникова. Это юмор национально своеобразный. Раннап вроде бы и не собирается никого смешить. Он рассказывает как бы всерьез. А получается смешно, иногда даже ядовито, если писатель берет высмеять кого-то.

Удивительные приключения происходят с Юханом Салу и его одноклассниками — Тихим Мюртелем и долговязым Туртсом, имеющим обыкновение поражать новых учителей своим ростом, который он к тому же искусственно увеличивает, становясь на ящик из-под мела. Вот задумали друзья проверить на практике исследование академика Павлова об условных рефлексах. И что же — петуха заставляют кукарекать в ответ на свои приветствия! А вот Юхан спускает воздух из шин мотоцикла незнакомого человека, приняв его за браконьера а тот оказывается инспектором по охране рыбных хозяйств. Затем неугомонные мальчишки устраивают себе «испытание воли» и не спят всю ночь.

Читаешь Раннапа и думаешь: не буду больше заниматься чепухой, не буду больше болтать понапрасну...

Яан Раннап обладает превосходной памятью детства, той самой, которая необходима детскому писателю.

Его отец работал в школе, и Яан родился в школьном здании.

«Как только я научился открывать двери, — пишет он, — это произошло, как рассказывали, в два года, я начал атаковать классные помещения. В три года я уже знал, что на уроке естествознания заводят ветряк, пускают дым, а иногда даже бабакают, что на уроке пения не только поют, но иногда и маршируют под песню, и что на урок математики ходить не стоит».

Таким образом, школьный воздух окружал Яана с самого раннего детства. И, став школьником сам, он полюбил книгу, музыку, спорт. В четырнадцать лет начал бегать на средние дистанции, в шестнадцать стал чемпионом среди школьников по бегу, тогда же установил юношеский рекорд по прыжкам в длину с разбега. Затем стал вторым эстонцем, прыгнувшим на пятнадцать метров.

Нелюбовь Яана к математике завершилась тем, что в возрасте двадцати пяти лет он окончил математическое отделение Таллинского педагогического института, а за год до окончания института начал сотрудничать в эстонском журнале «Пионер».

От журнала до книги — один шаг. Спорт и математика остались позади. Яан Раннап стал писателем. Он написал чудесные книги для детей. Был удостоен премии Ленинского комсомола Эстонии. Каждая книга Раннапа — праздник эстонской детворы.

О книге его «Последний орлан — белое перо» критика писала: «Эту небольшую книжку не отложишь в сторону, чтобы дочитать завтра. В нее погружаешься и не хочется выходить, как не хочется выходить из прохладной речки в томительно жаркий летний день. И так с первой до последней страницы».

Третий автор, с которым ты, читатель, познакомился здесь, — ленинградский детский писатель Виктор Голявкин, любимец детворы.

У Голявкина есть вещи очень серьезные. Например, известная книга «Мой добрый папа», где папа гибнет на войне, а мальчик, который так его любил, остается без папы. Тяжелая, грустная книга.

Но предпочтение в своем творчестве отдает Голявкин все же не грустным книгам, а веселым. Его юмор тоже очень своеобразен, не такой, как у Железникова и не такой, как у Раннапа.

Его короткие рассказы несут читателю такой заряд смеха, что после их прочтения становится легко на душе и так весело, и весь день пребываешь в каком-то радужном, светлом настроении. Возьми хотя бы главы из повести «Рисунки на асфальте»: «Очень редкая рама» и «Самая большая рама». Здесь все строится на диалоге между сыном, которому непременно хочется заполучить в свое распоряжение раму для картины, и отцом, который смотрит на это как на блажь. Мальчик разговаривает живо, страстно, убежденно, а отец — монотонно. И это придает рассказу особую окраску.

Голявкин умеет писать кратко и настолько выразительно, что, когда кончаются слова, все еще продолжаешь думать и о сказанном, и по поводу сказанного. Например, картины природы он не «размазывает», а описывает буквально несколькими словами, как будто телеграфирует: «Блестит озеро. Солнце ушло за

деревья. Спокойно стоят камыши». Короче не скажешь, но этого вполне достаточно, чтобы не только представить себе деревенский пейзаж, но и ощутить прелесть и спокойствие летнего предвечерья.

А вот как говорит один из героев Голявкина, Санька: «Я, понимаешь, никогда не знаю, когда я наелся, все ем, ем, пока живот как мяч не надуется». А другой герой, наоборот, не желает есть: «Я всю жизнь бы во дворе играл. И никогда не обедал бы. Я совсем не люблю борщ с капустой. И вообще я суп не люблю. И кашу не люблю. И котлеты я тоже не очень люблю. Я люблю абрикосы». А третий мальчишка рассказывает: «Как я под партой сидел, как я ему «переве рдер», а он мне «ды рбы рты р», а я ему «вы рты рвы р». Смешно? Смешно. Но опять-таки не только смешно. Верно подметил писатель психологию ребят, точно услышал детскую речь. Его миниатюры напоминают рассказы знаменитого сатирика Михаила Зощенко, у которого был удивительно зоркий глаз и предельно острый слух на смешные, глупые и искаженные слова. Но это вовсе не значит, что Голявкин подражает известному «взрослому» писателю. У него не подражание, а самобытное письмо. Так писать умеет не каждый писатель. А только талантливый.

Виктор Голявкин талантлив дважды: он еще и художник. Он любит иллюстрировать свои книги сам. В этой его книжке есть рисунок, изображающий забияку Ыгышку и его «подручных». Трудно передать словами, как это здорово нарисовано, с каким убийственным и вместе с тем снисходительным сарказмом. Голявкин-художник великолепно понимает Голявкина-писателя, то есть самого себя. Его штрих так же лаконичен, как слово.

Таковы три автора этого сборника, в котором много веселья, много смеха, но есть и «намек — добрым молодцам урок».

Желаю тебе, дорогой друг читатель, новых приятных встреч с этими хорошими писателями.

А. Тверской

СОДЕРЖАНИЕ

ЯАН РАННАП

Юран Салу и его друзья. *Рисунки В. Галь-
джева* 5

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНИКОВ

Жизнь и приключения чудака. *Рисунки В. Галь-
джева* 103

ВИКТОР ГОЛЯВКИН

Ты приходи к нам, приходи. *Рисунки автора* . 251
Рисунки на асфальте. *Рисунки автора*

А. Тверской. Письмо читателю этой книги . . . 394

Оформление Е. Савина

Для среднего возраста

БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА
ТОМ 11

Яан Раннан

ЮХАН САЛУ И ЕГО ДРУЗЬЯ

Владимир Железников

**ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧУДАКА**

Виктор Голяскин

**ТЫ ПРИХОДИ К НАМ,
ПРИХОДИ
РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ**

Ответственные редакторы

Г. И. Московская,
И. В. Пахомова,
Л. Р. Баруздина.

Художественный редактор

М. Д. Суховцева

Технический редактор

С. Г. Маркович.

Корректоры

В. К. Мирингоф
и Е. И. Щербакова

Сдано в набор 22/XI 1974 г. Подписано
к печати 29/VIII 1975 г. Формат 60×90^{1/16}.
Бум. типогр. № 1 Усл. печ. л. 25 Уч-
изд. л. 20,94. Тираж 200 000 (100 001—
200 000) экз. А03953. Заказ № 120. Це-
на 1 р. 33 к. Ордена Трудового Красного
Знамени издательство «Детская литера-
тура». Москва, Центр, М. Черкасский
пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Детская книга» № 1 Росглав-
полиграфпрома Государственного коми-
тета Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, Сушевский вал, 49.





